
**НОВЫЙ
ЖУРНАЛ**

XXVI

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

XXVI

9-ый год издания

НЬЮ-ИОРК

1951

Р е д а к т о р — М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции — РОМАН ГУЛЬ

Printed in U.S.A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette St.
N. Y. 3, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е :

Н. Берберова. — Мыс бурь	5
Н. Воинов. — Беспризорники	44
М. Добужинский. — Деревня	107

С Г И Х И :

Ю. Джанумова, Ивана Елагина, Д. Кленовского, Александра Неймирока, Игоря Чиннова	129
---	-----

П Р О Ш Л О Е И Н А С Т О Я Щ Е Е :

Ф. Степун. — Москва накануне войны 1914 года	140
Ю. Елагин. — Театр имени Вахтангова	168
Е. Замятин. — Встречи с Б. М. Кустодиевым	183
Н. Валентинов. — Чернышевский и Ленин	193
М. Вишняк. — Израиль	217
С. Васильев. — «Великая железнодорожная держава»	237
Памяти Б. А. Бахметева	252

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

Д. Кеннан. — Америка и русское будущее	255
М. Карпович. — Комментарии	279

БИБЛИОГРАФИЯ:

Н. Тимашев. — Советское право в американском освещении	294
---	-----

МЫС БУРЬ*

(РОМАН)

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Тетрадь Соии Тягиной

В течение многих лет, мне снился время от времени один и тот же сон. Началось это очень давно, возможно, лет с десяти. Приблизительно, один раз в два-три года я видела себя на рельсах, со связанными руками и ногами, я была привязана к какой-то доске, и она мерно катилась на колесиках. Я катилась с тихим жужжаньем, в желто-сером, густом тумане, неподвижная, с неподвижным лицом, а впереди были рельсы, прямые, бесконечные. И вот из тумана, навстречу мне, начинали выныривать, тоже на рельсах, и тоже связанные, и тоже куда-то скользящие, такие же неподвижные куклы, в точности похожие на меня. Жужжание делалось непрерывным, туман окрашивал всё вокруг в серо-желтый цвет. Мое напряжение росло, делалось всё сильнее, пространство и время становились похожими друг на друга. И когда невозможно было вынести больше этих рельс, этой немоты, этого жужжания, я просыпалась. И некоторое время наяву еще продолжалось невыносимое чувство нераздельности двух стихий.

В последние годы этот сон возвращаясь всё реже. И вот уже давно его не было, и у меня, которая относилась к нему,

*) См. кн. 24-ую и 25-ую «Нового Журнала».

как к обыкновенному кошмару, появилось желание, чтобы он возник вновь. А между тем, чувство одиночества, смерти, ужаса, в нем было почти непереносимым, и ощущение слияния пространства и времени было свыше моих человеческих возможностей; и я знаю, что в этом сне неслись на меня какие-то сильнейшие элементы моего разрушения. Но страх, что я никогда, быть может, больше не испытаю этого кошмара, давит меня больше, чем самый кошмар.

Всякое противоречие мучительно для меня. Но всё вокруг меня есть одно сплошное противоречие. Я существую сама, как противоречие, и жизнь моя, — физическая и метафизическая, — есть лишь противоречие, а потому тем самым не есть жизнь. Жизнь не есть жизнь. Но люди глухи к этой истине, как глухи ко всему, что их не коснулось кровно: к любви, к вере, к смерти, к «да» и «нет» в вопросе собственной воли, собственной свободы.

Люди глухи, главным образом, к себе самим и это — пока не настала для них та «минута ужаса», которая дает поворот их сознанию. Эта «минута ужаса» наступает не для всех, но те, кто ее пережили, знают, что она значит. Большею частью, неожиданно, почти всегда не в обычной обстановке, защищающей человека от откровений и прозрений, чаще всего — ночью, или перед рассветом, наступает эта «минута ужаса», которая внезапно придвигает человека к грани, где он видит, один на один с самим собой, пустоту. Те, кто не побывали там, среди этого точно очерченного и уже не-земного отчаяния, те не поймут, о чем я говорю. В сущности, то, что «минута ужаса» не дана всем без исключения людям, — одна из многочисленных нелепостей существования, и еще сильнее подчеркивает ту пустоту, в которую мы смотрим. Эта минута должна была бы даваться каждому, как минута рождения, как минута смерти. Но этого нет. И те, кто испытали ее, как непреложную данность и вместе с тем, как вопрос (на который не может быть ответа и никогда не будет), выходят из нее навсегда разрушенными и одновременно — закаленными. Так является человеку вечность.

Но я не могу вынести ее. Я не могу вынести всего этого многообразия внутренних и внешних проявлений смысла жизни, я теряюсь в нем, неприкрепленная к космосу, не связанная с миром. Я всё это многообразие хотела бы отдать за простоту и силу единой, бедной истины, той, в которой нет противоречий. Истины цельной, малой, узкой, — потому что в ней нет соблазнов, божественной — потому что она несет покой. Но цельного нет ничего, если я не могу найти дороги к вселенной, ибо из этого следует, что и вселенная не может найти дороги ко мне, вобрать меня в себя, сделать меня своею частью. Если я, такая, какая я есть, существую без всякой связи с чем-либо, то нет на свете всеобъемлющей истины, нет Истины; и вся жизнь есть ожидание «момента ужаса», а когда он был — изживание его.

У меня нет связи с прошлым, а есть лишь искусственное, мною самой выдуманное, головное, умственное постижение его. У меня нет связи с настоящим, потому что ни семья, ни государство, ни религия, ни природа меня не держат в своих тисках, как бывало когда-то; у меня нет связи с будущим, потому что я не могу угадать своего места в нем и выбрать своего дела в том, что наступает на нас и чего не видеть могут только слепые. В красоте искала я смысла, и смысла этого не нашла, и в дружбе я хотела найти его, но всё, что походило на дружбу, всегда таило в себе какого-то червя, который точил ее, и, не то было плохо, что он ее точил, но что я с первого дня знала, где и как он ее подточит. И когда я кидалась в любовь, то оказывалось, что в любви одиночество начинается не «в двух шагах от тебя», как кто-то где-то выразился, а «в твоих объятиях». Одиночество и случайность происходящего — не физического, но метафизического слияния.

Я не знаю, кем и когда была разрушена цельность мира. Возможно, что ее не существует уже лет сто, возможно — больше. Остатки ее еще живы для многих. Она погибает, как Рим, и погибнет, как он, возможно, тоже в течение пяти веков. Она исчезнет, но будет ли это следствием разрушения, или она будет потеряна, или она будет изжита, или она будет от-

нята? Не всё ли равно! Она исчезает и она исчезнет. И те, кто чувствует, что ее уже нет, или вот-вот не будет, по-разному отвечают на ее исчезновение: одни считают это вполне естественным следствием некоей эволюции и находят даже вполне определенную радость в этом, потому что эта эволюция якобы делает людей более свободными; другие далее своего маленького участка жизни не заглядывают и заменяют вселенную самими собой, считая, что если они в равновесии, то до остального им дела нет; третьи верят, что можно что-то поправить, основываясь на том, что было две тысячи лет и больше опыта, который, как я думаю, пропал, испарился, как испаряется вода в луже. Четвертые пускают себе пулю в лоб — в точном или переносном смысле этого слова: «Байрон, где твое Мисолонги?»

Я завидую первым: они на утешительном и совершенно ложном пути; я боюсь выбрать путь последних. Те, что огородились от мира самими собой, искусством, семьей, политикой, кажутся мне теньями, которые придут и уйдут, так и не поняв, зачем всё это было. Я прислушиваюсь к тем, которые мечтают что-то поправить, что-то найти. Но что можно поправить, когда в нас вселился дух разрушения, и он ломает и разбрасывает всё, и разрушение это — естественно, а всякое создание, всякая гармония для нас противоестественны?

Было когда-то: ясно очерченный человек, пущенный в мир, как планета, кружиться вокруг своего солнца. Всё было точно и сильно: желание борьбы, продолжение рода, добыча пищи, красота, чтобы становиться искусством, знание, чтобы людям обрести истину. Добро лежало здесь, а зло — там. Добрые собирались вместе и злые собирались вместе. Герои любили славу, женщины любили героев; палачи казнили; мертвые должны были воскреснуть. Что осталось от этого? Хочет ли кто-нибудь бескорыстной борьбы? Половина людей не хочет больше продолжения рода. Нужно ли добывать пищу? Не проще ли свести до минимума свои потребности? Искусству нечего делать с красотой — она годится для почтовых открыток; знание не дает истины, которая неуловима. Добрые не собираются вместе, им скучно: они распыляются и идут к злым, чтобы учиться у них,

или помогать им, или сговариваться с ними, или изучать их. Герои любят деньги больше славы и есть женщины, которые вовсе не смотрят в их сторону. Поэты утратили дар пророчества, да их никто бы и не услышал. Преступник и палач нам стали одинаково противны или одинаково притягательны. Мертвые не воскреснут никогда — их сваливают в помойную яму. Как в мирное время соперник часто привлекает нас больше друга, так во время военное враг иногда нам бывает любопытнее союзника. И если всё это так, то нет ничего больше абсолютного и бесспорного, а есть лишь двусмысленность, два ответа на каждый вопрос, и во вселенной нет камня, который бы не колебался.

Но как после кошмара я снова жду его возвращения, так я опять и опять иду в самую гущу этих противоречий, не представляю свою жизнь вне их, живу ими, и ни минуты у меня нет мысли, что от них можно отделаться: улепетнуть от них в сторону, перелететь через них, оглушить себя раз и навсегда, чтобы их не замечать. Я мчусь на них по черным рельсам, в тихом жужжании, и вокруг меня: серо-желтый, густой, неподвижный туман, в котором, несмотря на встречных, я — одна.

— И хорошо, что одна! — сказал мне однажды Б. — что за дикость эта круговая порука, стадное житье, ответственность каждого за всех и всех за каждого. И почему надо всё переживать «миром» и «миром» всё решать? Зачем мне отвечать за всех дураков и негодяев вселенной? Тебе, как европейцу, пора забыть эти бараньи законы. Ты сама отвечаешь за себя, ты — стоишь себя. Контакт зависимости с себе подобными унизителен и беспелен.

Мы сошли по узкой лестнице из темной, пыльной его конторы, прошли насквозь весь первый этаж, полный служащих, о которых Б. ничего не знает и знать не хочет, и которые друг о друге тоже ничего не знают и знать не хотят; мы вышли на улицу, где гуляли люди, совершенно нам чужие и чужие друг другу. И я поняла, что никто не поймет меня, моей тоски, моей жажды, не поймет смысла всей этой многолетней тревоги... Слиться. Неужели только в смерти возможен мой унисон с

миром? Или в смерти тоже есть двусмысленность? И она одновременно — и сила, и слабость, единственный, бесспорный акт воли и вместе с тем — ничто?

От Б. Зай скрыла свои театральные выступления, и я, как обещала, не выдала ее. В день генеральной мы пришли к дверям магазина, чтобы вместе с ней идти в театр, но Зай вдруг стала ломаться и говорить, что она должна кого-то подождать, с кем обещала пойти наскоро перекусить. Володя Смирнов с обычной своей манерой, которая так нравится Мадлэн, сказал по-французски: «Знаешь ли ты, Зай, что значит «ла мэр де Кузька? Вот к этой даме ты и отправляйся!» Зай покраснела и объявила, что если мы будем скандалить, то ее выгонят со службы.

— Вы ничего не делаете, только без цели шляетесь, а я зарабатываю хлеб наш насущный даждь нам днесь! — Ей явно не хотелось, чтобы в ее конторе обратили на нас внимание. Она чего доброго навязывает покупателям свой товар в следующих выражениях: мосье Гюго, мосье Сименон, мосье Мо-риак . . . Во всяком случае, всё это имеет такой вид.

Бедные! Какой это был провал! Впрочем, были и аплодисменты, не только свистки. Эти аплодисменты исходили главным образом от двух десятков знакомых автора и режиссера. Два-три театральные критика уныло дремали в первом ряду. Мы свистели и аплодировали в одно и то же время, шум был страшный. Между тем, Зай была очень мила, загримированная, в странном парике, но у всех, и у нее, была каша во рту, вероятно от волнения и неопытности. Под конец всем стало очень скучно. «Автора! Автора!» — закричали какие-то пожилые особы, весьма ярко одетые. Вышел автор, вывел за собой главного актера, красивого мальчика, игравшего, впрочем, хуже всех. «Браво, Жан-Ги!» — закричали в глубине зала. Разбойничий свист раздался с нашей стороны. Публика вскочила с мест. Представление было окончено.

Сколько могут нашуметь мрачные люди! Потому что веселых людей — голову даю на отсечение — в зале не было.

Володя Смирнов, предводитель всей честной компании, в которой изредка бываю и я, есть удивительная смесь того рус-

ско-французского духа, которым отмечено наше поколение. Конечно, как почти всегда, отец и мать его давно в разводе; отец — колоритная фигура: зная в совершенстве пять языков, он начал свою жизнь в эмиграции платным танцором, а сейчас — портье большого отеля на юге Франции. Мать вышивает диванные подушки. В доме доживают свой век две старые тетушки и нянька. Все кормятся диванными подушками. Каким-то чудом, впроголодь, доучился Володя до университета, но бросил его и поступил в секретари к одному французскому писателю. Писатель знаменит, одинок, капризен и стар, с Володей он крайне скуп и чрезмерно нежен. И с некоторых пор с лица Володи не сходит выражение какого-то раздражения, озлобления на мир. Он очень шумен, и чем он беспокойнее, болтливее и шумнее, тем тягостнее делается в его присутствии. А подушки всё вышиваются, и тетки всё не умирают.

В Володю влюблена Мадлэн. Откуда она — неизвестно. Она совершенно одна на свете, говорит, что в жизни не получила ни одного настоящего письма и никуда не выезжала из Парижа. Что она делает — никто не знает. Иногда у нее бывают деньги и тогда она ходит несколько дней взволнованная, взвинченная. Она часто плачет — ни о чем, то есть, так мы думаем, что ни о чем. В прошлом году она травилась по какой-то причине, которая так и не выяснилась. Володя говорит про нее, что она любит драться, но он, конечно, врет.

Брат Володи, приехавший недавно из Праги, на десять лет старше нас всех. Он образования не получил и перебивается от одного ремесла к другому. Он никогда не улыбается. В Праге он оставил жену и ребенка и любит поговорить о том, что всё идет к концу. Никто с ним не спорит, будто никому до этого дела нет. Мне всё кажется, что в один прекрасный день он исчезнет, не оставив адреса. И это никого не удивит.

Маленькую балерину и ее мужа, художника, мы называем «синими»: у обоих какая-то одинаковая синева в лице. Она танцует в пестрых трико необыкновенно сложные акробатические танцы, то складываясь пополам, то ходя колесом, и всегда она ищет себе партнера, но партнер не находится, и она то

уезжает в Монако, то пропадает целыми ночами в каких-то парижских кабаре, грустная, с голубоватым лицом и большими влажными глазами. В конце концов, она станет заведовать раздевалкой в каком-нибудь мюзик-холле и пропадет с нашего горизонта. Но до того еще может пройти довольно много времени.

Муж ее, Сильвио, несколько раз выставлялся в Салоне Независимых, но сейчас у него нет возможности заниматься живописью, они живут в тесной комнате отеля и потому он взял работу: он должен акварельной краской, тоненькой кисточкой, надписать 3500 раз на 3500 открытках (на которой изображен младенец в лучах солнца) “*Oh, mon doux Jesus!*” Эти открытки будут продаваться в Лизье и Лурде, на Рождество. Синий Сильвио занят этим целыми днями. Я смотрю на него: он всё больше и больше голубеет и всегда серьезен. Мне кажется, он чем-то болен.

Шествие в тот вечер замыкали два неразлучных приятеля, которых изредка можно встретить в обществе Володи и Сильвио. Один попросту служит в страховом обществе, но лет пять тому назад пытался писать в газетах; перемена профессии придала ему вид ушибленного судьбой человека; он никогда не говорит о прошлом (которое, вероятно, сейчас ему кажется блестящим), но часто жалуется, что ему скучно: «Скучно мне, скучно, господа — слышится то и дело, — ах, как скучно жить в этом городе. И какие вы все скучные... Соня, Соня, отчего всё так скучно?»

С ним приходит его товарищ, который учился со мной на одном факультете и теперь — преподаватель в лицее, в Аньере. У меня с ним старое знакомство: сколько уже лет я знаю этот вздрагивающий взгляд под слегка воспаленными веками, эти воскового оттенка руки, черную прядь, упавшую на густую черную бровь! Он берет меня под руку. Его дыхание горько от табаку и мне кажется, что мы идем не по благоухающему весенними ароматами бульвару, а по душному корридору вагона третьего класса. И вдруг я понимаю, что все мы не имеем никакого отношения к этой чудной, бледно-зеленой, нежной

парижской весне, с фарфоровым небом, с ожерельем фонарей, с звездной площадью, что все мы — словно в вагоне третьего класса, или вот уже вышли из него и бродим, неприкаянные, по незнакомой станции, по «залу», среди плевков и окурков, мух и старых газет... Почему? Почему? Вы чувствуете это, Фредерик? Помните, лет пять назад было совсем как-то по-другому?

— Нет, всегда было одинаково, — говорит он спокойно. — Я не замечаю разницы.

— Вам не кажется, Фредерик, что мы когда-то хоть немножко участвовали во всем, что нас окружает, что оно на нас действовало немножко (ну хотя бы вот эта весна), и мы на всё могли, если хотели, действовать тоже, а сейчас мы сами по себе, а всё это (я обвожу вокруг себя руками) само по себе, и мы не при чем?

Он смотрит на меня своими ничего не выражающими глазами и говорит после паузы:

— Я отчасти понимаю, что вы хотите сказать. Но с этим ничего не поделаешь.

Больше я ничего не слышу. Но рядом идет бывший журналист, а теперь служащий страхового общества. Он вступает в разговор:

— Вы недостаточно понимаете время, в которое живете, Соня. Вы должны идти в ногу с ним, вы отстаете.

— Что это значит? — спрашиваю я. — Разве я сама не есть мое время?

Но он не может мне объяснить, ни что такое «наше время», ни как и почему я, такая, какая есть, «отстаю» от него. Сам он считает, что всё обстоит замечательно. Жизнь прекрасна, Франция — прекрасная страна, Париж — первый город в мире и никакой войны никогда не будет, потому что люди умны, прозорливы и так же любят жизнь спокойную и комфортабельную, как и он.

— Всё правда, — смеюсь я, — кроме того, что война будет, и будет продолжаться пятьдесят лет.

Он отходит от меня, пожимая плечами. Может быть, он

чувствует в это мгновение прилив острой ненависти ко мне, но нет, это не в его характере.

Я догоняю Сильвио.

— Синий, почему ты сегодня еще печальнее, чем всегда? — говорю я, беря его под руку. Он молчит.

— Сильвио, весна! — говорю я опять, и пытаюсь что-то напеть.

Он тихонько освобождает свою руку, замедляет шаг; я замедляю тоже. Он поворачивает ко мне лицо такой печали, что я на секунду останавливаюсь.

— Руфь беременна, — говорит он, и я понимаю, что это для них обоих катастрофа.

“Oh, mon doux Jesus!” Она уже два месяца без ангажемента. Она больше не танцует и по крайней мере год не будет танцевать, даже если всё пройдет благополучно, а после этого — кто знает! — сможет ли она опять работать, как работала? Они в маленькой комнате отеля, у него никогда не будет ателье, у нее никогда не будет возможности стать настоящей балериной . . .

Я молча смотрю на него. Вот и ответ. Другого мне не нужно.

Мы входим в квартиру старшего Смирнова, вернее — в громадную, полупустую комнату, похожую на сарай. Окно незавешено, по стенам висят афиши бразильских и аргентинских выступлений прежде здесь жившего певца. Я рассматриваю их, потом сажусь на табурет и закуриваю. Володя подходит ко мне.

— Сонюха, — говорит он, — что бы выкинуть?

Я не знаю, что ему ответить.

— Заведи грамофон, — говорю я, наконец, с усилием.

Он делает мне «вселенскую смазь».

— Охти, охти, охти мне! Что за дурёха! Я спрашиваю: что выкинуть вообще, в жизни что выкинуть? Не жениться ли на Мадлэн? Ведь если мобилизуют и убьют, то ей по крайней мере пенсия будет. Ведь ты за меня замуж не пойдешь?

— Не пойду.

— И не надо. Как в армянском анекдоте: другую мордам найдем.

Я хватаю его за рукав:

— Володя, как в анекдоте: Карапет за соломинку.... Скажи мне, почему нам нет выхода?

Он смотрит на меня, и вдруг его лицо делается мягким, грустным, человеческим лицом. Он понял меня.

— Неужели ты думаешь, что я знаю что-нибудь? Что по этому вопросу мне что-нибудь известно?

— Не кажется ли тебе, что это оттого, что нет России?

— Кажется.

— Оттого, что Бог умер?

— Кажется.

— Оттого, что мы живем между двумя эпохами?

— Кажется.

— Что же делать, Володя, как же быть?

Он гладит меня по голове:

— Что же у тебя умней меня знакомых нет, что ты меня об этом спрашиваешь?

Я не могу ему ответить правду, что я только с ним могу говорить на эти темы, и именно потому, что он ни умен, ни образован, что он трусоват, хамоват и, в конечном счете, — нечестен.

Он садится на стол, рядом со мной, как бы надо мной. Я кладу ему руки на колени и ощущаю их худобу.

— Тысячу лет им говорили: смиряйтесь! Терпите! И вот они — на всем пространстве — спят теперь, усыпленные этим тысячелетним прошлым, спят сном мамонтов.

— У них индустрия... — и Володя вдруг зевает во весь рот, — ...стриализация, очень интенсивная... сивная... ивная.

— И они не проснутся, не подымутся?

Он пожимает плечами.

— По человечеству это надо понять.

— Я не хочу «по человечеству», я хочу «по римскому праву».

Мы оба молчим. И вдруг я замечаю, что все кругом мол-

чат, словно ждут чего-то. Но ждать нечего, всё будет еще страшнее, еще темнее. Мы, в самом деле, не на станции, сидим и ждем пересадки, мы живем, мы живы, мы существуем.

Когда я уйду, он говорит мне:

— Ты знаешь, я думаю это всё по двум причинам: требования железной эпохи и сознание собственной покинутости, — и тотчас же отворачивается, стыдясь того, что эти слова для меня могут прозвучать банальностью. В особенности «железная эпоха».

Володя и Мадлэн подзывают такси. Сильвио и Руфь медленно уходят в сторону Сены, они живут недалеко. Остальные двое спешат на ночной автобус. Я остаюсь на тротуаре со старшим Смирновым, который идет провожать меня. Он берет меня под руку и мы молчим, шагая в ногу, ни быстро, ни медленно, молчим долго, молчим, как если бы оба были немые, и слишком темно, чтобы объясняться знаками. Однажды я видела, как двое немых спешили договориться о чем-то, в сумерках, ночь падала так стремительно и они, видимо, боялись, что не успеют чего-то досказать друг другу. Это было на каком-то углу и прохожие оборачивались на них. Мы молчали и шагали, и это молчание становилось чем-то совершенно для меня новым, удивительным, полным какого-то тяжелого и томительного значения. Знал ли он что-нибудь обо мне? Слышал ли что-нибудь, хотя бы в этот вечер? Наблюдал ли за мной те пять-шесть раз, что мы виделись с ним, спрашивал ли кого-нибудь обо мне? Я ничего не знала. Но я чувствовала, что молчание это длится не потому, что ему не о чем говорить со мной, и что он ищет тему и не находит, и мучается (а на следующий день встанет в памяти: провожал Тягину и не мог во всю дорогу найти, о чем с ней заговорить!). Нет, я знала, что ему, как и мне, легко наше молчание, что в этом молчании что-то происходит в нас обоих, какой-то странный устанавливается контакт взаимного узнавания, понимания и согласия. Всё наоборот, всё наоборот! Стоило развиваться и крепнуть человеческой речи, чтобы вернуться к молчанию и утешаться им!

Возможно ли этому поверить, чтобы два человека, в об-

щем мало знакомых, мало знающих друг о друге, шли так по улицам и молчали, и не тяготились бы этим молчанием, разрушая этой немотой установленное людьми, узаконенное природой общение? Молчали бы не потому, что нечего сказать, но потому, что слишком много есть о чем сказать, — это и он чувствовал, и я это хорошо знала. В первый раз я чувствовала, что замкнута наглухо не сама в себе, но вместе с другим человеком. Это было очень странно и я была странно счастлива в этой тишине отрицания, в этом негативном контакте с другим человеком. В полумраке улицы мы не видели друг друга, ни разу не взглянули друг на друга, не прочтя ничего в лице друг друга, в глазах, которые всегда столько выдают. Звук нашего общего шага был мерен, непрерывен, негромок. Над зазеленевшими недавно деревьями стоял светлый, с острыми краями, весенний месяц, прямо перед нами, и мы шли на него долго, пока не повернули. Отдых и покой; чувство благодарности этой руке, которая ведет меня, неподвижно и бесстрастно держа мою.

Кажется, мы прошли уже один раз мимо нашей подворотни; заворачивая за угол, я поняла вдруг, что мы уже здесь были. Луна теперь висела с противоположной стороны. Мы остановились. Он отпустил меня, огляделся. «Это было хорошо, — сказал он, — это было очень хорошо». Как будто он говорил о каком-то путешествии, или вообще о чем-то цельном, законченном и неповторимом. Я вернулась в себя и почувствовала вдруг огромную усталость, словно я прошла насквозь весь город. Ничего так и не сказав, я протянула ему руку.

Что было всего удивительнее в нашем молчании, это отсутствие в нем всякой загадочности. Оно было точным и означало только то, что означало. Оно точно соответствовало полноте нашего одиночества вдвоем. В те минуты, когда оно продолжалось, оно тем самым было полно смысла не только для нас двоих, оно было осмысленно в себе самом. Для меня оно оказалось тогда неожиданным опытом, обогатившим меня. Сегодня оно мне кажется уже слегка лишенным того смысла, как

письмо, написанное «кровью сердца», через несколько лет спустя кажется напыщенным и нелепым, так что и читать то его совестно. Или еще (чтобы сравнение не было таким пышным) как те рожи, которые я имею привычку рисовать на полях этой тетради: пока рисуешь их, видишь в них то смешное, то страшное, то «мисс Америку», то монгола, то клоуна, то пастора, а через минуту они уже не значат ничего: просто какие то профили, скверно нарисованные, безжизненные и плоские.

Но в те минуты, в которые мы молчали вместе (почему именно с ним, а не с Леддом, который всегда столько говорил, или не с Б., или не с Володей), в те минуты, которые, что бы ни было, останутся во мне надолго, я знаю точно, о чем мы оба вместе думали: о «железной эпохе» и «собственной покинутости», о тысячелетнем сне мамонта, о конце общего Бога (не замыкавшего человека в свой отдельный от мира круг), о востоке Европы, из которого Смирнов недавно приехал, и о ближайших месяцах, которые задавят нас, быть может, или только придавят, но в которых, несмотря ни на что, еще есть, еще теплится, еще жива для нас одна надежда. Может быть, может быть. Об этом было наше молчание.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зай уже неделю лежала больная. У нее была высокая температура, болели горло и ухо и она почти всё время спала. Когда она открывала глаза, она видела комнату, пустую и громадную, но через несколько мгновений всё становилось на место: столы и стулья, книги, окно и даже дашина кровать, до сих пор стоящая у противоположной стены, всё возникало почти сразу, стены смыкались и она опять успокоенная закрывала глаза.

Самым страшным было бы... Да, она любила играть сама с собой в самое страшное. Самым страшным было бы лежать теперь на этой самой постели посреди улицы. Не вынесенной на носилках и поставленной на мостовой с тем, чтобы быть

вдвинутой в карету скорой помощи, как иногда лежат люди, нет, иначе. Эти носилки она видела один раз, и никто даже не обернулся на них. Страшно было бы лежать посреди шумной площади, между автобусами, грузовиками и автомобилями, под одеялом, и видеть, как собирается толпа. Люди удивляются и смеются. Пот бежит холодной каплей между глазом и носом Зай. Любовь Ивановна, на минуту зайдя в комнату, равнодушно говорит: «Потей, потей. Это хорошо».

Еще очень страшно очутиться в клинике, на большом белом столе. Доктор задирает ей рубашку и двадцать человек разглядывают ее. Может быть, она не совсем такая, как все? Опять пот бежит по щеке и от страха стынут ноги.

Наконец, она просыпается, чувствует, что жар немного спал и берет маленькое зеркальце. Неинтересное, незначительное лицо! Никакой мысли в глазах, никаких следов долгих и глубоких раздумий! Отец говорит, смеясь: «Думай, думай больше, вот и лицо будет умное». Но разве она умеет думать? Впрочем, он прав. И чем больше человек умнеет, тем лучше делается у него лицо, и даже скрыть нельзя, в конце концов, в старости: думал ли он в жизни или нет? Всё на лице написано. Видно сразу — у одних в сорок лет, у других в пятьдесят, у третьих в шестьдесят, — не только были ли мысли, но даже какими именно эти мысли были. У отца лицо мягкое и усталое, у него, конечно, были мысли, много грустных мыслей, но они были приблизительные, и лицо стало приблизительным. Она решает сказать ему об этом, как только представится случай: «Папа, какое у тебя приблизительное лицо. Но я люблю тебя, не думая ни о чем, я люблю тебя такого, какой ты есть».

У Б. тоже есть лицо, особенное и серьезное. Каждый день он отбирает для нее какую-нибудь книгу, и она читает вечером, и часть ночи, и утром, пока одевается, и за завтраком. У Б. умное и жесткое лицо. А у Любви Ивановны лицо двойное: как будто бы доброе, смирное, полное забот, а вместе с тем видно, что не только это было в ее жизни, не только — Тягин, и они трое, домашняя стирка, радио и аптека, но еще

другие, более сложные вещи. Да, да, страсти и ревности, и борьба за человека, хотевшего не раз бросить ее, и бегство следом за ним через всю Россию, и рождение Сони до брака, и в той, прежней, жизни вся трудность, вся тяжесть разрыва с собственной семьей, не простившей ей связи с женатым, легкомысленным, как тогда говорили, несерьезным человеком. И теперь у нее двойное лицо. И Зай тоже когда-нибудь скажет ей об этом: «Тетя Люба, у вас двойное лицо, но я люблю вас так сильно, точно так сильно, как вы любите меня».

Осторожно Зай выдвигает ящик своего ночного столика и вынимает из него маленькую, медную, круглую рамку, какие делали когда-то, всю разукрашенную завитками, цепляющимися за всё: не дай Бог положить вблизи кружево, вуаль или чулок, сама подползет, и уцепится, и изорвет. Эту фотографию дал ей когда-то Алексей Андреевич Бойко (у него было самое лучшее в мире лицо). Фотография бледная и сломана пополам. Это мать Зай, актриса Дюмонтель. У нее как будто нет лица, есть только большая шляпа над пышной прической. У нее не может быть лица: она была слишком молода! Когда-нибудь Зай скажет и ей, совершенно откровенно: как жаль, милая мама, что у тебя в свое время не было лица!

Всё это будет тогда, когда окончательно перестанет быть страшно. Когда Зай почувствует себя всюду в мире совершенно счастливой и свободной, когда одновременно можно будет быть всюду, шагать туда и обратно, в жар и в холод, вверх и вниз.

Подобравшись, под тремя одеялами, она опять уснула.

Часу в девятом вечера, Тягин осторожно приоткрыл дверь в комнату Зай.

— Лиза, проснись, к тебе молодой человек пришел, — сказал он, подходя к кровати. Из всех он один звал ее настоящим ее именем. — Проснись, Лизочка, ночью спать будешь. Тут к тебе гость.

Она открыла глаза. В пустом пространстве стоял ее отец. Но комната сейчас же наполнилась мебелью и обросла стенами.

— Пусть войдет, — сказала она, доставая из-под подушки гребешок.

Тягин обернулся к двери. Жан-Ги уже стоял на пороге.

— Папа, это Жан-Ги, — сказала Зай.

— Я знаю.

Она провела гребешком вправо и влево, и по двум сторонам ее лица упали черные пряди.

— Что это ты ходишь так тихо, словно малаец?

— Хожу, как хожу.

— Здравствуй, Жан-Ги.

— Здравствуй, Зай.

Он сел к ней на постель. Тягин вышел и прикрыл за собой дверь. Зай смотрела в лицо Жан-Ги, молодое, смуглое, правильное лицо, что-то жадное в выражении, чего она раньше не замечала. Но спустя несколько мгновений это пропало и нежность разлилась в его глазах, в его улыбке.

После того вечера, когда провалился спектакль, он исчез на целую неделю, потом они мельком виделись у него, среди посторонних, потом он уезжал куда-то в Брест, к дядюшке, так он объяснил потом. Два раза после этого он звонил по телефону, но она уже лежала и не могла подойти. Накануне он пришел в десятом часу и Тягина сказала, что слишком поздно. И вот теперь он был здесь, с ней, держал ее за руку и улыбался.

«И я могла думать, что разлюбила его! Все книги мира отдам я за эту его улыбку, всех и всё отдам за него. Когда он здесь, я ничего не боюсь, я самой себя не боюсь. О, счастье мое, останься со мной!»

— Так это совсем настоящая болезнь? — спросил он. — И незаразная?

— Конечно, нет. А тебе страшно заразиться?

— Не очень.

— Но всё-таки? Ах ты, будущий психиатр!... Скажи мне, Жан-Ги, как же ты жил всё это время?

— Готовился к экзаменам, два сдал, два на этой неделе сдаю. Как ты думаешь, отчего всё тогда так произошло?

— Я думаю оттого, что пьеса была глупая, что актеры были скверные и еще потому, что я мало тебя любила.

— Неужели мало? — испуганно прервал он ее и вдруг переменчивое лицо его стало грустно. — Почему же ты меня мало любила? И когда это ты заметила?

Она обхватила его голову руками и стала целовать его в глаза и щеки, гладить его волосы.

— Так уж случилось. Заметила. Еще на генеральной почувствовала, а потом показалось вдруг, что всё и вообще кончено. Но я без тебя не могу, меня без тебя нет.

— И я без тебя не могу, — сказал он тихо, обнимая и сжимая ее плечи и покрывая ее лицо и шею поцелуями.

— Скажи, Жан-Ги, ты меня считаешь очень болтливой?

— Нет, так, немножко, иногда. Чем ты больна? Это не заразное?

— Нет, кажется. Мне страшно, что ты подумаешь, что я слишком много разговариваю.

— Не больше, чем другие.

— А! — тихо протянула Зай. — Не говори так никогда: ты мне делаешь больно.

Он осторожно положил ее на подушку.

— Больно? Я тебе делаю больно? Это невозможно.

— Ты считаешь себя добрым?

— Да, я добрый.

— И умный?

— И умный. Ты заставляешь меня говорить глупости.

— Это ничего. Ты любишь меня?

Он кивнул головой и положил свое лицо на ее лицо. Как удивительно нежно и по-звериному пахло его дыхание. Зай некоторое время неподвижно лежала в его объятиях.

— Ты любишь меня? — опять повторила она.

— Я люблю тебя.

Это было удивительно, это обладало каким-то двойным свойством: немедленного счастья и увода куда-то, в большую, в настоящую, в бесстрашную и могучую жизнь. Часть души оставалась здесь и таяла от этих слов, другая словно выро-

стала толчками, уходила куда-то в сторону и вверх, крепкая и сильная.

Наконец, она отстранилась от него и, не выпуская его рук из своих, сказала:

— Как хорошо, что ты пришел.

— Они меня не пустили вчера.

— Они тебя пустят завтра. Приходи пораньше.

— Когда ты выздоровеешь? Я хочу, чтобы ты скорее выздоровела.

— Ты не любишь больных?

— Я очень не люблю больных. Особенно заразных.

— Но ты всё-таки очень добрый?

— Да, я добрый.

Он повторил эти слова с видимым удовольствием, и Зай засмеялась: лучше Жан-Ги решительно никого не было на свете!

Он вынул папиросу из кармана и попросил спичку. Спичек не было и он пошел на кухню, нашел выключатель, нашел коробок, вернулся.

— Ты стал походкой совершенный малаец, — сказала она сквозь смех и ей захотелось прыгать на постели, — тебя не слышно.

Он опять сел на прежнее место.

— Один раз, — сказал он, внимательно разглядывая папиросный дым, — ты сказала мне странную вещь. Один раз, помнишь, ты сказала мне: всё проходит и это тоже пройдет. Всё это только твое освобождение. Что это значило?

Зай села на подушку.

— Я сказала это? Не может быть! Ты чего-то не понял.

— Выходит, что я — только средство. И вся твоя любовь только путь к чему-то.

— Ты сошел с ума! Я никогда не могла этого ни сказать, ни подумать.

— Припомни хорошенько. Это было, кажется, у метро, однажды вечером.

Зай нахмурилась, смотря перед собой.

— Нет, этого не могло быть. Я ничего не помню.

— Но сейчас тебе не кажется, что всё это между нами только так, только случайность, которая пройдет и завтра ты с другим...

— Не говори так, как ты можешь говорить так! Я люблю тебя и ты любишь меня. И о каких других может быть речь?

— Ты любишь меня?

— Ну, конечно, я люблю тебя.

И они опять замерли, крепко обняв друг друга.

После долгого молчания Жан-Ги поднялся.

— Но почему же ты всё, что начинаешь, бросаешь? Почему ты не пишешь больше стихов? Почему не верила, что выйдет что-нибудь путное из нашего спектакля? Это тоже было временное, и ты знала, что оно пройдет?

— Нет, я не знала. И был даже день, когда я думала, что выйдет путное. Я клянусь тебе, что был такой день.

— Всего один?

Зай молча притянула его к себе. Что было ей отвечать на это? Говорить вообще не хотелось, особенно же говорить о прошлом, в нем не всё было просто и честно. Но Жан-Ги молчал минуты две.

— Теперь ты поступила куда-то на службу, и это тебе тоже пока ужасно нравится.

— Но почему ты хочешь, чтобы мне это не нравилось? Разве было бы лучше, если бы я против воли работала в этом книжном деле?

— Я не знаю. Может быть, лучше.

— Разве ты против воли держишь экзамены?

— То — я.

— Что же, ты особенный?

— Я особенный, и ты особенная.

Зай засмеялась тихонько, опустив глаза.

— Я особенная, а ты — добрый и умный. Мы сегодня говорили друг другу столько приятных вещей, как никогда.

Жан-Ги закрыл глаза с длинными, женственно-загнутыми ресницами.

— Если бы ты знала, — сказал он тихо, — как хочется быть любимым.

— Что ты сказал? Чего тебе хочется?

— Быть любимым.

— Мной или вообще?

Он открыл глаза.

— Вообще.

Она отпустила его руку, чувствуя, как он ускользает от нее.

— Вообще, — повторил он. — Но сейчас — тобой.

Опять он приблизился из какого-то своего, человеческого далёка. Как это было таинственно! Но еще таинственнее было то, что делалось в ней самой.

— Ты веришь в чудо? — спросила она робко.

— В чудо? Нет, не верю.

Она пожалела о своем вопросе. Но как нежно и прочно было его объятие и как горячи и долги поцелуи. И то, что он говорил ей, когда целовал ее, было еще нежней и горячей поцелуев.

Потом он укрыл ее и стал гладить ее волосы.

— С детства у меня был ничем необъяснимый страх, что меня никто не полюбит, — говорил он, будто начинал какую-то длинную повесть, но продолжения не последовало и наступила тишина.

— С детства был страх? У тебя был страх?

— С детства. Ужасное ощущение, что, может быть, это меня минует.

— А теперь?

— Нет, теперь прошло, почти прошло.

Она взволнованно смотрела на него.

— Я люблю тебя, — настойчиво повторила она два раза.

— Давай поможем друг другу.

— В чем?

Она смутилась.

— Во всем. И тогда мы будем очень счастливы.

— Ты думаешь что можно быть очень счастливым?

— О, да, конечно! Когда пройдут все страхи.

— Они мне не мешают, я к ним привык. Они — мои.

— Что ты говоришь! Я ненавижу их!

— Как можно ненавидеть себя?

— Разве ты так сильно любишь себя?

Он подумал.

— Да, я люблю себя.

Ей мгновенно стало грустно.

-- Послушай, Жан-Ги, что ты говоришь: ты любишь себя и хочешь, чтобы я любила тебя. Что же мне останется?

Он засмеялся:

— Ты будешь частью меня.

Что-то как будто оборвалось в Зай и остановилось. Она в мгновение ока выпростала руки из-под одеяла, обхватила ими Жан-Ги, прижала свою голову к его груди:

— Молчи, молчи! Не надо больше ничего говорить! Давай друг друга любить, без слов, не надо слов. Я боюсь их, я жизни боюсь, Жан-Ги. Это — секрет, но я тебе говорю его. Только минутами это проходит, это должно совсем пройти... Как ты думаешь, чем всё кончится?

— Я думаю, что в жизни всё вообще кончается какой-нибудь чепухой.

Она удивилась, она ждала, что он скажет что-нибудь вроде «это никогда не кончится» или «не надо об этом спрашивать». Это, конечно, никогда не кончится, в том удивительном смысле, что даже если они разлюбят друг друга и расстанутся, и забудут друг друга, что-то останется навеки в ней из того, что было, что есть сейчас. Что-то будет в ней жить, пока она жива, и может быть даже гораздо дольше, не только воспоминание, нет, не только оно!

Она легко и просто перешла от этой мысли к разговору ни о чем, о том, как было в Бресте, и что делают остальные — вся их несчастная труппа. Он никого с тех пор не видел, автор исчез, говорят, он пишет теперь какую-то книгу. Внезапно Зай осторожно сказала:

— Я боюсь, что уже поздно и тебе пора уйти.

Она взяла его руку и, тихонько сняв с собственной руки маленькое золотое колечко, надела ему на мизинец.

— Какие у тебя тонкие пальцы, с моего среднего вполне годится на твой мизинец, даже широко. Как я бы хотела тебе подарить это кольцо, Жан-Ги, как я хотела бы отдать тебе что-нибудь, что я люблю. Но ты, конечно, носить этого кольца не будешь?

— Нет, не буду, — засмеялся он.

— Я понимаю. Может быть, ты оставишь его до завтра вот так?

— Ты сошла с ума?

Она опять надела кольцо себе на палец и ей стало грустно.

— Какая ты милая, Зай, какая милая, и какая ни на кого непохожая! Таких как ты я никогда не видел.

Она улыбнулась.

— А ты много видел?

— Порядочно.

Он затормошил ее напоследок, требуя, чтобы она как можно скорее выздоравливала, потом захотел ее выслушать, но она завернулась в одеяло и отказалась.

— Доктора лечат только чужих.

— Какие глупости!

— Ты мог бы лечить своих?

— А почему нет?

— И резать мог бы их?

— Ну, конечно, что же тут особенного?

— Ах, какой ты молодец, Жан-Ги, ты просто необыкновенный!

Он прижал ее к себе, завернутую в одеяло.

— Я всегда думал, Зай, что я необыкновенный. Я еще никогда не встречал никого, похожего на меня.

Она посмотрела на него с восхищением, его лицо было так близко, что она видела только малую часть его: глаз, скулу, край виска, но и этого было достаточно.

— Скажи мне, Жан-Ги, почему художники пишут такие

огромные картины? Достаточно маленького квадратика, чтобы всё понять: кусочек лица, или кусочек платья, или кусочек обоев... Или в музыке: ей-Богу, довольно пяти-шести нот, ни симфонии, ни оперы не нужны совсем. Знаешь, я думаю, в будущем так и будет. Сколько времени люди сбергут!

— Тогда уж лучше одна нота. Зачем пять-шесть?

— И одно единственное слово. Важно найти это слово. Искусство будет состоять в одном единственном слове, которое будет найдено и сказано человеком в определенное мгновение. Каждый найдет свое слово и свое мгновение.

— И всем станет очень скучно, — ответил Жан-Ги.

Она замерла и несколько секунд длилось молчание, которое ей показалось бесконечным.

— Ты не считаешь меня слишком болтливой? — спросила она опять.

— Я уже сказал тебе: нет.

— Но ты считаешь меня очень некрасивой?

— Какая ты глупая! Ты совсем не некрасивая, ты очень хорошенькая, и я люблю тебя.

— Ты правда любишь меня?

Ей хотелось, чтобы он повторил десять раз одно и то же, и ему хотелось, чтобы и она сделала это самое. И тогда отблеск счастья появлялся на их лицах и вокруг них воцарялась неподвижная, полная смысла тишина.

За стенами дома не было ни человеческих шагов, ни автомобильных рожков. Зай хотелось рассказать Жан-Ги о том, что Даша часто говорила, что окна их квартиры выходят не на улицу и не на двор, а как бы в закрытое помещение, и всё это напоминает ей чем-то тягинский дом там, в России (в котором позже была открыта столовка). Там окна вестибюля тоже выходили на какую-то крытую галерею, или окна галереи выходили в вестибюль. Вестибюль, как говорила еще Даша, в детстве напоминал ей бальный зал, и она часто воображала его полным музыки, огней, счастья и красоты. Но потом в этом вестибюле что-то случилось, и уже пропало это впечатление. Сама Зай никогда тягинского дома внутри не видела, ходить

туда, в столовку, ей было незачем. Всё это хотелось рассказать Жан-Ги, пока он еще не ушел, но она удержалась, потому что право же она слишком много говорила сегодня. Он может соскучиться и уйти. Даши он не знал. О Соне тоже не надо было ему рассказывать, ее он тоже не знал.

В коридоре раздались шаги и Соня вошла в комнату.

— Прошу прощения, но вам пора уйти. Уже поздно, Зай надо спать. Это не от меня исходит, по мне сидите здесь хоть всю ночь. Это — *patria potestas*.

— Я не понимаю по латыни, — холодно сказала Зай.

— Жаль. Советую почитать словарь Ларусса, там на розовых страницах есть много поучительного.

— Например?

— Например: *Quio nominor leo*, или *Post mortem nihil est*. Впрочем, еще полезнее читать просто Сенеку или Федра.

— Почему она издевается над тобой? — спросил Жан-Ги.
— Кто это?

— Это — Соня. Это ничего. А что такое: *quio nominor leo*?

— «Я зовусь львом».

— Я зовусь львом! — вскричала Зай в волнении. — Жан-Ги, я зовусь львом! А ты?

— Ты бы нас познакомила лучше, чем зваться львом.

— Прости пожалуйста. Соня, это Жан-Ги, которого ты видела на спектакле. Это моя сестра Соня. Полу-сестра, — поправилась Зай.

Соня стояла в ногах кровати, сложив руки на груди, не поклонившись и не подав руки Жан-Ги.

— А, — сказала она насмешливо, — это вы тогда так плохо играли?

— Да, я. Со всеми вместе.

— Это нисколько не смягчает вашей вины. Спектакль был затеян от скуки и он провалился.

— Это бывает и с настоящими актерами.

— Неужели? Я никогда в театры не хожу.

— Это бывает чаще, чем вы думаете. Это была шутка, — она не удалась.

— В этом есть что-то ужасно жалкое, когда коллективно люди решают пошутить.

— Вероятно, вы правы.

Жан-Ги встал, поцеловал Зай и прошептал ей что-то на ухо. Она с засиявшим лицом ответила «до завтра». Он прошел мимо Сони, поклонившись ей. Она тоже пошла к двери.

— Хотите выкурить у меня папиросу? Еще не поздно.

Он кивнул головой и поблагодарил.

— Жан-Ги! — крикнула Зай в то мгновение, когда они уже были в коридоре, — прошу тебя, не ходи к ней, иди домой.

Он появился в дверях.

— Ты сошла с ума? Я делаю, что хочу.

— Я прошу тебя, не ходи к ней. Мне не хочется, чтобы ты шел к ней.

— Положительно, — и он поднял обе руки к небу, — ты есть некое дитя природы.

— Соня, — крикнула Зай, как ей самой показалось, изо всех сил, — не смей уводить к себе Жан-Ги. Не смей! — но ответа не последовало. Дверь в коридор закрылась, шаги стихли, где-то еще закрылась дверь, но не выходная.

От стыда за этот крик, за всю эту короткую неожиданную сцену, Зай закрыла лицо рукой. «Господи, прости мою глупость, мою дурацкую подозрительность, мою несдержанность, — прошептала она. — Я зовусь львом... Нет, я зовусь зайцем и я горю от стыда, или, может быть, это температура вдруг поднялась? Я горю от стыда так, словно я лежу не здесь, а посреди площади Конкорд, между фонтанами и набережной, и все видят меня, меня всю, меня насквозь. Я видела себя однажды насквозь, это страшно. Жан-Ги, защити меня, я боюсь жизни. Укрыться с головой, сжаться в комок, сделать так, как если бы меня никогда не было».

Постепенно это состояние начало проходить, словно закрылось окно, через которое дул ледяной сквозняк, и она опять оказывалась защищенной в своем теплом углу, правда, куда меньше, чем улитка или черепаха, но всё же защищенной. Она давно знала, откуда дул сквозняк, в какую сторону распахив-

валось окно: это было то, что увезла она с собой из своего детства, не отдельные события и впечатления, но страшный дух рабства и смерти, уныния и страха. Пройдет ли это само собой, как иногда ей казалось в минуты счастья и безмятежности, или надо долго бороться, чтобы, наконец, победить это? Но как? Где найти то, что сделает ее, наконец, человеком? И кто был человеком вокруг нее? Был ли где-нибудь поблизости пример? Или можно было найти его в книгах? Или ответ откроется ей, только ей одной, особый ответ? И каков он будет? Хватит ли у нее ума понять его, принять его, воскреснуть, наконец?

Мысли ее обратились понемногу на людей, которых она знала. Она стала думать о Даше, и выбор, ею сделанный, показался ей неверным. Она вспомнила грусть своего разочарования в ней накануне ее свадьбы и увидела, что в этом почти детском разочаровании была заложена смутная правда. Правда эта впоследствии замутилась в чувстве житейского удовлетворения дашиным будущим, но сейчас она выходила вновь на поверхность, еще резче, крепче и непреложнее, чем три месяца назад, и в ней на этот раз уже не было ничего детского. Что-то осталось недовершенным Дашей, она сама себя не доделала, ушла на легкую жизнь, к радости всех, кто ее знал, но было ли это хорошо? Нет, это было не хорошо. Теперь Зай это ясно видела.

Теперь рядом с ней была Соня. Этой, вероятно, никогда не бывало страшно, больше того, Зай казалось часто, что около Сони другим людям бывает страшно. В чем была Сонина тайна, если вообще у Сони была тайна, знала ли она что-нибудь, чего не знала Зай? О, конечно, многое знала она, больше всех наверное из людей, с которыми за всю свою жизнь сталкивалась Зай. Но что именно? И куда вело ее это знание, ее свобода, в которой она жила? Если она была человеком в том смысле, в каком Зай понимала это слово, то, может быть, можно было следовать за ней? Но тут Зай теряла нить своего рассуждения. Может быть, путь Сони не мог стать ничьим больше путем, а может быть, и пути-то никакого не было?

От Сони так часто веяло холодом, не тем ли самым, который был в сквозняке и от которого хотелось «никогда не быть»? Иногда Соня лежала у себя целый день, не выходя из комнаты, и тяжелой тоской веяло от ее лица, которое она прятала в какую-нибудь раскрытую наугад книгу. Вернее всего, она ничего не знала, жила наугад, делала иногда зло, никогда не делала добра и была так далека от всех. От нее ничего не узнаешь, и через нее ничего не узнаешь. Бог с ней!

Но были, конечно, в мире люди, которые могли бы помочь Зай. Был Жан-Ги. Он ничего не знал, боялся заразных болезней (немного странно для будущего доктора!), любил себя, говорил, что добрый, умный и особенный. И это было так утешительно слушать, она готова всегда слушать это, только стыдно, если услышат другие: они могут решить, что Жан-Ги самонадеян и самовлюблен. Они не поймут, что он говорит это просто так, чтобы доставить ей, Зай, удовольствие. Впрочем, какое ей дело до других людей?

И вдруг она вспомнила одну книгу. Она не могла бы сказать, на самом ли деле она видела ее, или это приснилось ей. Это была маленькая толстая книга, не то словарь, не то молитвенник. И там было обо всем. Человек, однажды встреченный ею в поезде, держал ее в руках и то и дело заглядывал в нее. Она заменяла ему адрес-календарь, расписание поездов, и образ этой черной книжки, таинственной и вещей, в эту минуту стал вдруг для Зай символом полного и окончательного, свободного и мудрого ответа на все жизненные вопросы.

Но книги такой не было, и людей, каких ей было нужно, тоже не было. Она была совершенно одна со своими мыслями, и жизнь медленно плыла сквозь нее, в эту минуту похожая чем-то на ущербную луну.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В новой жизни, которая началась для Даши этой весной, ее больше всего поразило количество свадеб, рождений, кре-

стин, разводов, похорон и полученных наследств, которыми она внезапно оказалась окружена. Этого она никогда до тех пор не видела. Платья, висевшие в шкафу, она про себя так и называла: похоронное, свадебное... Впрочем, каждого рода было по нескольку, и заведовала ими тоненькая, на высоких каблучках, арабка-горничная, игравшая вечерами под пальмой, в саду, на маленькой губной гармонике так искусно, что можно было заслушаться. Музыка продолжалась недолго. За горничной приходил араб-кавалер, и они исчезали, унося с собой гармонику. Это был инструмент, которого Даша никогда в жизни не держала в руках, и она представляла его себе не совсем таким, каким он был на самом деле. Платья висели в просторном и приятно пахнувшем шкафу, а в другом шкафу, на нарочно для этой цели вделанных палках, висели ботинки, и тут — тоже приятно — пахло кожей.

Шкафов в доме было множество, целая стена в коридоре была отделана шкафами, в большой комнате внизу, где стоял рояль и всегда было много цветов, тоже были шкафы: стеклянный для фарфора и шкаф-радио, в котором можно было слушать весь мир. В детской и ванной были шкафы. Столов же в доме почти не было, кроме обеденного: вместо столов стояли тут и там низкие металлические и стеклянные геридоны, на которых, протертые, блестящие, красовались тяжелые хрустальные пепельницы.

Громадные окна гостиной до вечера бывали закрыты ставнями и полотняными шторами; люди жили в домах в полутьме и прохладе. В саду, на улице, над городом, дрожал сухой вной и надо было защищаться, чтобы он не проник в дом. В большой спальне Даша оставалась одна по утрам. От малейшего прикосновения геридон на колесах, с кофейником и чашками, бесшумно катился по ковру, от его движения, в противоположном углу комнаты, осыпались в вазе цветы и внезапно, с тихим вздохом, медленно раскрывалась дверца туалетного столика — в доме чутко шевелились неживые вещи.

Жизнь здесь, наглухо закрытая, три месяца тому назад, в один из черных, ветренных вечеров словно раскрылась на ми-

нута, чтобы принять ее в себя и задвинуться над нею. Утром, на следующий день, она уже была здесь у себя дома, она была хозяйкой, женой Моро, она была частью этой жизни, этого дома; она прошла тогда по нему несколько раз. У Моро было серьезное, как всегда, но по новому счастливое и спокойное лицо. Она едва успела об этом подумать, как он обнял ее у окна в столовой, несколько раз поцеловал ей руку и сказал:

— Я хочу, чтобы у тебя всегда было это спокойное, счастливое лицо, которое я сегодня увидел в первый раз, когда ты проснулась.

Она ничего не посмела ему обещать, но почувствовала, что это возможно.

Появились мальчики. Теперь Даша знала их хорошо, но в тот день она не разобрала в них ничего; главное было в те минуты быть совершенно естественной, а это было так трудно! Позже старший оказался сентиментальным и ленивым, не слишком правдивым и не прочь донести. Младший буянил, был своенравен и грубоват, разбил однажды радио и сам едва не остался без глаза, играя с собакой. Но в то первое утро они стояли перед ней хмурые и замкнутые. Гувернантка смотрела на нее с опаской, но всё уладилось и с ней, и с прислугой. И потекли дни.

Вести дом оказалось целой наукой. И себя вести в этом доме. И себя вести в этом новом мире тоже. Выбирать новые грамофонные пластинки, платья и вина, править автомобилем, примерять шляпы, обдумывать ужин на двадцать человек, привывать к людям, которые приходят в дом, танцуют, играют в бридж, в теннис, говорят об аэропланах и яхтах, о модах, о Париже, но совсем ином, не том, который она знала и любила. Этот Париж был как бы надстроен над тем, знакомым, он не совпадал с первым ни в чем, в нем даже как-будто не было целых кварталов, которые Даша знала. И ей стало казаться, что возможно, что, кроме этих двух Парижей, теперь известных, есть еще какой-то третий, а может быть и четвертый... И город, в котором она теперь жила, и который открывался ей постепенно в белизне, зное и строгости своих улиц, быть мо-

жет, тоже имеет свою надстройку, но ее она не узнает. Узнать всего нельзя.

Вечерами, вдвоем, или на нескольких автомобилях, уезжали за город, кружили быстро и часто без всякой цели по белым дорогам, при большой низкой луне; под навесом, за столиками, пили много и говорили мало, или у моря, где играл в ресторане оркестр на двадцати диковинных инструментах, в состоянии странной внутренней неподвижности слушали и эту музыку, и окружающую тишину.

В противоположность пестрому, чужестранному и разношерстному миру, в котором до сих пор жила Даша, здесь люди были более однородны, с их холодком, юмором, замкнутостью в самих себе, с их собственным миром, удобным, не очень уютным, жестоким и деловым. Любовь и деньги, прогресс и надвигающаяся война были главными темами разговоров. Были и еще темы, но эти четыре были основанием, на котором зиждились взаимоотношения. Можно было вникнуть глубже в каждую из окружающих жизней и найти в любой целую цепь мелких преступлений, цепь истин и обманов, неосуществленных желаний и законченных действий, но Даша не вникала. Не так давно Моро сказал ей, восхищенно глядя на нее:

— Мне кажется, я теперь всё чаще вижу у тебя спокойное и счастливое лицо. И я счастлив этим.

И это была правда. Она видела себя в многочисленных зеркалах спальни и большом зеркале холла: у нее было такое лицо, какое должно было ему нравиться. И всё здесь и вокруг было таким, каким оно должно было быть.

Внутри нее было так, словно там перевернули всю мебель: всё стояло совершенно иначе. Там была когда-то жилая, обжитая, не всегда уютная, не всегда чисто выметенная комната, старая полка с книгами над диваном, окно упиралось в чужой дом. Теперь всё было по иному. В окне стояли эвкалипты и апельсиновые деревья, книги лежали на геридоне, нивесь как сюда попавшем, ковер был скатан и обнаружился прекрасный навощенный паркет, на котором опасно было поскользнуться. Собственно, не худо бы поставить всё опять на

место, но времени нет этим заняться, день рассчитан так, что нет времени спуститься в самое себя. А ночью сладко спится в низкой, свежей, огромной постели.

Домой она писала редко; письма были без обращения, словно она их писала сразу ко всем вместе. «Здесь уже здорово жарко, — писала она, — и в саду водрузили великолепный пестрый зонтик (смотрите фото). Купаемся каждый день, под вечер, вместе с собакой, которая не совсем такая, какой бы ей следовало быть: во-первых, ее зовут Лола, хотя она мужского пола, во-вторых, она уже старая и в-третьих — меня почему-то не очень любит. Дети тоже купаются и учатся (но плоховато). Гости — каждый день. Есть старые, есть молодые, есть симпатичные, но есть и противные; всё это однако здесь не имеет большого значения, не могу сказать почему».

И так далее, сколько можно было уместить на средней величины листе бумаги.

Старый повар-араб был несомненно умнее и вежливее большинства гостей, сидевших вечерами вокруг стола в столовой. Моро очень был удивлен, когда она однажды сказала ему об этом. Это, впрочем, тоже не имело большого значения. Старый повар был когда-то в немецком плену, многое видел и умел поговорить. Гости, женщины и мужчины, говорили вразброд, о чем попало, орудуя пятьюстами словами, и все вместе увлекались одним и тем-же: то какой-нибудь игрой, то новым рестораном с музыкой «на краю пустыни», то ламбет-уоком; отличались они от детей главным образом безудержностью и беспорядочностью своих страстей, которыми заполнялась доверху вся их жизнь. Это было и развлечение их, и мучение, на это уходило время, средства мужчин и слезы женщин; те которые не были этому подвержены, были несколько безжизненны и производили на Дашу впечатление людей болезненных или отсталых.

Мужчины разнились друг от друга своими вкусами и родом своих занятий. Женщины разнились главным образом возрастом. В тридцать лет можно было предсказать, какими они будут в сорок — в точности такими, какими были сорокалет-

ние; в сорок безошибочно можно было угадать, какими они будут в пятьдесят. И Даша чувствовала, как незаметно она включается в эту цепь. Ей это казалось вполне естественным. И был даже приятен этот установившийся здесь спокойный и логический порядок.

Совершенно иным образчиком человеческой породы была гувернантка детей, мисс Милль. Это была женщина без возраста, носившая скромные, темные платья и никогда не говорившая ничего лишнего. Ни шагов ее, ни голоса никогда не было слышно. Глаза ее, слегка расширенные и без всякого выражения, смотрели неподвижно перед собой, и она всё делала, что от нее требовалось, а в выходные дни, полагавшиеся ей, сидела у себя в комнате, никуда не выходила, закрыв дверь, просматривая за неделю накопившиеся иллюстрированные журналы. В ее комнате всегда было чисто и пусто. На столе стоял пустой графин со стаканом и лежала платяная щетка. Нигде никаких предметов, ничего своего: ни пилки для ногтей, ни штопального гриба, ни старого письма, ни вообще вещи самого, казалось бы, первого обихода. Постель была застелена так, словно никто на нее уже неделю не ложился, зеркало протерто, скатерть на столе — ни пятнышка, и воздух чистый, как нигде в доме. И ясно можно было представить себе ее в этой обстановке, вечером, или в свободный час: сидящую на стуле у стола, неподвижную и неживую, ожидающую, сложив руки, когда наступит время... для чего-то, ей одной ведомого.

— Какая она странная, — сказала Даша однажды мужу. — Я никогда не видела такого человека. Можно подумать, что ей у нас нехорошо.

— Она чувствует себя у нас прекрасно, живет в доме восемь лет и знает, что обеспечена на старости. Я думаю, что огромное большинство людей на земле живет так или почти так, — ответил он.

Это было странно. Но кроме Даши это, видимо, не удивляло никого. И к гувернантке она привыкла, как ко всему в этом доме, о котором теперь уже говорила «наш дом».

«Наш дом»; «наша спальня»; «моя любимая ваза»; «мои

мальчики и ваши мальчики хотят на велосипедах отправиться в экскурсию»; «не приходите завтра обедать, наш повар в отпуску». «Мой муж заказал себе новый Паккар». Так говорила теперь Даша со спокойным и счастливым лицом. «Они меня судят, наверное. Как они судят обо мне? — спрашивала она иногда Моро. — Ты их знаешь давно, скажи мне, что они могут думать обо мне?»

— Ты им очень нравишься, — отвечал он, любуясь ею. — Иначе и быть не могло. Я это знал. Посмотри на себя!

Она смотрела в себя. И видела, что там всё продолжает быть в большом беспорядке: словно комната, которую она со дня парижского отъезда оставила неубранной. Но зачем была ей теперь эта комната, с выцветшими обоями и какими-то старыми тряпками в ящике комода? Зачем был ей этот неподметенный и уже нежилой угол, когда у нее был теперь целый дом, просторный и удобный, сверкающий чистотой и комфортом, где всё стоит на своем месте, и Рим, и Каир, и Лондон звучат в радиопарате, где маленькая арабка в тонких руках несет перед собой поднос с высокими стаканами, где толстый роман раскрыт на первой странице: не то «Фиалка Бруклина», не то «Роза Пратера», или как он там еще называется. Надо быть мисс Милль, чтобы в жизни не прочесть ни одной книги!

В конце концов, что изменилось? Очень малое. Она всегда была в ладу со всеми и со всем, и теперь продолжает быть в ладу с собою, с людьми, с миром. Она не одна такая: если сосчитать, на земле окажется, может быть, большинство таких, как она. Не все будут, конечно, чувствовать одинаково. Одни скажут: как прекрасен Божий мир и я живу в нем его частицей! Другие скажут: чорт возьми, постараемся не портить мирового равновесия; а третьи крикнут: не пойман — не вор! После чего спрячутся и будут продолжать свое благополучие. Поэты срифмуют «землю-приемлю» и в великой, неподвижной гармонии мира все замрут в созерцании чудного пейзажа, несколько, правда, равнодушной к человеку, но всё же матери-природы, дающей молочные продукты, живописные закаты и всякие дру-

гие радости, вплоть до пера и пуха. Буйного мальчишку, всё вокруг себя со сладострастием ломающего, переделает в конце концов мисс Милль; тихоня и доносчик найдет под солнцем свое место. Хорошо чувствовать себя молодой, здоровой, любимой, без забот о завтрашнем дне, с платьями на все случаи жизни, с прекрасными шкапами, полными нужных и красивых вещей, с ослепительным холодильником на ослепительной кухне, где в легком тиканьи невидимых часов вода превращается в кубики льда — день и ночь — что так удобно в жаркое время года.

День проходил быстро. Моро уезжал в город в восемь. Повар и мисс Милль отнимали большую часть утра. Кто-нибудь заезжал перед завтраком; маленькие житейские радости и маленькие житейские заботы, едва касаясь, неслись мимо Даши. В два часа в ворота въезжала длинная, черная машина, и Даша, загорелая, прямая, в африканских сандалиях и свежем платье, окидывала в последний раз быстрым взглядом стол, накрытый в столовой для лэнча, под широкими лопастями вентилятора, с тихим шелестом работающего под потолком.

Моро брал душ, потом спускался. Мальчики завтракали рано и в этот час обычно уже возвращались в школу. За столом, когда гостей не было, говорили мало — это был один из тех обычаев, которые, как Даше казалось, доживали здесь свой век. В Моро она с самого начала их знакомства подметила это соединение уходящего века с веком идущим: были какие-то точные правила, которые он соблюдал; по примеру своих отцов и дедов, и рядом с этим современная жизнь резкими толчками освобождала его от многого. Никаких конфликтов между старым и новым он не чувствовал, уступал очень охотно старое новому и принимал это новое, как принимал вообще свое существование, много над ним не раздумывая.

Даша однажды спросила его:

— Как бы я хотела знать, за кого ты голосуешь, когда бывают выборы в палату?

Он таинственно улыбнулся:

— Сразу видно, что ты приходишь от варваров. Это — страшная тайна и никто не имеет права предлагать такие вопросы.

— А всё-таки?

Но он так и не ответил.

— Хорошо. У меня тоже будут секреты от тебя. Я тоже не скажу тебе, за кого я голосую.

Но он и не думал любопытствовать о таких вещах. Она может голосовать хоть за социалистов, он голосует за Морраса. «Но поссориться нам будет невозможно. И слава Богу!» — подумала Даша тогда.

— Поссориться с тобой будет невозможно, — сказал он ей однажды, по какому-то поводу. — Я считаю жизнь с тобой самым большим счастьем, какое могло выпасть мне на долю.

После завтрака жизнь замирала в доме, как и в городе. Это был священный час дня, сиеста, когда останавливалось всякое движение. Ослепительное солнце, раскаляя город, неподвижно бушевало за стенами дома, в ленивой тишине играли часы тонким звоном каждые четверть часа. Потом, душистой, зеленоватой водой наполнялись ванны. Ехали на берег, ехали на гольф, любовались свежими, политыми газонами. Потом обедали дома и отдыхали на широкой террасе.

Из сада в это время неслись звуки губной гармоники.

Тебя не раздражает эта музыка? — спросил он однажды, беря ее в объятие своей единственной рукой.

— Что ты!... А тебя?

— Нисколько.

В той половине дома, где жили мальчики, постепенно затихала дневная жизнь. В последний раз, в одних трусиках,

младший мальчик с грохотом съехал по перилам лестницы в холл, ударил кулаком в старый медный гонг, висящий у двери, свистнул оглушительно в какую-то свистульку, и сто раз повторяя нараспев одно и то же слово, ему чем-то понравившееся, на четвереньках вскарабкался наверх. Хлопнула дверь; сбежала куда-то мисс Милль. Старший, которому недавно исполнилось тринадцать лет, часто болел приступами лихорадки и давно уже лежал в постели. Обычно Даша поднималась к нему в девять часов. Ей иногда хотелось сесть рядом и положить ему руку на лоб, и несколько минут молча, сосредоточенно... но это было совершенно невозможно, юна однажды попробовала сделать это, но он так странно, тупо и равнодушно взглянул на нее, что она сейчас же сняла руку, в то время, как младший переверосив свою постель и наконец угомонясь, насмешливо сказал:

— Мне тоже, пожалуйста, порцию телячьих нежностей!

На следующий день она задержалась у его постели. Этот был всегда здоров и дерзок на язык, и она его немного опасалась. Старший же, постоянно болевший, может быть, и мог бы выздороветь, если бы она очень этого захотела и если бы всё вообще было по-другому. Но почему желать, чтобы что-нибудь было по-другому, когда и так у нее спокойное и счастливое лицо? И всё это глупости, о которых стыдно вспоминать. Она задержалась, оправляя вышитую простыню; он следил за ее движениями, а потом одним взмахом ноги всё снова привел в беспорядок, и когда она вышла, раздался хохот. Всё это было вполне безобидно и, конечно, изменить здесь что-либо она не могла.

Если гостей не было и они не выезжали за город на машине, в ширь, уже похожую на пустыню, она шла в сад, где было тихо и стояли густо одна подле другой сухие, серые пальмы, именно стояли, словно их принесли сюда и поставили, на эту жесткую, рыжеватую землю, где что-то живое бегало по песку, невидимое в темноте, что-то оживавшее только ночами, какие-то ящерицы, днем невидимые, и у которых, может

быть, было яркое брюшко и веселые хитрые глазки, но скрытые от людского глаза. Звезды, непривычно крупные и зеленые, горели в небе, в таком, тоже непривычном, рисунке. Большая Медведица едва выходила из-за горизонта и почему-то совершенно бесспорным становилось, что земля круглая.

В гостиной, выходящей на север, окна теперь были настезь. Высоко заложив ногу на ногу. Моро читал в кресле, у широкого окна. Горели жирандоли. Он терпел мустикеры только в спальнях и сейчас, тихонько и ритмически, покачивал головой, спугивая этим крошечных голубых бабочек, носившихся вокруг него. В первое время Дашу удивлял по утрам цвет мусора, выметаемого из нижнего этажа: он был голубой. Бабочки к утру высыхали в пыль.

Даша долго смотрела на него из сада. Он несколько раз поднимал голову и бросал быстрый взгляд в направлении раскрытого во всю стену окна, но, конечно, не мог ее увидеть во тьме. Она неслышно опустилась в полотняное кресло, вытянула ноги и раскинула руки. Человек похож на крест на ножках... Играли в крестики... Интересно, водятся ли здесь пауки-крестовики?... Южный Крест — это не здесь, это гораздо дальше, по другую сторону экватора. Возможно, что они передут туда, откуда его видно. Южный Крест и звезда Эридан, которая начинает публике сильно приедаться... Там уже никакой Медведицы... Белые живут на льду... Завтра двадцать бутылок шампанского привезут утром. Хватит ли льду? В общем, хорошо, что она холодна с мальчиками: так и надо. Всё обойдется, уже обошлось. Она знает, что всегда всё для нее обходится.

Она смотрит ввысь. Она смотрит в себя. Там, глубоко-глубоко, куда упирается мысль, как-то всё по новому, совсем не так, как бывало. Какой-то новый порядок на всем, и неподвижность. Нет больше замирания восторга, соединения с чем то огромным, отражения звездного неба. Там всё спокойно, ясно и благополучно. Там, в прозрачности неомраченной дашиней совести и ее юстановившейся мысли, лежит просто...

сон... Ничего уже не блеснет оттуда. Потеряв ощущение верха и низа, медленно и плавно, из пустоты в пустоту, слетает ей в память сегодняшней счет старого, мудрого, вежливого повара, который она еще не успела проверить... Кухонный расход за неделю...

— Даша, — говорит Моро, наклоняясь к ней, — ты уснула? А мне казалось, что ты под окном стоишь и на меня смотришь... Еще рано спать. Поедем поужинать куда-нибудь... если ты не устала.

— Земля несомненно совершенно круглая, — говорит Даша, вставая.

Н. Берберова.

(Окончание следует).

БЕСПРИЗОРНИКИ

« . . . Погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?».

Ф. М. Достоевский

«Записки из Мертвого Дома».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как я стал беспризорным

«Позабыт, позаброшен,
С молодых, ранних лет
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет...»

Из песни беспризорных.

Матери я не помню. Она умерла, когда я был совсем маленьким. Отца помню хорошо. Он был инженером на заводе в Орджоникидзе¹. В этом городе я провел свое раннее детство с отцом и старой нянькой. Помню, как уезжая из дома на завод, отец часто брал меня с собой. Для меня это была большая радость. Завод стоял на окраине города, у самого Терека. Мы ездили туда в пролетке на большой серой лошади. На заводе, пока отец ходил, разговаривая с какими-то людьми и что-то показывая им, я всегда бегал по большому заводскому двору, заглядывая в мастерские к рабочим. Но самым большим моим

¹ Бывший Владикавказ.

удовольствием было сидеть на скамейке у заводских ворот со старым сторожем Семенычем. Семеныч неизменно сидел здесь на лавочке, посасывая свою трубку. С ним мы были большие друзья. Обычно, усевшись рядом с ним, я слушал рассказы старика; иногда он мне делал игрушки, вырезывая их из дерева своим острым, кривым ножом. А к вечеру, когда рабочие черной массой начинали выходить из заводских ворот, я бежал в контору к отцу, и когда отец кончал работу, мы садились в пролетку и иногда ехали не домой, а куда-нибудь за город, в горы.

Во время этих поездок отец всегда мне рассказывал всякие интересные вещи — о жизни горцев, о войне русских и черкесов на Кавказе и многое другое. Возвращались мы поздно, когда уже темнело и вдоль дороги, в окнах домов начинали мелькать огоньки. Лошадь несла мерно-покачивающуюся пролетку и, прижавшись к отцу, я засыпал.

Когда же я оставался дома, я играл в саду с няней. Наш двухэтажный кирпичный дом стоял в густом, тенистом саду, обнесенном высокой каменной стеной. Здесь на лужайке, среди развесистых яблонь, я, обычно, и проводил время. Няня всегда сердилась на отца, когда он увозил меня на завод, потому что мы поздно возвращались. Но отец редко ей уступал и часто брал меня с собой не только на завод, но и когда ездил по делам в город и в гости. Теперь я думаю, что он, может быть, тогда уже предчувствовал свою страшную судьбу и старался как можно меньше расставаться со мной. Когда отец работал у себя в кабинете, я играл рядом с ним на полу, на большом красном ковре, расставляя свои игрушки.

Но в один день, весной 1929 года, всего этого не стало...

Я проснулся от шума. В соседней комнате шел громкий разговор. Отца моего последние два дня я не видел и решил,

что это он вернулся домой. Я быстро вскочил с кровати. Няни, всегда приходившей меня будить, сегодня почему-то не было. Одеваясь, я прислушивался, что-то необычное происходило в доме.

Открыв дверь, я увидел незнакомых людей. Громко разговаривая, они ходили по комнатам, открывали шкафы, что-то считали, записывали. Я не понимал, что это за люди и что они у нас делают?

— А вот и мальчишка! — сказал один. — Его тоже, что ли, записать?

Все они захохотали.

Один из них, подойдя ко мне, взял меня за руку и потянул за собой.

«Это должно быть воры!..» мелькнуло у меня в голове: — «Но где папа, где няня? Надо звать на помощь!..»

Я вырвался и бросился бежать. Но сильная рука снова схватила меня.

— Идем, я тебя отведу к отцу. Здесь тебе нечего делать!

Мне стало страшно. Незнакомый больно сжимал мою руку, таща вниз по лестнице. Я спотыкался, оборачивался, мне всё казалось, что или отец, или няня сейчас придут и спасут меня.

Я начал плакать. Человек ничего не говорил. Мы вышли из нашего дома. Человек громко хлопнул дверью.

Мы пошли по улице. Было сыро. Несмотря на ранний час, в городе было ужелюдно и шумно. Еле поспевая за человеком, который не выпускал моей руки, я, плача, быстро шел по улице, с тоской вглядываясь в прохожих, надеясь увидеть хоть какое-нибудь знакомое лицо.

Сначала я думал, что, может быть, он ведет меня на завод к отцу, но дороги, по которой мы обычно ездили, я не узнавал; гуляя с няней, мы никогда так далеко не заходили. Я стал уста-

Вать и уже еле шел, когда мы остановились у больших ворот перед сумрачным домом с грязными, закопченными стенами, разбитыми стеклами и железными решетками на окнах.

Человек открыл калитку, и мы вошли во двор, обнесенный высокой каменной стеной. На дворе ни дерева, ни кустика, грязь, лужи, всюду мусор. Жое-где бродили странного вида маленькие фигуры — дети моих лет и старше — грязные, в лохмотьях. Одни из них грелись на солнце, другие мутили грязь в лужах и мазали ею друг друга, третьи пускали по лужам щепки и бумажные лодочки. Казалось, что они не обращали на нас никакого внимания, но проходя мимо них, я заметил их исподлобья бросаемые на меня злые взгляды.

Мы вошли в темный, грязный коридор. Мне стало жутко. «Неужели папа здесь?.. Неужели это наша новая квартира?» — подумал я и не мог удержаться слез. Человек оставил меня в коридоре.

— Ты, голец, стой здесь и не реви, — проговорил он. — Твои слезы никому не нужны... Пойду сейчас скажу насчет тебя. Осточертели мне эти выродки! — ворчал он, уходя от меня по коридору.

Я остался один. Меня охватил ужас, я дико закричал и бросился бежать. — «А вдруг папа здесь!» — снова мелькнуло в голове. — «Тогда он сейчас же возьмет меня отсюда...» И я представил себе как дверь открывается, он входит, я бросаюсь к нему и начинаю плакать — плакать от радости, от счастья, а он берет меня на руки, обнимает, успокаивает, мы садимся в пролетку и едем долго, далеко и главное быстро, быстро, чтобы поскорее уехать...

Дверь отворилась. На пороге стояли мой провожатый и еще какой-то незнакомый человек, низкорослый, со сросшимися бровями и маленькими глазами. Незнакомый человек неприветливо оглядывал меня. В это мгновение я почувствовал, что случилось что-то ужасное... даже плакать не было сил.

— Вот твой новый отец, — проговорил мой провожатый, — смотри, как бы привыкнуть и полюбить его, а о прошлом, чем скорее забудешь, тем для тебя лучше...

Со всех ног я бросился бежать к выходу, но меня схватили и потащили наверх. Я стал дико кричать, царапаться, отбиваться, старался укусить державшие меня руки. Но сильный удар по голове оглушил меня...

**
*

Я очнулся в большой, довольно светлой, грязной комнате. Слезы душили меня. Я плакал. Но постепенно, видя, что никто не обращает на меня внимания и не приходит утешать, как это бывало дома, стал умолкать и приглядываться. Комната была с большими разбитыми окнами, заткнутыми картоном или заклеенными газетой. Закопченные стены, черный потолок, уклеенный мундштуками от папирос, на полу клочки газет, солома. В беспорядке стояли койки с рваными мешками-матрацами, заваленные каким-то тряпьем. А посредине — большая чугунная печка с трубой, выведенной в окно. Печка чадила, наполняя комнату едким дымом.

В комнате было много детей, начиная с малышкой моих лет (мне было тогда шесть лет) и кончая подростками лет шестнадцати. Всё это были такие же невытые, лохматые, обросшие оборванцы, как и во дворе. У некоторых лица были настолько черны от грязи и загара, что только белки блестели, как у негров.

Одни сидели, сбившись в кучу, играя в карты, о чем-то шумно, чуть не до драки, споря, другие лежали на койках, курили, равнодушно поглядывая на меня. Несколько оборванцев грелись около печки, один из них усердно расщеплял ножку от скамейки, подбрасывая щепы в открытую дверцу печки, другие жарили ломтики картошки, прилепывая их к горячим бокам печки. На печке стояло ведро, в котором, очевидно, что то варилось. Мальчишки, вокруг печки, часто в него заглядывали и мешали длинной палкой.

И комната, и ее обитатели чем-то сразу мне напомнили сказку няни о пекле и о чертях. Мне стало страшно. Поднявшись с пола, я робко осматриваясь, прижался к стене у самой

двери. Но то равнодушие и безразличие, с которым все в этой комнате ко мне относились, несколько меня успокоило, и я решил подойти к одному из лежавших на койке мальчиков, лицо которого мне показалось более приветливым, чем у других.

Я спросил у него, где я и что это за дом? Мальчик — он был на несколько лет старше меня — презрительно оглядев меня с ног до головы, нехотя ответил:

— А тебе какое дело? Привели и сиди.

— А когда же домой?..

Мальчик еще раз с презрением оглядел меня.

— Вот дур-рак!.. — проговорил он и повернулся ко мне спиной.

Я ничего не понимал и стоял в полной растерянности. В горле зашипало, на глазах навернулись слезы. Я заплакал. Обернувшись, мальчик приподнялся на локте и снова внимательно стал меня разглядывать.

— Утри со-о-пли! — протянул он и важно проговорил: — Реветь нечего — Москва слезам не верит! — И после короткого молчания, видя, что я продолжаю реветь, с усмешкой добавил:

— Тяжело, браток... От мамкиной грудки да в детдом. Ничего — с год, как я, посидишь — молоко обсохнет.

— А долго здесь жить надо? — испуганно спросил я, год мне казался чем-то длинным, непонятным.

— Ну пока из сосунков не вылезешь, — ответил он.

Мне опять захотелось плакать.

— Чего ты, не реви, всё равно слез не хватит. А только другие смеяться будут. Я тоже первые дни скулил, а теперь, видишь, привыкаю. Пока здесь поживи, на воле хуже, пропадешь. А тут обвыкнешь и начнешь разворачиваться. Все так делают.

Его слова меня мало утешили; я не понял, что значит «воля», «разворачиваться». Мне всё еще казалось, что отец обязательно найдет меня и уведет отсюда. Я начал было рассказывать мальчику о моем отце, о том, что со мной случилось, но он сразу грубо меня оборвал:

— Молчи. Сам знаю, тут все такие... об этом здесь нечего языком чесать. — И помолчав, добавил: — А как звать тебя?

— Коля.

— Ну так вот, Колька, соседом будешь. Видишь кровать тут? Валяй, занимай, пока пустая, а то улетит, как птичка.

Я с недоумением глядел на то, что мой собеседник, — его звали Мишкой и имя его было наколото² на его руке — называл кроватью. На железной, продавленной решетке без матраца, без подушки и одеяла валялось несколько грязных рваных тряпок.

— На домашнюю-то не похоже! — усмехнулся Мишка. — На, возьми пока мое пальто, прикроешься.

В это время в коридоре послышались шаги и громкий плач.

— Это такие же, как ты, новички ревут. К нам их сюда каждый день приводят. Если бы одни не убегали, да другие не дошли, здесь бы давно уже места не то что лежать, а стоять бы не было.

Мишка сплюнул и повернулся на другой бок.

**
*

Я долго лежал, прикрывшись мишкиным пальто. Уже наступили сумерки. Мне очень хотелось есть. Где-то внизу слышался звон колокола. Мишка сполз со своей койки, почесал спину и кивнул мне головой:

— Собирайся, Колька, сейчас жрать пойдем.

Дети, толкая друг друга и гремя банками и котелками, с шумом повалили из комнаты. Мишка достал из-под кровати и сунул мне в руки ржавую железную тарелку.

— На, баланду хлебать будешь.

Мы спустились по лестнице. Перед окном кухни, в коридоре, дожидаясь раздачи, уже стояла толпа оборванных и грязных мальчиков и девочек. Несколько детей, лучше одетых, с испуганными и заплаканными лицами, робко стояли в стороне.

² Татуировано.

Это были, такие же, как я, новички. Их теснили, пихали, а они не решались проталкиваться вперед.

Я еще крепче ухватился за Мишку, стараясь не отставать от него, чтоб не быть затертым у окна в давке, где выдавали суп. Повар, высокий, худой детина, в замасленном фартуке и рваной майке, в сдвинутой на затылок бескозырке, из-под которой свисал огромный рыжий чуб, налил нам по половнику супа и сунул по небольшому куску хлеба. У него были такие грязные, сальные руки, что мне стало противно. Но я был так голоден, что хлеб всё-таки взял. Кругом меня, сидя на длинных скамейках за столом, дети с жадностью ели этот суп. Я тоже попробовал, но есть не мог; это была какая-то отвратительная мутная жидкость. Мне сразу представился наш обед дома, отец, няня, и у меня опять больно сжалось в горле. Судорожно зарывав, я схватил Мишку за рукав и прижался к нему. Но продолжая есть, он сердито оттолкнул меня:

— Будешь дурака валять — подохнешь. Жратуху здесь раз в день дают, а воровать ты еще не умеешь.

После обеда я понуро сидел на своей койке, а Мишка развалился на своей, напротив меня. Он наскреб в кармане какой-то трухи, подобрал с полу кусок газеты и, свернув козью ножку, с наслаждением затягивался ею.

— Ты смотри, держись, Колька, — подмигнул он мне. — Хорошо себя покажешь, товарищи воровать научат и в обиду не дадут, а один пропадешь. Под ноги пугалам³ зря не попадайся, они тут бьют по чем попало. А с расспросами не лезь — по сусалам подхватишь. Тут, браток, многому учиться надо. Тем, кто старше, — лучше, бежать далеко могут. Ни один чорт не найдет... — Он помолчал. — Вырасти только надо... — добавил он, зевая и потягиваясь.

Стемнело. Электричества не было. Колеблущееся пламя двух коптилок тускло мерцало в комнате. Из разбитых окон сильно дуло, и всё же в комнате было чадно и дымно, потому что дети, даже самые маленькие, почти все курили. Дверь поми-

³ Пугало — воспитатель.

нутно отворялась и новые дети, по одиночке или гурьбой, врываются в комнату. Возня, ругань, крики сливались в то возраставший, то утихавший гул. По стенам и потолку ползали и колыхались длинные тени. Дрожа от холода, я натягивал на себя сползавшее тряпье. Зубы стучали. Передо мной словно проплывали какие-то странные образы, в голове крутились бессвязные мысли и обрывки мишкиных рассказов. Надо бежать отсюда! Но куда? Дома чужие люди. Где папа? Надо найти его. И мне вспомнился завод и показалось, что отец должен быть, конечно, там, что я завтра же убегу туда и найду его, и тогда всё устроится. Эта мысль успокоила меня и я заснул.

**
*

На утро, проснувшись, я первым делом хотел спросить у Мишки, как мне бежать из этого дома. Но его уже не было. В опустевшей комнате рядом со мной на койке сидел вихрастый, конопатый мальчик. Кряхтя и сопя, он обрывком бичевки перевязывал свой рваный башмак, стараясь подвязать оторвавшуюся подошву. Я было попробовал с ним заговорить, но он так угрюмо посмотрел на меня, что я не решился к нему больше обращаться. Тогда я не знал, что здесь за детьми почти никакого надзора нет и они свободно уходят, когда хотят. Твердо решив бежать, я набрался храбрости, вышел из комнаты и стал спускаться вниз. В это время ватага мальчиков, обгоняя меня, с грохотом сбежала по лестнице и, распахнув двери, выбежала во двор. Я побежал за ними. У калитки я чуть было не столкнулся с моим вчерашним провожатым. Он вел за руки двух маленьких девочек с испуганными и заплаканными лицами. Сердце мое замерло, но в гурьбе мальчиков он не узнал меня. Я выскочил на улицу и опрометью бросился бежать.

Пробежав несколько кварталов, я оглянулся и, увидав, что за мной никто не гонится, остановился. Первый раз в жизни я очутился один на улице. Я растерялся, не зная, что делать и куда идти. Я стал припоминать, что ездя с отцом на завод, мы всегда ехали в сторону гор, и вдали за заводской крышей вид-

нелась тогда плоская вершина горы «Столовая», как называл ее отец. Я ее видел и теперь вдали над крышами домов и пошел по направлению к ней, прислушиваясь к шуму Терека, протекавшего у самого завода. Шум на улицах, прохожие, базар, мимо которого я проходил, на время развлекли меня. Но вскоре я почувствовал усталость. Было жарко, хотелось пить, башмак больно тёр ногу. Улицы мне казались бесконечными, а шум Терека как будто всё не приближался. Шел я, как мне казалось, очень долго и наконец, свернув в какой-то переулок, оказался в тупике на чужом дворе. Почувствовав себя окончательно потерянным, я громко заплакал. Ко мне подошла какая-то седая, плохо одетая старуха и стала спрашивать, кто я и откуда? Я рассказал ей, как умел, что ищу завод моего отца и назвал его фамилию. Взяв меня за руку, старуха вывела меня на улицу и прошла со мной несколько кварталов.

— Вот теперь недалеко, ступай прямо, как до перекрестка дойдешь, сверни налево, тут завод и будет.

Я пошел по указанному ею пути и действительно вскоре за поворотом улицы увидел знакомую фабричную трубу и, наконец, и стену завода с нарисованным на белом фоне большим, зубчатым колесом, над которым крупными буквами было написано «Цвет-Мет»⁴. А в конце улицы виднелся противоположный, обрывистый берег Терека.

У ворот завода на лавочке, как всегда, сидел старый Семеныч. При виде его меня охватила бурная радость и я со всех ног бросился к старику.

— Ты как сюда попал? Один? Да и грязный какой! — растерянно и удивленно говорил старик. Задыхаясь и рыдая, я стал рассказывать Семенычу обо всем случившемся.

— Ну чего ты, сынок. Не плачь! Папы твоего сейчас здесь нету. Папа вернется... Ты не того, не горюй... обойдётся, сынок, — ласково бормотал старик, глядя меня по голове: — Ты, чай, голодный, — и он повел меня в свою сторожку, где усадил за стол.

⁴ Завод Цветных Металлов.

— Ишь, орел какой, сам добрался. Правильно. Ну пока отец вернется, маленько со мной поживешь и мне, старику, не так скучно будет, — проговорил он, глядя, как я уплетаю борщ, согретый им на маленькой печурке.

Старик уложил меня на сундуке, прикрыв своим полусубком. Всё тело мое болело и ломило от усталости, ноги ныли, голова горела. Но я был счастлив. Хоть отца я и не нашел, но у Семеныча мне было хорошо и спокойно. Старик долго еще что-то говорил, но я его уже не слышал, я засыпал. Ночью меня мучили кошмары, я просыпался, звал отца, няню, а на утро очнулся весь в жару. Несколько дней я пролежал у Семеныча больной. Кое-кто из заводских рабочих после работы заходили в сторожку. Слушая рассказы старика, они с любопытством поглядывали на меня и качали головой.

**
*

Я остался жить у Семеныча. Его маленькая сторожка под железной крышей была всего в одну комнату. В ней стояла большая, сложенная из кирпичей печь, к которой была приделана из досок кровать. Был еще деревянный стол, две табуретки и сундук, на котором я спал. На стене висели какие-то ключи и одежда. В углу — метла с ведром.

В мои обязанности входило подметать сторожку, мыть после еды посуду (кастрюля и две деревянных ложки), топить печь, ходить за водой (кран был на заводском дворе), а также приносить стружки из столярной мастерской для растопки печи. Всё это много времени не занимало, хозяйство было несложное и остальное время я был предоставлен самому себе.

В первые дни я всё вспоминал отца и приставал к старику с расспросами. Дед, как я скоро стал называть Семеныча, отвечал уклончиво и толку от него добиться я не мог. Но бегая по заводу, я часто заглядывал к старому плотнику, приятелю деда. Тот охотно шутил и разговаривал со мною. Сначала на мои вопросы об отце он отвечал, что уехал, мол, а когда вернется неизвестно. А потом раз прямо мне сказал, что моего отца за-

брало ГПУ. Я не понял, что такое ГПУ, за что забрали отца. Подростешь, узнаешь, сейчас всё равно не поймешь. Не одного его забрали... многих забрали... А может еще освободят».

Из слов плотника я только понял, что с отцом случилось что-то очень плохое. На душе было тяжело и слезы часто приходили сами собой. Но я всё еще верил, что отец вернется; я просто не мог в это не верить; я не мог понять, что разлука эта окончательна и что к прошлой жизни я никогда не вернусь и отца не увижу. И веря, что всё прежнее опять возвратится, я сравнительно легко примирился с новой моей жизнью на заводе.

А время шло. Два года я прожил в сторожке. К Семенычу я привязался и к жизни с ним привык. Целые дни я проводил в мастерских или во дворе, роясь в кучах сваленного железного лома или возился в столярной мастерской. Плотник иногда мне делал деревянные игрушки: лошадки, аэропланы, коньки из дерева. Иногда он позволял мне брать инструменты и, показывая, как ими надо работать, всегда приговаривал:

—Учись, сынок, в отца пойдешь — хорош мастер будешь.

Из его рассказов я постепенно узнал, что отец был инженером и сам хорошо знал все заводские работы, что его тут все уважали и любили, что он сам всегда умел рабочим показать, как надо что сделать и часто сам работал у станков, засучив рукава. Я узнал, что завод этот был построен отцом еще до революции. Начал же отец с маленькой мастерской, а потом развил большое дело. После революции завод перешел к государству, отец же остался в нем директором. Плотник этот служил у него с давних лет. Однажды он мне показал в заводской конторе толстую книгу и сказал, что эта книга техническая и написана отцом. С тех пор я стал часто забегать в контору, чтобы полюбоваться этой книгой и хоть подержать ее в руках. Уж один вид ее, а тем более прикосновение к ней, наполняли меня беспредельной гордостью и еще большей любовью к отцу.

За два года рабочие на заводе ко мне привыкли, я стал у них своим, «заводским», и постоянно бегал по их поручениям. Многие из них часто делились со мной обедом, который они

обычно приносили с собой в котелках. Иногда рабочие посылали меня за водкой в монопольку. Иногда и мне давали выпить. Я кашлял, морщился, а они смеялись. Мало-по-малу я вошел во вкус, мне понравилось ощущение теплоты, дурмана и приятной легкости.

В дни, когда рабочие получали зарплату, они часто давали мне по несколько копеек на «семячки», а иногда и по целому рублю.

Хотя рабочие и жили впроголодь, но пили они много. В пьяном виде, не стесняясь, они вслух ругали порядки на заводе, жаловались, что рабочих часов стало больше, чем раньше, а жить становится всё труднее и труднее, что базары пустые, что в лавках нечего купить.

Нередко приходилось слышать, как они вспоминали об отце, говорили: «Хороший был человек», и ругали новое начальство. Говорили они часто, что увеличиваются налоги и всякие вычеты из жалованья, ругались из-за несправедливых взиманий за брак, за пропуски по болезни, за прогулы.

Вскоре с завода стали исчезать те из них, кто ходили протестовать к начальству, выражая свое недовольство. Все знали причину их исчезновения: — «Наболтал человек — вот и поплыл... Завтра и с нами то же может случиться...»

За два года почти весь состав рабочих переменялся. А моя судьба изменилась, когда умер Семеныч.

Последнюю зиму он стал заметно дряхлеть: кашлял, кричал и часто говаривал:

— Эх, сынок, стар я стал. Помирать скоро буду. Мал ты очень, кто тебя возьмет, щенка такого?

Весной он уже с трудом выходил к воротам и, наконец, совсем слег.

Как-то проснувшись утром, я увидел, что дед лежит неподвижно, с широко открытыми глазами. Я стал его звать, толкать, но он не двигался. Мне стало страшно, я побежал звать людей...

Когда заколоченный гроб вынесли за ворота и положили на

телегу, я понял, что нет у меня больше никого, что я остался один.

Через несколько дней после смерти деда, меня подозвал старый плотник и сказал, что завтра в сторожке поселится новый сторож, а директор хочет отправить меня в детдом. Мысль о возвращении в детдом, с которым у меня были связаны самые страшные воспоминания, привела меня в отчаяние: — «Дяденька, — взмолился я, — мне всё равно, где жить! Я у вас в мастерской буду спать, на дворе, в ящике, только бы не в детдом...» — умолял я плотника.

— Ничего, малец, не поделаешь, — говорил он, — новому директору ты уже давно глаза мозолишь. Кое-кто из нас за тебя уже просил, да он и слышать не хочет. Говорит, что там из тебя хорошего коммуниста сделают. Привыкнешь там, товарищи будут...

Искать защиты мне было не у кого.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Детдом имени «Третьего Интернационала»

«У других есть родные,
Приласкают порой...
А меня все обижают,
Называют чужой...»

Из песни беспризорных.

Когда в сторожку деда за мной пришел здоровенный, рябой милиционер, я начал собирать оставшиеся у меня от деда вещи: его старый тулуп, несколько штопанных рубах и калоши. Завязав всё это в узел, я с тяжелым сердцем пошел за милиционером, таща на спине вещи. По мере того, как мы приближались к детдому, мне становилось всё тревожнее. Я уже знал, что там меня ожидает что-то темное, страшное. И в то же самое время я сам себя утешал, что, может быть, там как-нибудь сживусь с детьми и у меня будут товарищи.

За два года, проведенные мною у Семеныча, в детдоме ничто не изменилось: та же грязь, те же худые, оборванные, истощенные дети. Приведший меня милиционер передал воспитателю какие-то бумаги и воспитатель сразу повел меня в канцелярию. Там он записал что-то в толстую тетрадь и через коридор ввел меня в знакомую мне уже комнату. Здесь тоже всё было без перемен: те же разбитые окна, кучи сора и хлама, рваное тряпье на постелях, дымящаяся печка, испещренные надписями стены; только грязных детей как будто прибавилось. Койки все были заняты и многие дети лежали просто на полу, подстелив под себя какие-то тряпки. Одни, сняв с себя лохмотья, были заняты ловлей вшей, другие, потягивая козы ножки, играли в карты, третьи без дела слонялись по комнате. Шум, ругань слышались еще из коридора. Входя в комнату, воспитатель толкнул ногой лежавшего на полу мальчика, считавшего собранную перед ним кучку альчииков, и прикрикнул:

— Развалился! Нашел место! — и пройдя дальше, заорал: — Почему беспорядок! Что за грязь! Кто дежурный? Дармоеды! Выродки! Попересажаю всех! Почему не в мастерских? Встать, когда с вами разговаривают! Сдать табак! В печку карты! Марш двор чистить!.. — орал он, раздавая направо и налево пинки и подзатыльники, стаскивая мальчиков с коек и то у одного, то у другого вырывая из зубов папиросы, а из рук карты. При его появлении в комнате всё затихло, несколько малышей даже испуганно забились в угол. Но как только, вместе с подзатыльниками, воспитатель стал выдирать папиросы и отбирать карты, сразу же поднялся всеобщий гвалт.

— Видали мы таких красивых!

— Жрать давай!

— Не казенные мы тебе!

— Чего дерешься, холера! — понеслось со всех сторон.

В одно мгновенье в комнате всё смешалось, всё пришло в движение; и крик, и визг, и брань, и хохот — всё слилось в дикий шум. В зависимости от темперамента, одни зло огрызались на воспитателя, другие издевательски ржали, ругались, отбрыкивались, третьи, уцепившись за койку, голосили так, точно их

резали. Кое-кто из малышей, спрятавшись за спину старших, безнаказанно показывал воспитателю язык и поносил его таким отборным матом, какого я никогда не слышал даже на заводе.

Вся возня длилась минут десять. В конце концов, все, одни бегом, а большинство лениво, в развалку, покинули комнату, рассеявшись кто по соседним комнатам, а кто по двору. В комнате осталось только несколько назначенных дежурными, которые с снисходительным: «Ну, ладно, отшейся!», нехотя принялись за уборку. Но как только охрипший воспитатель ушел, трое из пяти дежурных немедля развалились на койках, четвертый разбросал ногой уже собранную им кучу мусора и только пятый продолжал без особого усердия сгребать под койки разбросанные по полу тряпки и всякий хлам. Комната была пустой около часа. Затем, кучками и в одиночку, изгнанные постепенно повалили обратно. Через два часа всё было на месте — та же оживленная игра в карты, споры, ругань, песни, драки, ловля вшей и клубы махорочного дыма.

Я сперва стоял у двери, а потом облюбовав себе место в одном из углов, положил там свой узел и сел на него, с напряженным вниманием прислушиваясь и приглядываясь ко всему. Те десять минут, когда воспитатель орал в комнате, открыли мне многое и мне показалось здесь всё не таким уж страшным, как казалось раньше. Стараясь представиться развязным, я попробовал заговорить с своими соседями. Но говорить со мной никто из них не захотел, а один, косо поглядывая на меня, с усмешкой сказал:

— Вот еще фрайер^б нашелся со своими расспросами. Поживешь, завшивеешь, сам увидишь.

Я еще несколько раз пытался заговорить то с одним, то с другим мальчиком, но всякий раз они меня оглядывали подозрительно и недружелюбно, а иногда и сердито отгоняли, грозясь дать по уху. .

«Почему они меня отталкивают, — думал я. — Ведь между собой они все как-будто дружны. Чем же я от них отличаюсь?»

^б Молодой человек, не принадлежащий к воровскому миру.

А отличался я от них многим. Я был умыт, опрятно одет, одежда моя, хоть и старая, была заштопана, а главное, я был чужд их миру. — «Покажи себя — а там видно будет, можно ли с тобой иметь дело», казалось, говорили мне их взгляды.

Не прошло и недели, как я весь завшивел. Вначале я мучился, постоянно раздевался, вытряхивал одежду, расчесывая себя до крови, потом понемногу привык и перестал обращать внимание. На заводе дед за мной следил и заставлял умываться, здесь же, как и все, я мыться перестал.

На нижнем этаже, рядом с кухней, была комната-умывалка, общая для девочек и мальчиков, с десятком кранов вдоль стены. Под кранами тянулось, вделанное в стену, длинное, железное корыто, ржавое и склизкое, с забитыми бумажками стоком, полное помоев, с плавающими по поверхности плевками и окурками. Пол здесь тоже был в грязи, в лужах, заплыван. Мыться мы обязаны были ежедневно, и каждый день воспитатели при помощи палок, подзатыльников и окриков сгоняли нас сюда. Как правило, какое бы приказание начальство ни отдавало, без ругани, протестов и шума его не встречали. Что бы ни приказывали, каждый считал долгом протестовать. Поэтому, когда нас всех выгоняли умываться, до умывалки доходили далеко не все, большинство разбегалось. А кто доходил, для видимости мочил нос и глаза и убегал назад. Водой в умывалке пользовались главным образом для питья.

В первый же день моего пребывания в детдоме исчез мой узелок. Я стал просить мальчиков, чтобы мне вернули вещи, хотел было даже итти жаловаться. Но меня подняли на смех, а один мальчишка, нацепивший мои штаны и калоши, презрительно сплюнув, проговорил:

— Будешь сэкать⁶ — оплеухи схватишь! Тоже буржуй! Набрал барахла! Что, на себя всё натягивать думаешь?..

Вначале, когда у меня было еще немного сбереженных на заводе денег, я бегал в лавку за хлебом, но скоро деньги

⁶ Ябедничать, доносить.

мои кончились и пришлось довольствоваться казенным пайком: куском хлеба и половником супа.

Под вечер повар обыкновенно обходил комнаты: — «Ша, братва, баландер⁷ прется!» — встречали его насмешливыми криками.

— Чего это он высматривает? — спросил как-то я.

— Известно чего!.. Надо ему знать, сколько воды в баланду впустить. Сколько публики, столько и воды!..

Бывали дни, когда комнаты в детдоме пустели. Дети разбегались, кто на сутки, кто на неделю, а кто и больше. А потом вдруг неожиданно откуда-то наваливало чужого народа столько, что не протолкнешься. Понаедут с разных сторон — одни просто, чтобы переночевать, другие узнать, не лучше ли живет в этом детдоме, новичков наведут, да еще из милиции целую партию задержанных беспризорных пригонят.

В нашем детдоме имени «Третьего Интернационала» (в городе было два детдома) мальчиков и девочек от шести до шестнадцати лет было сто пятьдесят-двести человек. Детдомом заведовал старший воспитатель, по прозвищу «Медведь», рослый, сутуловатый мужчина, с длинным, неподвижным, изрытым оспой лицом. По лицу его никогда нельзя было узнать, что он думает, что чувствует и в каком настроении находится. Его небольшие серые глаза смотрели всегда жестко и безразлично. Одевался он с претензией на шегольство — носил френч, широкие галифе, ярко начищенные сапоги и никогда не расставался с тонкой и гибкой тростью. Кроме него, у мальчиков было еще два воспитателя, а у девочек — воспитательница. В обязанности воспитателей входило следить за порядком, т. е. наблюдать, чтобы дети не ломали коек, которые они обыкновенно пускали на топливо, и не били стекол, которые все давно уже были выбиты. Детям полагалось убирать умывальники и

⁷ Тот кто варит баланду.

уборные, подметать комнаты и двор, ходить в школу и работать в мастерской.

Но не только заставить всё это исполнить, а и уследить за детьми, у воспитателей не было ни возможности, ни охоты. При помощи палок и кулаков воспитатели старались только соблюдать внешний порядок, не заботясь ни о чем другом. Они гоняли нас мыться, чистить двор, работать в мастерских, заставляли убирать двор и комнаты. Но как мы умывались и как выполняли все эти обязанности, их ничуть не интересовало. В этих «воспитателях» мы видели не только совершенно чуждых нам людей, но и враждебно к нам настроенных. От них мы никогда не слышали не только доброго, но просто даже спокойно сказанного слова. Они и били нас и кричали при всяком удобном случае. Вечно рассерженные, озлобленные, никогда ни в чем не проявлявшие ни малейшего понимания, они не считались ни с какими нашими нуждами, ни с холодом, ни с голодом, ни с болезнями. В них мы видели только врагов и старались делать всё им наперекор. Нарочно их не слушаясь, мы не упускали случая выказать им нашу ненависть и презрение.

Приглядываясь к жизни детдома, я стал понимать, почему здесь все сторонились новичков: они были чужими, из того, иного мира. А чтобы стать «своим», здесь надо было «показать себя». С какой завистью я смотрел на ребят, которые, сумев приспособиться, уже принадлежали к этой беспризорной семье! Я уже знал, что беспризорные постарше выходят на «работу», воровать, по одиночке, а остальные держатся вместе: в случае, если один попадетсЯ — другие выручат. Самые младшие шли под руководством старших, обучавших их «ремеслу». Были среди беспризорных-детдомовцев и нищие, неспособные к воровству, по неизворотливости, трусости, но участь их была незавидная. Их презирали, били, могли отнять трудом целого дня собранные копейки или добытый кусок хлеба.

В душе я уже не сомневался в том, что я буду делать, я буду вором.

**
*

Как-то утром я увидел новоприбывшего мальчика, лет одиннадцати, черномазого, в веснушках, с живыми, плутовскими глазами. Он лежал в нашей комнате на койке и курил. По его облику я догадался, что беспризорная жизнь ему давно знакома. И я решил с ним заговорить:

— Слушай, ты шапку мою здесь не видел?

— А что я сторож тебе? Надел кто-нибудь. У нас тут, браток, всё общественное!

Я обрадовался, что он так охотно отвечает.

— Да кто же ее надел? — проговорил я.

— Кто-бы ни надел, твое дело маленькое... без шапки не подохнешь! — Помолчав немного, он добавил: — Ты я вижу еще за барахлом тянешься. А дело не в барахле — руку набивать надо.

— А как это руку набивать?

— Вот делать тебе нечего — возьми молоток да набивай, — засмеялся мальчик, — ты, я вижу, глуп, как пятка!.. Воровать-то ходил?

— Нет...

— Ну, до зимы ты эдак не протянешь! — и он кивнул в сторону неподвижно лежавшего на койке больного новичка: раскинув худые руки, весь в поту, он тяжело дышал.

— Доходит... — равнодушно сказал мальчик, — и с тобой то же будет, коли до зимы опериться не успеешь. — Он присел на койке и тут, заметив на его руке голубую наколку, я узнал в нем того Мишку, которого я встретил два года тому назад, когда меня первый раз привели в детдом.

Я от души обрадовался, что нашел старого знакомого, и напомнил ему о нашей встрече.

— Так ты что же, всё таким же ослом остался? — с удивлением спросил меня Мишка.

Я рассказал ему обо всем, что произошло со мной за эти два года.

— Опять, черти, выкинули... ничего!.. всех нас всё равно

не переморят... Мы еще дадим им жизни!.. — зло усмехнулся Мишка.

Не спеша, он слез с койки и стал натягивать на себя странного вида женскую рубашку с кружевами, широченные штаны с протертым задом и совершенно рваные опорки.

— Ну что, будешь сидеть или со мной пойдешь?.. — посмотрел он на меня. — Говорю, на казенных долго не проживешь... пошли... Может, пригодишься...

**

*

Было это в августе; раннее утро, солнце начинало уже припекать. По пыльным улицам я быстро шагал за Мишкой и мне радостно было от мысли, что становлюсь таким же, как другие. Всякая опасность даже привлекала меня, мне хотелось скорее показать себя перед товарищем.

Заложив руки в карманы, Мишка шел не торопясь и посвистывая. Он быстрым взглядом окидывал прохожих и товары в лавках, мимоходом покосился на стоявшего на углу милиционера. Казалось, ничто не ускользало от его глаз. Мне очень хотелось походить на него, но, к сожалению, карманы дедовских штанов приходились мне по самые подмышки и рук засунуть туда я при всем желании не мог. Зато я всеми силами старался так же бойко посвистывать и так же деловито поглядывать по сторонам. Так мы дошли до центра города. Здесь было шумно илюдно; у главного кооператива толпилась большая очередь.

Осмотревшись, Мишка поманил меня за собой в боковую, безлюдную улочку и здесь мы остановились у ворот заднего двора кооператива.

— Ты, Колька, стой здесь на вассере⁸... увидишь кого — свисти... когда кликну, беги ко мне... — скороговоркой проговорил Мишка и скрылся в воротах.

⁸ Стоять на вассере — караулить.

Через несколько минут я услышал со двора тихий свист и шагнул в калитку. Я попал в заваленный бочками и пустыми ящиками большой двор. В дальнем углу лежали сложенные аккуратно рядами бутылки. Мишка поспешно складывал их в ящик. Увидя меня, он улыбнулся:

— Берись, потащим... — шепнул он.

Осторожно пробираясь между бочками, чтобы не быть замеченными из окон, мы понесли ящик к выходу и спокойно пошли по улице. Войдя в кооператив, Мишка с деловым видом сказал приказчику, что мы принесли пятнадцать пустых бутылок; пересчитав их, приказчик выплатил нам семь рублей с половиной. Мы вышли из магазина.

— Ну что, видал? — улыбаясь, проговорил Мишка и хлопнул меня по плечу.

Такой оборот дела мне очень понравился.

— Зачем же ты так мало бутылок набрал? Пошли!.. возьмем еще, — заволновался я.

— Какой красивый!.. чтоб попухнуть?⁹ Думаешь, там дураки сидят! Колганом¹⁰ шевелить надо... Будешь со мной — научишься! А теперь коль деньги есть, и пожрать не плохо!

На эти деньги мы купили немного хлеба и колбасы и, тут же всё съев, пошли к Тереку. Спустившись по тенистым аллеям, мы разделись на берегу и влезли в воду. Тщательно выполоскав свою одежду, чтобы перетопить в ней вшей, мы с наслаждением пробарахтались в воде до вечера.

Ни мне, ни Мишке итти ночевать в детдом не хотелось. Немного побродив по городу, мы зашли во двор какой-то столярной мастерской и завалились спать в ящик со стружками. Тесно прижавшись к Мишке, я быстро уснул.

⁹ Попасться.

¹⁰ Колган — голова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Первое дело

«Но есть на этой
 Горестной земле,
 Что всеми добрыми
 И злыми позабыты —
 Мальчишки, лет семи-восьми
 Снуют средь штатов без призора.
 Бестельными, корявыми костями
 Они нам знак тяжелого укора...»
 С. Есенин. «Русь беспризорная».

Мишка учил меня тайнам воровского «ремесла».

Как-то раз мы пошли с ним на базар. На большой базарной площади толпилось множество пестрого народа. Тут были русские, армяне, грузины, чеченцы, ингуши, всюду мелькали бараньи шапки, серые башлыки, черкески, у многих висели на поясах кинжалы в ножнах, отделанные серебром. Все толкались, торговались, кричали, — на базаре стоял веселый, разногласый гул. Торговцев было очень много, но товаров у каждого очень мало: у одного две-три курицы, у другого десятков-два яиц, у третьего несколько кружков козьего сыра, у четвертого корзины две с овощами или фруктами. В густой толпе сновали продавцы вареной кукурузы в ведрах, газированной воды на передвижных лотках и горячих пирожков с картошкой.

— Тут, браток, надо осторожно, — говорил мне Мишка. — Чур не зевать, за гнилую капусту голову оторвут.

В этой толпе Мишка плавал, как рыба; он шнырял между возами, подлезал на карачках под лотки и, то и дело, что-то запикивал в карманы и за пазуху. Не желая ударить лицом в грязь, я тоже решил действовать. Но чужие карманы, куда я несмело раза два запустил руку, к моему огорчению оказались пустыми. Отыскав Мишку в толпе, я рассказал ему о неудаче.

— А ты думаешь, деньги в карманах носят? — усмехнув-

шись, проговорил он. — Бабы и те под юбками да в чулках гроши прячут. Ты лучше смотри, кабы бочата¹¹ у кого насунуть¹² или жратухи кусок обломить¹³, — говорил он, бегая глазами по сторонам.

После двух неудачных попыток вытащить часы у шатавшихся по базару обывателей, я наконец облюбовал одного ингуша, перед которым лежало несколько зарезанных кур. Ингуш был занят пересчитыванием денег, и я, незаметно подкравшись сзади, потянул крайнюю курицу. Но в тот момент, когда я уже собирался бежать с курицей, сильная рука схватила меня за шиворот. Выкрикивая какие-то непонятные слова, ингуш вырвал у меня курицу, сорвал с меня штаны, зажал мою голову между ног и вытянув большой кинжал, стал бить меня плашмя, ругаясь на своем наречии. Несмотря на мои неистовые вопли, никто не вступался, считая мою кару вполне заслуженной. Удары сыпались градом и неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы, увидав случившееся, Мишка пронзительно не засвистал. На этот свист, в мгновение ока с разных концов базара сбежалось несколько парней и, налетев на ингуша, сбили его с ног, отняли кинжал и начали избивать.

Не теряя времени я, несмотря на боль, пустился бежать, что было мочи.

Позднее я узнал, что среди беспризорных, ставших урками¹⁴, были старшие, «паханы», лет семнадцати восемнадцати, — и к их числу принадлежали и мои заступники. «Паханы» сами не занимались мелкими кражами, они только высылали «на работу» маленьких, которых опекали.

Обычно не отличаясь своей одеждой от всех остальных граждан, такой пахан разгуливал в толпе на базаре и, опытным глазом сразу определяя все представляющиеся возможности, высылал гольцов «на работу». Мальчишке было легче пройти

¹¹ Часы.

¹² Стащить.

¹³ Украсть.

¹⁴ Урка — жулик, вор, принадлежащий к блатному миру.

в толпе незамеченным. Пахан же оставался в стороне, наблюдая. В случае удачи, голец делился с ним; если же он попадался и начиналась расправа, то пахан тут же спешил на выручку:

— Не стыдно вам, товарищ, ребенка ни за что бить! С луны что-ль свалились? Не знаете, у нас в Советском Союзе детей бить запрещается!?

— Чего вмешиваетесь? Он ко мне в карман залез...

— Извиняюсь, ничего такого не было! Мальчик вас пихнул, а вы на него с кулаками полезли. Стыдно, товарищ!

Обиженный гражданин негодует. Поднимается шум. Подходит милиционер. «Свидетель» возмущенно жалуется на грубость и дикость нравов. К нему не придерешься, он заступает за молодежь, а его погоревший «ученик» уже далеко. Милиционер очень часто делает гражданину строгий выговор; случается, что может «вклеить» и штраф; а бывает, что при напористом пахане потащит гражданина и в милицию.

Вот почему мирные граждане в большинстве случаев избегали открытых столкновений с беспризорными, зная, что за каждым из них стоят другие и всегда заступятся.

**
*

Проучили наши черта! Будут турки помнить!.. в другой раз не захватят!.. — догнав меня и переводя дух после быстрого бега, говорил Мишка.

Мы уселись в тень возле заброшенного сада. Я с завистью смотрел, как Мишка доставал из карманов часы, бумажник, жестяную коробку, клетчатый платок, бутылку с какой-то жидкостью и, наконец, вытащил из-за пазухи кусок сыра и колбасу. У меня, кроме перочинного ножа, ничего не было, и я с грустью думал, что Мишка теперь меня бросит из-за того, что я так опозорился на базаре.

Между тем, разложив свою добычу, Мишка с довольным видом принялся ее разглядывать. Увы, в бумажнике, кроме паспорта, штрафной квитанции и справки о болезни ничего не оказалось. В кошельке было всего несколько копеек, а жестя-

ная коробка была пуста. Отхлебнув из бутылки, Мишка чертыхаясь и отплеываясь, отшвырнул ее в сторону — вместо предполагаемой водки, в ней оказалось какое-то лекарство. Но зато содержимое клетчатого платка превзошло все его ожидания; в нем нашлось около тридцати рублей. Мишка просиял.

— Чего нос повесил? Думаешь, мне сначала тоже не попадало! Так с первого дня всё к тебе в карманы и поплывет!.. Пошли в духан глотку залить. Мне эта микстура всю пасть растравила.

По дороге в духан Мишка бросил содержимое бумажника в почтовый ящик, пояснив, что так полагается поступать с украденными бумагами:

— Чего лишние хлопоты человеку доставлять!

Он был очень весел, подпевал, шутил, я же, продолжая тяжело переживать случившееся на базаре, прихрамывая, плелся за ним.

Подойдя к духану, помещавшемуся в подвальчике, мы спустились туда и уселись за стол. Развалившись на стуле, Мишка, заказал водки и жареной баранины. Держал он себя не без важности. Но после нескольких выпитых стопок водки мишкино настроение резко изменилось. Он нахмурился, умолк и мрачно глядя перед собой, курил папиросу. Я всё ерзал на стуле. От побоев мне было очень не по себе: всё тело болело и как я ни крепился, скрыть от Мишки мои муки не удавалось.

— Что, брат, поломали кости! Жизнь наша такая, — проговорил он, дружески хлопнув меня по плечу. — Это только ягодки, еще не то будет!.. Нам, браток, всё равно пропадать... не сегодня так завтра. Где сорвешься, там и конец... и никто не узнает... — понизил он голос. — Учиться надо... тут всё дело в ловкости да в смекалке; не сопрешь — не проживешь... Ты не смотри, что гроши летом легко даются, зимой не то будет. Увидишь, сколько наших попередохнет... — и он криво усмехнулся. — Такая уж доля вышла... — Мишка налил себе еще водки, выпил и, подперев голову кулаком, уставился на бутылку.

— У меня, знаешь, тоже родители были. Отец специали-

стом механиком работал. Напился как-то, — мать рассказывала — и давай о старом времени вспоминать. Донесли... Ночью черный ворон приехал... Забрали его, как сейчас помню... Мать, правда, не тронули, таскали на допросы, а всё же оставили. Она на строительство кирпичи таскать пошла, жить надо было. Ну и надорвалась... померла. Восемь лет мне тогда было... В детдом и попал. За три года где только не побывал. Навидался видов!.. В Ленинграде был, в Одессе, в Киеве, в Москве, в Ростове... Всё равно деваться некуда. Сядешь на буфер, заберешься в собачий ящик иль на крышу вагона и по-е-е-хал!.. — Он махнул рукой. — Иной раз находу с поезда прыгать случилось. Много наших так вдоль дорог дохло. Начнешь пассажиров чистить, заметит лягавый¹⁵, другого выхода нет. Первый раз ушибся, а потом ничего — товарищи показали, как падать надо... В каталашках тоже сидел. Изобьют, сволочи, да обратно в детдом отошлют... Ну, пошли спать, — оборвал Мишка.

Мы вышли на улицу. Веселая кучка опрятно одетых детей с криком и хохотом пробежала мимо нас и скрылась в соселнем доме. Мы с невольной завистью проводили их глазами.

— Доиграются до веселой жизни, — злобно пробормотал Мишка и быстро зашагал по улице. Я едва поспевал за ним. Мне никогда не приходилось пить так много водки и на свежем воздухе я совсем опьянел. Я жалел себя, Мишку, мне хотелось плакать и кому-то мстить.

Не помню, как мы добрались до городского сада. Лежа с Мишкой на траве, я видел высоко над городом темные очертания горных хребтов.

— Вырастем, в горы уйдем!.. — шепнул я Мишке, но он уже крепко спал.

¹⁵ Милиционер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Беспризорные будни

«Гоп со смыком, это буду я!...
Приветствуйте меня, мои друзья!
Ремесло я выбрал кражу...»

Из воровской песни.

«Украду, всё равно украду. И теперь уж меня не поймают, всё равно не дамся», — твердил я после первого дела. При воспоминании, как бил меня ингуш, злоба накупала у меня. — «Красть теперь буду осторожнее, но добьюсь своего, — твердил я. — И бояться нечего, я не один. У меня Мишка; меня отстояли на базаре, потому что я уже «их», я теперь вор!» И я понимал, почему так хорошо быть вором и почему хороший вор всегда в почете у товарищей. Вор всегда рискует, он всегда в опасности и быть вором значит быть свободным и ни от кого независимым. Я не нищий, не унижаюсь, не «прошу». Пусть меня избили, Мишку тоже били, хуже бы было, если б я испугался, не посмеяв протянуть руку, чтобы схватить эту курицу.

После первого дела я уже почувствовал, что непризорные — одно, а весь остальной мир — другое, и что вне непризорного мира им всё враждебно.

Со временем, мне многое стало понятным в моих товарищах, непризорных: их угрюмость, ожесточение, ненависть, подозрительность, неприязнь ко всему постороннему. Но тогда впервые я почувствовал бесконечную пропасть между непризорными и всеми людьми не жившими нашей жизнью. Мне стало ясно, что непризорные это мои друзья, моя семья, что я должен крепко за них держаться, иначе я пропаду.

В детдом мы с Мишкой не показывались, проводя целые дни на Тереке. Тут собиралась наша непризорная шатия. Знакомились, играли в карты, купались и, развесив сушить свое барахло, грелись на солнце.

Когда наши деньги пришли к концу, Мишка решил продать часы и мы отправились на толкучку, где можно было купить и продать всё что угодно, начиная с английской булавки и кончая старым грамофоном. Толкучка была на той же площади, что и базар, и частично сливалась с ним. Лотков там никаких не было, а просто толкалась куча покупателей и продавцов со всяким барахлом в руках. Тут же шатались пьяницы, выпрашивая пятаки на водку. Больше всего торговали тут поношенной одеждой; кто придет со стоптанными башмаками, кто с протертым, перекрашенным пиджаком, кто с штопаными носками или штанами. Из-под полы, с оглядкой, по дешевке сплавлялось тут и краденое или втридорога перепродавались новые вещи, только что купленные в магазине. В магазинах вещи стоили дешевле, но надо было стоять день или ночь в очереди, да и достать их там было трудно, товар бывал редко.

На толкучке Мишка без труда нашел на часы покупателя. Стоя в стороне, я наблюдал, как он торгуется и как Мишка, отдав покупателю часы в руки, не выпускал, однако, цепочки. Вдруг я увидел, как покупатель внезапно схватил Мишку за шиворот.

— А ну, откуда у тебя эти часы! — закричал он.

Я застыл от ужаса, но Мишка рванулся и оставив ворот своей рубахи в руках переодетого милиционера, бросился бежать. Милиционер пронзительно засвистел. Поднялась суматоха. Подбежавшие милиционеры, расталкивая толпу, метались по толкучке разыскивая Мишку, но его и след простыл.

Нашел я его через некоторое время в маленьком переулке, недалеко от толкучки. Весь красный, с взъерошенными волосами, он бросился мне навстречу, осыпая проклятьями лягавых, жизнь и тот день, когда он родился. Я даже не пытался его успокоить и ждал, когда весь запас его ругательств истощится.

— Ну, брат, и житуха¹⁶ пришла... даже корки не сопрешь без того, чтобы не зашухариться¹⁷...

¹⁶ Плохая жизнь.

¹⁷ Попасть в просак.

— Что ж делать-то?.. В детдом что ли пойти? — проговорил я.

— Да ну тебя, рехнулся! В детдом, на голодное брюхо!.. Погоди, я уж надумал... Я дом один знаю, там пузачи¹⁸ живут... В одной квартире там всегда окна открыты, даже по вечерам не закрывают. Можно попробовать... только до темноты подождать надо.

В ожидании вечера мы бродили по улицам. День был пасмурный, накрапывал дождь. Несколько раз мы пробовали заходить в лавки, в надежде чем-нибудь поживиться, но ничего не удавалось. Наше появление сразу привлекало всеобщее внимание и торговцев и клиентов, до того мы были оборваны и грязны.

Когда стемнело, мы отправились к намеченному Мишкой дому. Я был очень взволнован тем, что нам надо будет забраться в чужую квартиру, да еще в присутствии хозяев. Но мишкин спокойный и самоуверенный вид меня подбадривал.

Мы подошли к двухэтажному дому, окна которого действительно были открыты настежь на улицу. Я почувствовал, что из кухни запахло жареным и мне еще больше захотелось есть.

Мишка подтянул драные штаны, крепче затянул пояс и осмотрелся кругом. На улице никого не было.

— Подсади... — шепнул он, хватываясь за подоконник.

Поднатужившись, я помог ему влезть в окно. Мишка в свою очередь протянул мне руку и вскарабкавшись вслед за ним, я свесив ноги, уселся на подоконнике. Поглядывая на улицу, я одновременно прислушивался к каждому шороху в доме, готовясь прыгнуть при первой тревоге.

В соседней комнате кто-то наигрывал на рояле, и было слышно, как женский голос тихо напевал. В это мгновение я почувствовал ненависть к этой поющей женщине и ко всем тем, кто, как она, жили в сытости, тепле и довольстве, тогда как мы с Мишкой — мокрые, голодные, бездомные — рыщем по городу в поисках куска хлеба.

¹⁸ Богатые люди.

Осторожно ступая на цыпочках, Мишка шарил по комнате. Он уже успел сунуть мне в руки башмаки и какую-то одежду и тихонько приоткрывал шкаф, когда на нечаянно задетом им соседнем столике задребезжала посуда. Игра на рояле прекратилась и женский голос спросил:

— Володя, это ты?

— Что? — послышался мужской голос из другой комнаты.

— Кто же это там? — и мы услышали поспешно приближающиеся шаги.

— Текай! — крикнул Мишка, прыгая на подоконник. Но я уже был внизу.

— Воры! — раздался за нами отчаянный крик, но мы уже вихрем неслись по улице.

— Кричи, дура! Зови Володю. Пушай новые ботинки покупает! — говорил Мишка.

Пробежав несколько кварталов, мы остановились у фонаря, чтобы перевести дух, и принялись рассматривать нашу добычу: женское платье было хорошее, шерстяное, панталоны с кружевами и почти новые кожаные ботинки.

— Вот черт! В шкафу бы поживился... а то только с кровати успел схватить... — деловито разглядывая вещи, говорил Мишка. — Ну ничего, и это загоним! Вот штаны только, пожалуй, себе оставлю... — Как видно, Мишка был охотник до женского белья — ему везло на кружева.

Завернув вещи в сорванный со стены плакат, мы перелезли через забор и забрались спать под навес в чей-то огород.

**
*

Второй день мы почти ничего не ели, кроме фруктов и нескольких корок хлеба. Голод сильно мучил.

Не решаясь итти продавать вещи на толкучку, мы пошли предлагать наш товар прямо на людную улицу. У Мишки уже был опыт в такого рода делах, и он предполагал здесь загнать вещи неплохо.

Наметив какую-то приветливую на вид «дамочку» и изо-

бразив на лице подобие любезной улыбки, Мишка вежливо раскатился к ней:

— Не угодно ли, мамзель, дешевенького товара?

Я в это время стоял в стороне «на вассере», чтобы в случае появления милиционера заблаговременно предупредить Мишку.

«Дамочка» сперва покосилась на Мишку — уж больно не внушал доверия его вид — но, соблазненная дешевизной товара, начала торговаться, предлагая Мишке за обе вещи пятьдесят рублей. Хоть и досадно было отдавать их за эту цену, но Мишка побаивался привлечь к себе внимание и, для вида поморщившись, взял сунутые ему в руку деньги.

Мы тут же отправились на рынок, где можно было достать хлеба и колбасы без карточек. Заплатив за них втридорога, мы сразу закусили. На дворе было холодно; дождь лил пуще прежнего. Промокнув и продрогнув за прошлую ночь, мы уныло пробродили по мокрым улицам и решили пойти переночевать в детдом. Но не нас одних загнала туда непогода. Наша комната была битком набита и в ней стоял такой чад, что мы в первую минуту ничего не могли разобрать. Дымили коптилки, дымила жарко растопленная печка, в которую то и дело подбрасывали куски разломанных скамеек; от развешенной на веревках мокрой одежды шел пар.

На полу, около печки, стояло ведро с вареной картошкой, вокруг шла оживленная дележка. Из разговоров мы узнали, что несколькими ребятам удалось уволочь мешок картошки с товарной станции. Мишка сразу же протолкался к печке и, нахально запустив в ведро руку, подмигнул мне, приглашая последовать его примеру. Я было тоже полез в ведро, но меня тут же одернули:

— Куда лезешь!.. Много вас таких, на готовенькое... Поди сам достань!

— Да ладно уж!.. Чего скрипите?.. Живы будем — сочтемся, — небрежно проговорил Мишка. Я выхватил из ведра несколько картошек. Мы уселись вместе с Мишкой на койке, с аппетитом жуя горячую картошку, а потом, присоединившись к небольшой компании, засели играть в карты.

Всего две-три недели прошло с тех пор, как я ушел с Мишкой из детдома, но теперь, благодаря ему, я здесь не был чужим, а чувствовал себя свободно, уверенно, и главное, совсем не одиноким.

**
*

Несколько дней мы с Мишкой не уходили из детдома, во-первых, потому, что все эти дни шел сильный дождь, а во-вторых — у нас оставались еще деньги и мы по очереди бегали на рынок за хлебом и таранками.

Из-за дождливой погоды в детдоме народу было больше обыкновенного, а так как воспитатели старались всех куда-нибудь разослать, чтоб не шатались зря и не сидели без дела, то шума и возни было больше, чем обычно.

Гоняли нас воспитатели, то набрать во дворе камней и проложить дорожку, то напилить и наколоть дров для кухни, то прибрать уборную и умывалку, то самим умыться, то убрать лестницу и коридор, починить сломанные койки.

Но только что воспитатели, с помощью палок и тумачков выгонят мальчишек из одной комнаты, туда уже лезут другие. Опять начинай всё сначала. Стоит воспитателям всё же заставить партию мальчишек помыть комнаты и какие-то ребята уже валят наверх, вооруженные ведрами, швабрами и метлами, как с грохотом и визгом вниз бегут другие, только что изгнанные из комнат и еще разгоряченные свежим столкновением с воспитателем. Лестница узкая — происходит свалка. Мелькают кулаки, метлы, гремят ведрами, на ноги выливается вода, кто-то с пронзительным криком летит с лестницы вниз головой, где-то хлопает дверь, и воспитатель с дубинкой и проклятьями несется разнимать дерущихся. Но только он разнимет, оказывается, что метла и швабра изломаны, ведра погнуты — надо всё нести чинить в мастерскую, и мытье комнат на неопределенное время откладывается. Такие же сцены происходят и в умывалке, и во дворе, под навесом, где колят дрова, и в мастерских... Воспитатели носятся, кричат, лупят, разнимают, разрываются на части. Но одних погнали на работу, а другие уже успели удрать с ра-

боты. Поймали этих, а уже где-то вблизи заварилась драка. Розняли дерущихся, а в комнатах уже собрался шайтан, — режутся в карты. С криком и скандалом отбирают карты, а тут бежит повар, ругается, что не несут дров на кухню. А дрова, вместо кухни, направляются наверх, в комнаты, для собственных нужд и рассовываются под кроватями.

Тем временем внизу — новый скандал. Оказывается, братию послали утром выгружать уголь для какого-то соседнего учреждения. Братия уголь выгрузила, а потом вздумала кататься вниз в подвал с горы угля. Всё под дождем. Возвращаются черные, в грязи с ног до головы, валят в кухню, требуют горячей воды помыться и тут же рыщут стяпать что-нибудь съестное.

Воспитатели всех гонят в шею. Поднимается гвалт.

— Уголь сгружать посылали? А помыться нельзя! По тебе и грязным ходи! Холодной сам мойся! Сейчас морду смажем! Качай, братва, кухню подпалим!

Пока суть да дело, пока всех выталкивают, — и повар, и воспитатели — все в угле. И кухня в угле, и опять что-то сперли. Невинные и виновные истошно вопят, протестуют, и заваривается новая катавасия.

Только к вечеру всё более или менее утихает. Правда, то здесь, то там вспыхивают еще драки, но это уже пустяки в сравнении с тем, что творилось днем.

Теперь воспитатели ушли и в нашу жизнь больше не вмешиваются. Мы предоставлены, наконец, сами себе и каждый развлекается, как хочет. Кто лежит на койке и грязным сапогом или пальцем выводит что-нибудь на стене, кто, причмокивая, сосет сырую картошку, кто отмачивает сухую горбушку в кружке, кто, подобрав под себя ноги, сидит и, от усердия высунув язык, пытается зашить расползающиеся лохмотья. А кто-нибудь кому-нибудь ни с того, ни с сего отвесит такую оплеуху, что побитый, съезжившись, забьется в угол и глотает слезы. Иной просто лежит, уткнувшись в матрац, точно спит, а потом видишь, плечи начинают вздрагивать, плачет, или свернувшись на бок, куда-то смотрит прямо перед собой, грустно,

уныло, устало. Посмотришь на такое лицо и точно себя самого увидишь. И себя жалко.

А рядом двое хохочут, стягивают друг друга за уши с коек. Кто-то кряхтит от боли — ему накалывают на теле какой-то рисунок или имя. Свое имя накалывали себе многие. Столько имен и кличек менялось в этой жизни, что первое имя, от родителей, часто забывалось. А им очень дорожили, как единственной связью с прошлым, единственным, что напоминало о чем-то навсегда утраченном и светлом.

Кроме игры в карты и в кости, здесь играли еще и в мельницу; это было одно из излюбленных развлечений. Участников в игре бывало только двое, а удовольствие всей комнате. «Мельница» заключалась в том, что какому-нибудь сладко спящему парнишке засовывали между пальцев ног бумажку и поджигали ее. Как только пламя касалось пальцев, спящий, конечно, тотчас же с неистовым воплем просыпался и начинал дрыгать ногами. Из-за этого дрыганья ног игра и называлась мельницей.

Редко, но бывало, что кто-нибудь из мальчишек начинал ныть, жалуясь на судьбу, но он сразу же получал затрещину и замолкал. Иногда кто-нибудь затягивал песню, другой, третий подхватывали и начинала петь вся комната. Пели беспризорные воровские песни, но вообще пели редко, ибо на пение сразу же вбегали воспитатели и начиналась ругань, побои, вся обычная возня. Беспризорные песни нам строжайше запрещалось петь, потому что они считались «контр-революционными» и воспитатели нам всё время твердили, что беспризорничество уже ликвидировано, что никаких беспризорных уже давно нет. Есть только воспитанники государства, о которых советская власть заботится в детдомах.

**
*

Как-то утром вошедший в комнату воспитатель приказал нам собираться в баню. Приказание это было столь неожиданным, что вопреки раз заведенному обычаю встречать все приказания протестом и бранью — мы на этот раз не только не

противились, но даже обрадовались предстоящему развлечению.

Кое-как построившись во дворе, мы, в сопровождении двух воспитателей вышли за ворота, но на улице наши ряды сразу же расстроились и мы все шумной и беспорядочной гурьбой повалили по улице. Прохожие, испуганно озираясь, шарахались от нас в сторону.

— Вон смотри!.. карман держит... Всё равно дырку найдем!..

— Эй, дядя!.. чего вылупился?.. своего не узнал! — раздавались насмешливые крики.

Наше неожиданное появление в бане вызвало небывалое смятение среди посетителей. В предбаннике, где одни раздевались, а другие уже голые, сдав свою одежду старичку-банщику, направлялись в баню, все, завидя нас, как ошпаренные, бросились к прилавку за вещами и стали поспешно одеваться. Но весть о прибытии беспризорных еще более всполошила моющихся в бане, и оттуда донеслись испуганные возгласы, звон падающих тазов и быстрое шлепанье голых ног. Не прошло и минуты, как оторопелые, голые фигуры, некоторые даже еще намыленные, одна за другой стали вылетать из бани в предбанник. Давя и толкая друг друга, все они наперебой совали совершенно растерявшемуся старику-банщику свои номерки, чтобы скорей получить одежду.

— Товарищи!.. Пропустите!.. Больной человек, с ревматизмом...

— К чорту ревматизм!..

— Голубчик, родненький!.. брюки хоть отдай!..

— Куда суешь узел!.. Мой узел!..

— О-о-о-х!.. Задавили!..

— И нашли время эту шпану купать!.. В Тереке бы их перетопить, окаянных... — слышались со всех сторон отчаянные крики на смерть перепуганных за свою одежду граждан.

Но как они ни торопились, мы действовали быстрее. Пока некоторые из нас, сбившись в кучу, загораживали выход, другие с быстротой молнии обчищали их карманы.

Когда же воспитателям, при помощи кулаков и палок, удалось, наконец, навести какой-то порядок, а последние клиенты, проклиная тот час, когда их угораздило выбрать этот день, чтобы пойти помыться, выбрались из бани, наша братва с хорошей поживой была уже далеко от бани.

Оставшиеся в бане разделись и сдавши свои лохмотья старику для дезинфекции, направились в банное помещение, откуда клубами валил пар. Стоявший у дверей банщик наливал каждому в ладонь немного жидкого мыла, которое мы тут же растирали, чтобы оно не растеклось. Посреди бани были каменные скамейки, а на полу в беспорядке валялись брошенные клиентами веники и тазы, в которые набиралась вода для мытья. Но ни того, ни другого на нашу братию не хватало и мы подняли невообразимую возню. В разгаре драки мы окатывали друг друга водой, стегали вениками и когда по окончании положенного часа воспитатель приказал всем выходить, мы вместо того, чтобы вымыться, только размазали на себе грязь.

В предбаннике на полу, сваленные в кучу, валялись наши продезинфицированные лохмотья. Разобраться во всем этом тряпье и найти свое было невозможно. К тому же одни тянули, что получше, а другие хватали первое попавшееся, чтобы только не остаться голым. В этой свалке мне посчастливилось захватить свои дедовские штаны и башмаки. Не получил я только своего пиджака, пришлось удовольствоваться каким-то узеньким, не сходявшимся на труди, с продранными локтями. Рубашки мне вовсе не досталось, но я был рад, что успел схватить дедовские башмаки. Правда, в них я «плавал» так же, как и в штанах, но я обвязывал их вокруг щиколотки бичевкой, чтобы не выскакивали ноги. Впрочем, вскоре я загнал их на толкучке за четыре рубля и, по примеру многих, стал ходить босиком, в ожидании случая, когда подвернется что-нибудь получше.

Когда я вернулся из бани, Мишка был уже в детдоме. Он был в прекрасном настроении. В бане ему подвезло: денег он вытащил немного, но зато приобрел три пары часов: самый редкий и ценный товар.



В начале сентября в городских школах начинались занятия. Как-то рано утром к нам вошел старший воспитатель, «Медведь», и объявил, что отныне мы должны будем ходить в школу. Его заявление было встречено свистом, хохотом и ругательствами, к которым он отнесся, впрочем, вполне спокойно. Помахивая хорошо всем нам знакомой тростью, Медведь вытащил из кармана список и стал выкликать фамилии, проверяя присутствующих. Из зарегистрированных по спискам детдома детей, мало кто оказался налицо, многие были в отлучке, а вместо них за это время успело набраться немало приبلудившихся. Но Медведя и это не удивило. Быстро переписав всех находившихся в комнате, он приказал нам спуститься вниз.

Пойти в школу мне показалось интересным, и я охотно начал одеваться. Но большинство, словно не слыша приказания, как ни в чем не бывало, продолжали лежать на койках. Демонстративно повернувшись спиной к Медведю, Мишка, лежа на койке, что-то недовольно пробурчал по его адресу. Медведь, недолго думая, принялся поднимать тростью лежавших. В других комнатах происходило то же самое. Крики и брань воспитателей смешались с неистовой руганью и воплями поднимающихся из-под палки детей.

В конце концов, воспитателям всё же удалось согнать большинство из нас во двор, где уже собрались девочки. От мальчиков они мало чем отличались; были такими же оборванными, так же ругались, дрались, пили и воровали.

Длинной колонной мы отправились в путь. Бегая взад и вперед, воспитатели подгоняли отстававших. Вскоре мы подошли к большому кирпичному зданию и вошли во двор, где бегало множество школьников. При нашем появлении они прекратили свои игры и с любопытством уставились на нас.

— Ишь, полтинники-то вылупили!.. чего глазеют!..

— По морде бы им съездить!.. — галдели наши, с презрением оглядывая «домашних».

Нас ввели в помещение школы. Медведь и директор стали

нас проверять по списку. Многих, конечно, не доставало, в том числе и Мишки. Одни по дороге успели убежать, другие, уцепившись за трамвай, укатить на буфере в город.

В зависимости от возраста, нас распределили по разным классам. В классе, куда отвели меня с тремя товарищами, никого не было. Была перемена. Но не успели мы войти, как игравшие в коридоре дети, стали вбегать, поспешно пряча оставленные ими на партах вещи.

— Это меня сразу задело.

— Боятся, не верят нам, — сказал я моему приятелю Ваське.

— Ну и поплатятся! Мы им тут дадим жизни!

Вошедший в класс учитель хотел было посадить нас на разные парты, но мы так запротестовали, что он позволил нам сесть всем вместе. Раздав нам по букварю и по тетради, учитель приветливо спросил каждого из нас, умеем ли мы читать и писать. Я немного умел читать; дома няня показывала мне буквы, а позднее я сам научился, читая вывески на улицах. Вывески — это была единственная школа беспризорных. Так у нас почти все беспризорные и обучились читать.

В начале урока, я с любопытством слушал учителя, стараясь понять его объяснения, но вскоре мое внимание было отвлечено детьми, которые то и дело оглядывались на нас, перешептывались между собой и, казалось, были очень встревожены нашим присутствием в классе.

Когда урок кончился, учитель снова подошел к нам и посоветовал пойти во двор познакомиться и поиграть с детьми. Знакомиться с ними у нас не было никакой охоты, они были «чужими», а слово «играть» нам показалось смешным и диким, мы его давно забыли. «Игры» у нас были совсем другие. Однако, во двор пошли.

Была большая перемена, и дети, у которых были деньги, покупали себе еду в буфете, а другие ели принесенные с собою завтраки. У нас же не было ни денег, ни еды, но мы не растерялись и тесно обступили буфет. Пока одни занимали продавца распросами, другие быстро хватали всё, что им попадалось

под руку. Один мальчишка из домашних вздумал было крикнуть:

— Иван Петрович, осторожно!.. у вас булки сзади тянут! — но он тут же получил такую затрещину, что кровь хлынула у него из носа и он разразился диким ревом. Его обступили другие дети и, со страхом и возмущением озираясь на нас, потащили к школе.

— Будут теперь знать, сукины дети! Сытые ходят. Один раз смазал, а крику-то сколько! — проговорил Васька, дожевывая булку.

Вскоре к нам подошел директор и прочел строгую нотацию о том, что в школе воровать и драться нельзя, иначе провинившихся будут наказывать или вовсе исключат из школы. Угрозы его нас только рассмешили.

По окончании уроков я вернулся в детдом. Мишка лежал на своей койке и с аппетитом, громко чавкая, обгладывал вареную кукурузу.

— А, явился! Как это ты там высидел? — с усмешкой спросил он, протягивая мне кукурузу.

— Посмотреть интересно было... Что ж, ходить туда можно, писать там учат... ты-то умеешь? — Мишка оставил вопрос без ответа и презрительно сморщил нос.

— Ну, учись, учись... посмотрим, что из тебя выйдет, — проговорил он, — тоже нашел, что придумать!.. Нет, брат, два дела сразу делать нельзя: или воровать или учиться. А хочешь в школу ходить — ходи! Только с голоду подохнешь. Кто тебя кормить будет... а?.. Вот вырастешь, денег загребешь — ну, тогда дело другое, учись... только хорошего-то она тебе ничего не даст, твоя учеба.

— Почему?.. — неуверенно сказал я.

— Работать захотел?.. — брезгливо вскрикнул Мишка. — Тоже придумал! Да, во-первых, не выживешь, а, во-вторых, если и не околеешь, что она тебе даст, работа? Ишачить хочешь? Гроши получать, пока «шишки» карманы себе набивать будут? А там что-нибудь скажешь, пришьют вредительство и кончено!.. Нет, брат, на честном труде далеко не уедешь! —

Мишка страшно разгорячился. Доводы его показались и мне убедительными, к тому же он был старший, а старших беспризорных младшие у нас беспрекословно слушались. Так уж было положено, слово старшего — закон. Но несмотря на это, я всё-таки про себя решил, хоть раз или два в неделю, а ходить в школу. Может, и пригодится...

**
*

Лето и осень для беспризорных были самой счастливой порой. В это время голодать почти не приходилось. Если даже не везло с кражами, то сады, огороды и пригородные поля были всегда в нашем распоряжении. Правда, в тянувшихся за городом государственных садах разъезжали конные сторожа с винтовками, заряженными дробью и солью. Но с известной осторожностью нам удавалось избегать этих встреч. А в садах были яблоки, груши, в огородах и полях — томаты, огурцы, кукуруза, картошка.

В сентябре 1931-го года стояли ясные, теплые дни. Я по-прежнему не расставался с Мишкой и жизнь наша шла легко и даже весело. Наевшись картошки или кукурузы, набив карманы яблоками и орехами, мы, не думая ни о чем, купались в Тереке, шатались по городу, из рогаток разбивали стекла и лампочки на фонарях, стреляли камнями из-за угла в милиционеров, гуляли в городском парке, называвшемся Трек. В Треке для нас было много веселых занятий. Там мы ловили в пруду раков, гонялись за важно разгуливавшими по дорожкам павлинами, выдирая у них из хвостов перья, что навлекало на нас преследование со стороны сторожей, вооруженных дубинками; рвали с клумб цветы, которые потом продавали в городе на проспекте. А в праздничные дни, когда в Треке бывали танцы или когда туда приезжал цирк, там бывало особенно весело и интересно и к тому же всегда было удобно полазить по карманам.

Иногда мы забавлялись тем, что на улице, вечером, в темноте, привязывали ниточку к кошельку и клали его в световой

круг под фонарь, а сами прятались в подворотне, где держали конец ниточки. Из кошелька обязательно торчал уголок рублевой бумажки. Притаившись, мы ждали, когда покажется прохожий. Увидя кошелек, он тотчас же нагибался. Но как только его рука почти касалась кошелька, мы дергали невидимую ниточку и кошелек отскакивал. Вдоволь насладившись недоумением прохожего, мы разражались неистовым хохотом, от которого он шархался в сторону и в полном смущении спешил унести ноги.

Порой, забравшись в засаду на деревья сквера, мы окатывали оттуда водой из ведра гуляющие по дорожке парочки. Сквер был близко от детдома. Днем там бывало много публики, но по вечерам редко кто решался туда заходить; забредет какая-нибудь влюбленная парочка или чуть не бегом пронесется какая-нибудь смелая личность, желая сократить дорогу. Вечером в сквере всегда дежурили наши и как влюбленных, так и смелых личностей обчищали неумолимо. «Даже у входа в сквер нами обыкновенно вывешивался плакат: «Днем ваше — ночью наше. После десяти за себя не отвечаем». Этот плакат регулярно сдирался милиционерами, но ночью появлялся снова.

В ночное время в сквер заходили только наши детдомовцы из старших, девочки и мальчики, для особых целей. В детдоме это было труднее, уединяться было негде, хотя иной раз и устраивались где-нибудь на дворе, в сарае или под навесом. Формально воспитатели должны были следить за нравственностью, и девочкам к мальчикам, а мальчикам к девочкам ходить в комнаты запрещалось. Но и это в детдоме нарушалось так же, как и всё остальное. Мальчики сидели у девочек, девочки у мальчиков. Правда, «крутили любовь» только старшие. Среди младших, между мальчиками и девочками была отчаянная вражда, но только в пределах детдома. На улице все мы действовали заодно, взаимно выручая друг друга. В детдоме некоторые девочки постарше брали под свою опеку мальчиков-малышей, лет шести, семи, еще потерянных и несчастных. Девочки не давали их в обиду, подкармливали, утешали, иногда даже штопали, стирали им вещи. И несмотря на то, что у нас было принято ко

всякому проявлению чувства относиться с грубой насмешкой и презрением, над этим никто и никогда не смеялся и не задирал заходивших к своим опекаемым девочек. Эти их заботы имели для нас какое-то особое значение. Малыши, хоть и отчасти, но тоже были «наши». И у всех нас отнятая ласка и забота, оказываемые теперь девочками этим малышам, несла и нам что-то неосознанное, но хорошее. Иных, особенно несчастных малышей, девочки иногда уводили к себе вниз и укладывали спать с собой. Но если это обнаруживалось, воспитательница немедленно изгоняла малыша наверх.

Большинство детдомовских девочек нам ни в чем не уступали. А на некоторых уличная жизнь накладывала даже больше следов, чем на нас. Резкие голоса, грубые ухватки, грязные лохмотья, растрепанные волосы, бледные, испитые, часто уже старческие лица, неряшливость, привычка постоянно ругаться и пускать в ход кулаки — вот каков был облик наших беспризорных девочек. В деле же они были такие же отчаянные и смелые товарищи, как и мы; тут между нами разницы не было.

**
*

С наступлением зимы всем нам приходилось очень туго, но духом мы не падали и боролись с холодом и голодом, как могли.

Мишка продолжал обучать меня «ремеслу». Он показал мне, как у торговки на базаре из под-юбок вытаскивать деньги. Подкравшись к торговке, надо было залезть под ее лоток и выждав момент, когда она была занята разговором или торговлей, осторожно просунуть руку к ней под юбку и бритвой надрезать чулок, выше колена, в том месте, где от спрятанных денег образовывался бугор. Деньги сами сыпались в руку.

Научил меня Мишка, как в трамваях «карманы трусить». На такое дело мы отправлялись обыкновенно партией в несколько человек, чтобы в случае, если кто засыпется, было кому выручать. Отправлялись всегда в начале месяца, когда у людей, только что получивших зарплату, еще бывали деньги;

в конце месяца и соваться не стоило, кроме паспорта да каких-нибудь бумаг ничего не вытащишь.

В часы, когда городские трамваи были настолько переполнены, что люди гроздьями облепляли вагоны, стоя на подножках, мы отправлялись на работу. В первый раз мне показалось, что в такой давке «не поработаешь», но Мишка был другого мнения.

— Тут догола чертей раздеть можно, не заметят.

В трамвае мы обычно протискивались через толпу, осторожно нащупывая у пассажиров бумажники и кошельки. Залезать руками в карманы не полагалось, считалось устарелой техникой. Способ был другой. Мы вставляли под ноготь большого пальца маленький кусочек острой бритвы, лезвие которой чуть выступало наружу. Нашупав у пассажира бумажник во внутреннем кармане, кто-нибудь из нас, будто бы под напором толпы, наваливался и пихал его. Этой минутой надо было воспользоваться, чтобы провести бритвой вдоль по нижнему уровню кармана. От нового толчка с другой стороны бумажник сам собой выскальзывал и оказывался в руках нового владельца. Когда кому-нибудь из пассажиров и случалось это заметить, он обычно помалкивал, не рискуя поднять тревогу, ибо знал, что это грозит весьма тяжелыми последствиями.

Раз в год в детдоме полагалась раздача вещей, но их было так мало, что не хватало и на половину детей; к тому же всё это было старое, изношенное тряпье, мало чем лучше нашего. В магазинах одежду можно было достать только по купонам, а на базаре в свободной продаже она стоила втридорога и мало кому была доступна. Поэтому в детдоме, даже в самую лютую стужу, почти все ходили раздетыми и полубосыми. Чтобы выжить — надо было иметь железное здоровье. Выдерживали лишь самые крепкие и закаленные; каждую зиму многие умирали.

Чтобы добыть одежду, беспризорные прибегали к давно испытанному способу: ночью, на улицах раздевали запоздавших прохожих. Поэтому мирные граждане и опасались поздно выходить на улицу, особенно избегая отдаленных от центра,

пустынных кварталов. При нападении обыватель мог сколько угодно кричать, звать на помощь, всё равно никто бы не откликнулся и все двери и окна остались бы запертыми. На милицию у граждан тоже было мало надежды; уже в сумерки милиционеры избегали выходить из центра города. С ними у беспризорных была жестокая вражда; они преследовали нас днем, а беспризорные травили их ночью и нередко убивали из-за угла.

Ночь принадлежала беспризорным.

Как-то Мишка пригласил меня отправиться в компании, на дело, при участии старших. Я, конечно, с радостью согласился, потому что дело со старшими всегда обещало больше наживы и больше интересного. Ночь была темная, безлунная. Было тихо, снег скрипел под ногами. Мы прошли несколько кварталов и, остановившись недалеко от моста, спрятались в подворотне и стали ждать. Ждали мы не очень долго. После получаса ожидания вдали показалась парочка. Шли они медленно, видно было как мужчина что-то оживленно рассказывает своей даме. Не доходя до нас они остановились у скамейки.

— Валяй, Колька, — шепнул старший, — иди, посмеемся.

Я вышел из подворотни и направился к парочке.

— Товарищ, дай закурить.

Молодой человек, только что обнимавший женщину, испуганно обернулся, но увидя мальчишескую фигуру, успокоился.

— Чего пристал, пошел вон!

— Дай, дядя, закурить!

— Дай ему, чтоб отстал, — проговорила женщина.

— На, бери и убирайся! — торопливо сунул он мне папиросу.

— Ну, а огня?

— Вот прилип! Отстань! — крикнул он.

— А рубль дашь?

— Эт-то еще что? — взбесился молодой человек. — Отвяжись, говорю!

— Давай скорей! — крикнул я. — Думаешь, весело тут на морозе торчать, вас дожидаться!

— Нет, ты видела что-нибудь подобное! Вот наглец! Да ты что!.. — замахнулся он на меня.

Наши только этого и ждали; четыре тени одна за другой вышли из подворотни.

— Это вы что же ребенка, товарищ, обижать собираетесь?

— Вам что же рубля жалко! А ну-ка, давай сюда шубу!

— Товарищи...

— Давай шубу!! — угрожающе наступая, проговорил Тришка и подкольнол молодого человека финкой. — Живей! Скидавай!

Молодой человек понял, что сопротивляться бесполезно; дрожа всем телом, он стал медленно снимать шубу. Тришка рванул ее у него из рук и с удовольствием надел на себя.

— Ну, а теперь пиджак и штаны давай, — сказал другой.

— Товарищи, да в чем же я пойду! — пробормотал молодой человек. — Пожалейте, товарищи! У меня здоровье слабое.

— Скидавай, скидавай, видишь, люди раздетые дожидаются! У нас тоже здоровье слабое. Шевелись! А то подколю! Запасные-то небось дома есть?

После пиджака и штанов, было приказано снять рубашку, башмаки и калоши.

А когда наша жертва была раздета донага, мы приступили к дамочке, и сняв с нее всю одежду, позволили им удалиться. Голая парочка бегом бросилась в разные стороны, мы же, глядя им вслед, покатывались со смеха.

Веселые и довольные, мы вернулись домой. Несмотря на поздний час в верхних комнатах детдома никто не спал. Все были возбуждены. В нашей комнате что-то взволнованно обсуждали.

— Подколоть его надо!

— Довольно терпеть!

— Перо под крыло! Жрать не дают, да еще калечат!

Оказалось, что один мальчик, подобрав ключ к комнате Медведя, влез к нему и стащил белую булку и банку варенья. Узнав по доносу, кто виноват, Медведь жестоко избил укравшего.

— А кто донес? — спросил Мишка.

— Еще не знаем. Семка и Васька ищут.

Семку и Ваську, как старших и самых отчаянных, все слушались и с ними считались. Вскоре, волоча за собой сопротивлявшегося и отчаянно кричавшего мальчика лет двенадцати, Семка и Васька ввалились в комнату.

— Вот она сволочь! — крикнул Семка. — Федька, что в школу ходит, знает его. Он на своих родителей донес. Их арестовали, а этого по головке погладили, в пример всему классу поставили. Бдительность, мол!.. Врагов народа выявляет. От родителей избавился, а сам на бобы сел! Да ну! не ори ты! — схватил он мальчишку за горло. — Что с ним делать будем? — обратился к нам Семка.

— Убить! Смерть доносчику! — закричали все.

— Бей его, ребята!.. — и сильным ударом в спину Васька вытолкнул мальчика на середину комнаты.

Несколько человек схватили его на руки, высоко подняли на воздух и, задрав ему ноги, изо всех сил ударили об пол. Мальчик с глухим стоном упал на спину; тело его задергалось. Кто-то стал бить его ногами...

ГЛАВА ПЯТАЯ

А л е ш к а - П ы ж и П е т р - В о л к

«Как собиралась компания блатная...»

Из блатной песни.

Зима 1932-33 г.г. была страшным временем. В ту пору голодали не только мы, голодало всё население и в городе и в деревне. Коллективизация была в полном разгаре. У крестьян, затоняемых в колхозы, отбирали всё: скот, зерно, сельско-хозяйственный инвентарь. В города совершенно прекратился подвоз продуктов: ни мяса, ни молока, ни хлеба, ни картошки не было.

Многие из наших беспризорных погибли в этом году от голода, от тифа. Больных из детдома куда-то свозили; говорили, что в больницу; но оттуда почти никто никогда не возвращался.

Бесконечные очереди изголодавшихся людей днем и ночью стояли перед пекарнями. Хлеб был уже похож на какую-то вязкую глину, на какое-то месиво из овсяной муки и картошки.

Количество беспризорных беспрестанно возрастало. Но за исключением больных и новичков, все разбегались из детдома в поисках лучшей жизни. Так же решили поступить и мы с Мишкой. Он уже давно говорил, что ему надо съездить в Ростов, повидать корешков¹⁹, а затем махнуть в Крым, поразнюхать не лучше ли там живется. И теперь мы ждали только первых теплых дней, так как путешествовать на крыше вагонов, на буферах или в собачьих ящиках зимой было трудновато. Но вышло так, что я потерял Мишку; его взяли с собой старшие, чтобы провести какое-то сложное «дело» в Прохладном, и оттуда он не вернулся. Мне сказали, что он со своей компанией махнул в Ростов.

Мне было грустно разлучиться с Мишкой; пусто и одиноко было первые дни. Но постоянная борьба и напряжение особенно тосковать не позволяли. К тому же я был уверен, что рано или поздно Мишка вернется. А пока что я решил подыскать себе новых товарищей и вскоре сошелся с двумя мальчиками, Петром и Алешкой.

Петр, по прозвищу Волк, был на четыре года старше меня. Был он сумрачного характера, говорил мало, лишних слов не любил. Лицо у него всегда было сосредоточенное, будто он всё о чем-то думал, черные брови нахмурены, губы сжаты. Для своих тринадцати лет он был высок и хорошо сложен. В детдоме он долго ни с кем не сходилась; его немного чуждались, но уважали. В деле он был хорош, превосходно владел финкой и большая ловкость заменяла ему силу.

Истории его никто не знал; даже в пьяном виде Петр никогда не проговаривался. На заданный мною вопрос: — «Дав-

¹⁹ Корешки — друзья.

но бродяжничаешь?» он ответил неохотно: — «Порядком». И всё.

Алешка-Пыж был полной противоположностью Петру. Веселый, разговорчивый, подвижной блондин, небольшого роста. Говорил он обо всем с жаром, размахивая руками, как ветряная мельница. Лицо у него было круглое с курносим носом, похожим на пуговицу. Плутоватые глазки всегда смеялись — горе, лишения, оскорбления, всё ему было нипочем. Был он хорошим товарищем и все его любили.

Между тем история его была невеселая. Первый раз он попал в детдом год тому назад, девяти лет. У его родителей, зажиточных крестьян, было хорошее хозяйство: земля, две коровы, несколько свиней, лошадь, птица; жили они безбедно, ни в чем не нуждаясь. Когда началась коллективизация, отец не захотел расставаться со своим хозяйством и идти в колхоз. Он долго противился, но приехали вооруженные люди из ГПУ, увели скотину, а его с семьей забрали.

Вместе со своей шестнадцатилетней сестрой Алешка, в день ареста отца, был у тетки в соседнем селе. Вернувшись домой, они нашли хату пустой. Двери настежь, всё перевернуто, ни души. Соседи рассказали им о случившемся. Но принять их к себе, как детей раскулаченных — все боялись. Многие, как рассказывал Алешка, отказывая им в помощи, плакали, что не могут их принять. Но слишком сурово могло быть наказание за проявление жалости к «кулакам». И Алешка вдвоем с сестрой отправились в город, где сестра надеялась найти работу. Добравшись до Киева, они не знали куда деваться, бродили по улицам в поисках пристанища. Вечером к сестре пристал какой-то мужчина и стал зазывать к себе. Она противилась. Ночью Алешка заснул на улице, а когда очнулся, сестры уже не было.

На следующий день Алешка попал в милицию, а оттуда в один из киевских детдомов. Оттуда он бежал и пошел бродяжничать. К нам в детдом он попал недавно. Мы с ним очень подружились и стали неразлучными товарищами.

В эту зиму 1932-33 г.г. «работать» нам становилось всё

трудней и опасней; приходилось как никогда пускать в ход всю нашу хитрость и изворотливость. К этому времени я приобрел охотничий нож и всегда носил его на ремешке в рукаве. Ни один беспризорный без оружия никогда не выходил. Время было такое, что за украденный ломоть хлеба легко можно было лишиться жизни. Голодное население было озлоблено и каждый берег свои последние крохи, как зеницу ока.

Людные когда-то базары совсем опустели. Редкие торговцы выставляли на лотках несколько брюкв, да иногда еще чуреки, испеченные пополам с опилками. Подстрекаемые голодом, мы иногда теряли всякую меру предосторожности, и действовали руководимые отчаянием. За нами охотились, как за бешеными собаками, и мы, действительно, как бешеные собаки, рыскали по городу.

Кто пожалел бы нас, когда мы отнимали у голодных их последний кусок? Нас спасала только наша волчья спаянность. Весь смысл нашей жизни сводился к тому, чтобы добыть ту краюху хлеба, без которой прожить было нельзя.

Сотни беспризорных бродили по улицам нашего города, толпились у вокзала, умирали под заборами. Тем из них, кто из деревни попадал к нам в детдом, жидкая баланда с куском кислого хлеба казалась блаженством по сравнению с травой и корешками, которыми они питались в деревнях и по пути в город. Беспризорные со всех концов России стекались на юг, в надежде найти себе пропитание в нашем, некогда обильном краю. Эти беспризорные «призыва двух последних лет» были, главным образом, крестьянские дети, дети погибших во время коллективизации, раскулаченных, сосланных и умерших от голода крестьян.

Трудно было чем-нибудь прошибить и потрясти воображение беспризорных, но рассказы этих крестьянских детей о размерах страшного бедствия в деревнях не могли не поразить даже нас. Детям, вышедшим из деревень, еще не успевшим свыкнуться с трудностями нашей беспризорной жизни, было не под силу выдержать испытания этих страшных лет и они гибли тысячами.

**
*

Растянувшись в густой траве на берегу Терека, мы с Алешкой поджидали Петра. В это утро мне посчастливилось украсть кошелек, в котором оказалось сто пятьдесят рублей, и мы втроем поспешили на базар достать что-нибудь съестное. Обойдя ряды пустых лотков, мы подошли к одной старой бабе, перед которой на мешке были разложены несколько картошек по десять рублей каждая, кулечек картофельной шелухи за десять рублей, несколько печеных брюкв по пятнадцати рублей штука и один чурек за пятьдесят. Поторговавшись для очистки совести — с первого же слова стало ясно, что она нам ни копейки не уступит — мы купили у нее несколько брюкв и чурек и собирались уже уходить, когда заметили, что Петр куда-то исчез. Побродив немного по соседним улицам, мы отправились к Тереку, поджидать Петра.

— Куда же его черти загнали? Жрать достали, а его нет. Верно что-нибудь пронюхал, плохо только, что один пошел, — неугомонно тараторил Алешка.

Есть нам хотелось страшно, и мы, решив не ждать Петра, разделили наши покупки на три части. Но после гнилой брюквы и чурека, мне только еще больше захотелось есть. Глядя на горные хребты, я мечтал о сытной еде и обдумывал различные способы достать пропитание.

— А ты в горы уже ходил? — спросил я Алешку, который, лежа рядом, досасывал свою брюкву.

— Да, раза два ходил, а тебе зачем?

— А не сходить ли нам в аулы? На базаре всё больше ингуши да осетины торгуют, стало быть, что-то у них там есть.

— Это дело! — Алешка сел на корточки и глаза его заблестели. — Только я далеко не ходил, а в соседние аулы и соваться нечего, там то же, что и у нас в городе — чисто! Вот повыше в горах, дело другое. Стой, Петька повсюду лазил, он

с нами пойдет. Пошли до хазы²⁰. Чего ждать, когда кишка кишке шиш показывает!

Мы оба вскочили и, окрыленные нашим планом, заторопились в детдом.

— А у меня, брат, тоже мысль есть, — не унимался Алешка. — Смотри, вон воробьи. Ведь их жрать можно! Ты смотри какие жирные! Будем, брат, с рогатками сюда за готовым обедом ходить. Здорово?!

Я мечтал о жирных баранах, пасущихся на горных пастбищах, и Алешкины воробьи показались мне жидким блюдом.

В детдоме мы нашли Петра. Бледный, весь забрызганный кровью, он сидел на своей койке, обматывая тряпкой окровавленную руку. Мы кинулись к нему. Оказалось, что, выследив на базаре распродавшего свой товар ингуша, Петр пошел за ним. И когда они оба сели в трамвай, Петр, выждав удобный момент, уже было вытащил у него кошелек, но ингуш сильным ударом кинжала отсек ему палец. Не помня себя от боли, Петр на ходу выбросился на мостовую.

— Здорово оттяпал! — сочувственно говорил Алешка, покачивая головой. — А хватил бы посильнее — и досвиданья чердачки²¹.

Ночью Петр ворочался с боку-на-бок, кряхтел, стонал и ругался. Мне несколько раз хотелось к нему подойти, но я знал, что помочь ему не могу. На утро, когда Петр встал, кровь всё еще продолжала итти из раны. Он очень ослабел и еле держался на ногах.

— Ты бы к доктору сходил, настоящую перевязку сделать, а то совсем кровью истечешь, — сказал я ему.

Совет подействовал. В течение нескольких дней Петр ходил в городскую больницу на перевязку и рана его начала заживать.

Мы с нетерпением ждали выздоровления Петра, ибо без него итти в горы не решались. И когда Петр выздоровел, мы на рассвете отправились в путь.

²⁰ Домой.

²¹ Чердачек — карман.

Несмотря на сравнительную близость к городу, в Ингушетии, как называлась местность, куда мы шли, можно было «поработать». Но туда вообще мало кто отваживался заходить. Горная лесистая местность легко позволяла устроить здесь засаду, совершить ограбление, убийство, а затем быстро и свободно скрыться. Иногда ингуши делали ночные набеги на окраины города, грабили и поджигали магазины, склады, частные дома и убивали жителей. Они отчаянно сопротивлялись коллективизации. Хорошо вооруженные, из засады они нападали даже на отряды ГПУ, посылаемые для насильственной организации колхозов. А в случае подавляющей силы противника, угоняли скот в горы и скрывались там до поры до времени. Такое же сопротивление оказывали и другие племена горцев в нашем краю, везде, где это позволяла местность.

Мы уже шли около трех часов, когда за крутым поворотом перед нами, среди холмов в небольшой низине, показался поселок, расположенный по обе стороны горной речки, у самого леса.

— Наконец! — завизжал Алешка, — и здоровый какой! Тут нам раздолье будет!

— Будешь орать, ингуши нам глотки порежут, — одернул его Петр.

Алешка тотчас притих. Пройдя еще немного, мы забрались на небольшой пригорок и принялись разглядывать поселок. Он казался пустынным. Не видно было ни души. Все мужчины большей частью уходили днем в горы, где прятали скот и награбленное имущество, да и сами скрывались от рыскающих повсюду отрядов ГПУ. В селах оставались только женщины и дети. Но и их не было видно. Очевидно, полуденный зной загнал всех жителей в сакли.

С финками в руках, чтобы в любой момент быть готовыми к защите, мы тихо спустились с пригорка и вошли в поселок. Пройдя мимо нескольких дворов, мы услышали обрадовавший нас задорный крик петуха и веселое кряканье уток.

Недолго думая, мы перемахнули через плетень и очутились на узком дворе, где лениво бродила домашняя птица. Завидя

нас, куры с пронзительным кудахтаньем разлетелись в разные стороны. Но не успели утки, взволнованно подергивая хвостиками, проковылять и двух шагов, как оказались в наших мешках со свернутыми шеями.

На каждого из нас пришлось по две утки, а Алешка успел еще проворно подобрать несколько лежавших на соломе яиц. Мешкать было опасно и вновь перескочив через плетень, мы побежали обратно. Но неожиданно, из-за угла сакли, с криками выбежали несколько ингушей-подростков лет пятнадцати-шестнадцати и бросились к дороге. Было ясно, что они хотят перерезать нам путь у моста, через реку. Отступить было немислимо и крепко держа нашу добычу в одной руке, с финжкой в другой мы рванулись вперед. Ингуши с криками бежали наперерез. Нам удалось проскочить и мы, что было духу, помчались по дороге. Ингуши с дикими криками «Халла!» понеслись за нами. Стремительно спускаясь по извивающейся тропинке, мы вдруг заметили, что попали не на ту дорогу, которая должна была привести нас к мосту. У нас оставалось два выхода: либо обманув погоню, вернуться обратно к мосту, либо, добежав до поворота реки, броситься вплавь. Петр пошел на уловку и завернув за крутой поворот, нырнул в придорожный кустарник. Мы мигом последовали за ним. Он надеялся пропустить врагов и вернуться обратно.

Ингуши уже выбегали из-за поворота.

— Драпай — не выдержал Алешка и мы сорвались с места почти что у них под ногами. До реки оставалось шагов пятьдесят. Подбегая к берегу, Петр ловкими ударами отбивался от двух настигавших его ингушей. Алешка и я, не выпуская наши мешки с утками, очертя голову бросились с крутого берега в реку. Вырвавшись из рук вцепившихся в него ингушей, Петр прыгнул за нами, но, увы, мешок его достался врагам.

Сильное течение быстро несло нас, перебрасывая с волны на волну. Головы Алешки и Петра мелькали недалеко от меня в пенящейся быстрине. Когда нас отнесло далеко вниз по течению и всякая опасность преследования миновала, мы с наши-

ми утками вылезли на берег. А через несколько часов были уже в городе.

В городе, Алешка вдруг остановил на улице хорошо одетого прохожего и к нашему удивлению предложил ему купить утку за сто пятьдесят рублей. Прохожий, никак не ожидавший такого везения, с радостью согласился, но у него нашлось всего сто рублей. Не торгуясь, Алешка отдал ему утку за сто. Но когда счастливый обладатель утки, торопливо заспешил дальше, Алешка подмигнул нам. Мы сразу его поняли и, нагнав удалявшегося гражданина, Петр, словно нечаянно, сильно толкнул его сзади. Гражданин потерял равновесие, споткнулся; в это мгновение я выбил у него утку из рук и, не дав ему опомниться, мы мигом разбежались в разные стороны. Алешка торжествовал.

Вернувшись в детдом, мы застали у нас в комнате трех голодных приятелей, понуро сидевших на койках. Наше появление и торжествующий вид Алешки, с утками в руках, привели их в неопикуемый восторг. Мясо считалось небывалой роскошью. Собравшись вокруг печки, мы занялись приготовлениями к пиру. На деньги, вырученные от «продажи» утки, купили водки, продукт, в котором в нашем городе никогда недостатка не бывало.

— Готово! — сказал Петр, вытаскивая из ведра и разрезая первую утку. — Тащи сюда водку! А ты куда лезешь? — резко обратился он к мальчишке из новичков, подсевшему, было, к нам. — Проваливай!

Я вспомнил свои первые дни в детдоме и мне стало жаль новичка.

— Оставь его, всё равно.

— Чего оставь? — и Петр, нахмурия брови, сурово посмотрел на мальчишка. — Голова на плечах есть, ноги ходят, валяй сам работать! Тебе тут не колхоз!

И мы принялись за утку.



Как-то раз мы тщетно пробродили по улицам весь день до вечера. К магазинам нельзя было и подступиться; в огромных очередях, по несколько сот человек, в стужу и мятель, люди сутками простаивали в ожидании хоть какой-нибудь возможной выдачи. Мы было пробовали соваться в магазины, но ругательства и удары сыпались на нас со всех сторон.

Даже все наши поиски по мусорным ящикам оказались бесплодными. Ни кочерыжек, ни картофельной шелухи, которую еще несколько месяцев тому назад можно было в них найти, теперь уже не было. Последней надеждой оставалась церковь, куда мы отправлялись, когда уже нигде ничего достать не могли. Церковь была недалеко от детдома. Впоследствии ее закрыли, сделав из нее овсяной склад, но тогда в ней еще шли службы, во время которых она всегда была полна народа. После служб, в церкви можно было найти свечные огарки. Вот за ними-то мы туда и лазили. Огарки были мягкие, их можно было жевать. Они даже имели какой-то отдаленный вкус жира и, жуя их, у нас создавалось впечатление, что будто что-то ешь. А случалось иногда, что так зажуешься, что и проглотишь кусок огарка.

В этот день, промерзшие и замученные, мы, еле волоча ноги, вернулись в детдом, дожевывая огарки. В комнате было так холодно, что тряпье, которым я хотел покрыться на койке, всё промерзло. Вскоре мы бросили детдом и возвращались туда очень редко. Мы выкопали себе на окраине города норы в навозных кучах и там спали. На детдомовский паек рассчитывать мы не могли — выдавалась всё та же жидкая баланда без хлеба. Деньги уже не имели почти никакой цены; большинство магазинов позакрывалось. И единственным местом в городе, где можно было достать решительно всё, был только «Торгсин». В противоположность закрытым распределителям — магазинам специально предназначенным для партийцев, в которых всё имелось в изобилии, по самым дешевым ценам — «Торгсин» был открыт для всех, но товары в нем продавались только на

золото и на драгоценности. Изголодавшиеся люди несли в «Торгсин» свои последние ценные вещи, вплоть до нательных крестов и обручальных колец, чтобы получить взамен хоть немного хлеба, крупы и жиров. Общее положение в городе ухудшалось еще тем, что умирающие с голода крестьяне бросали свои деревни и с отчаяния шли в города. По улицам Орджоникидзе бродили толпы таких крестьян, стариков, женщин, детей, прося милостыню. Но и здесь помощи искать им было негде и изможденные, голодные они падали, замерзали и умирали на улицах. Мертвецов подбирали, свозили на кладбище, сваливая в общие могилы. Каждый день по городу ездили особые телеги, груженные этими подобранными трупами. Все в городе знали о случаях людоедства; люди рассказывали о продаже человеческого мяса. Отовсюду стекавшиеся в наш город беспризорные говорили, что и в других городах такой же голод, в особенности на Украине, откуда и наводняли наш город толпы голодных крестьян.

**
*

— Эй, Сонька, куда шкандыбаешь? — окликнул Петр девочку лет пятнадцати из нашего детдома, проходившую мимо нас по улице.

Из-под нависшего на лоб рваного платка, окутывавшего ее голову, на нас глядели впалые, тоскливые, воспаленные глаза.

— Иду, куда глаза глядят, — хмуро ответила она, — воровать иду. Пускай убьют... Подохну, а продавать себя лягавым за кусок хлеба не стану.

— Чего ж ты одна идешь? Подружки где?

— Чорт их знает где! Разбрелись. Одни чертям продались, другие подошли. Остались мы с Катькой, да она не выдержала, пошла торговать собой. Душу из нее всю окаянные вымотали, а жрать ничего не дали. Вот она и лежит теперь, глаз не открывает, распухла вся... в бреду всё мать поминает.

— А в детдоме сейчас как? — спросил я. — Жрать дают?

— Редко... Остались там только те, кого ноги уж больше не носят, да новички. Тиф там... Вот я и сбежала, чтоб не загнуться²². Катьке всё равно ничем не поможешь — не сегодня-завтра помрет.

— Ты, Сонька, не робей, — сказал Петр, — пошли с нами. Квартира у нас теплая, а жрать завтра как-нибудь достанем.

Мы вчетвером с Сонькой поплелись на окраину города, к своим навозным норам. Подойдя к первой навозной куче, мы разгребли снег, но внезапно обнаружили в нашей норе неподвижно лежавшего на спине мужика. Петр толкнул его, но мужик не двинулся, только чуть слышно простонал:

— Оставь... дай помереть...

Схватив мужика за ноги, Петр хотел было вытащить его из норы, но Алешка и я вступились.

— Брось, Петька! Жалко человека.

— Жалко? — передразнил Петр, — а меня жалели? Не для него рыли. Подыхать и в снегу можно. — И Петр снова дернул мужика за ноги. Мужик громко застонал. Петр нахмурился и бросил его ноги. — Чорт с ним. Поищем другую, — нехотя пробормотал он.

Но соседняя нора тоже была занята. На груди у лежавшей в ней мертвой и уже окоченевшей женщины еще шевелился маленький ребенок и тихонько скулил.

— Ничего не напишешь, с падалью спать не охота, — сказал Алешка, — надо новую рыть!

И мы принялись за работу.

— А завтра на кладбище пойдем, — говорил Петр. — Я знаю там старые склепы; выкинем оттуда кости да дохлятину, и будет у нас квартирка первый класс!

Вырыв себе новую нору в навозе, мы залезли туда и улеглись, плотно прижавшись друг к другу. Отверстие скоро занесло снегом, и согревшись в навозе, мы заснули под дикий ветер и вой вьюги.

К утру мятель улеглась. Нам было так тепло и уютно, что

²² Умереть.

не хотелось вылезать. Но голод заставил нас выползти наружу. Мы решили разойтись попытать счастье по одиночке. А Соньке было велено стеречь берлогу и ждать нашего возвращения.

Я на всякий случай прошелся по базару, но там, кроме множества нищих с котомками и нескольких торговцев, продававших жалкую брюкву да картофельную шелуху, ничего не было. Бесплодно пробродив по городу, я направился к месту, где у нас была назначена встреча.

Поджидая Петра и Алешку, я стоял недалеко от пекарни, глядя на длинный, безмолвный хвост растянувшихся по всей улице людей. Худая высокая женщина, с большим караваем черного хлеба под мышкой, вышла из пекарни и пошла по направлению ко мне. «Верно большая семья», — подумал я, глядя на каравай. Бережно завернув его в тряпку, женщина прошла совсем близко от меня. Я, как околдованный, не мог оторвать глаз от этого каравая. И словно кровь бросилась мне в лицо; не помня себя, я кинулся к женщине, вырвал из ее рук каравай и бросился бежать. Неистовый вопль раздался мне вслед. В ушах зазвенел свисток милиционера. Со всех сторон поднялись крики, послышались проклятья, и я понял, что за мной бежит толпа. Что-то больно ударило меня в спину. «Камень!», мелькнуло у меня в голове. «Успеть съесть хлеб, успеть проглотить, пока не догонят!..» Задыхаясь и спотыкаясь в глубоком снегу, я рвал зубами и жадно глотал сырой черный хлеб. Кровь стучала в висках. «Не успею, догоняют!» Кто-то сильно толкнул меня в плечо. Я споткнулся и упал в снег. Посыпались удары. Подбитый железом сапог рассек мне щеку. Кровь струей потекла по лицу. Съежившись и прикрывая рукой голову, я продолжал судорожно глотать куски хлеба, пополам с снегом и кровью.

**
*

Дверь в камеру отворилась. Милиционер оглядел всех заключенных, как-бы кого-то выискивая, и увидав меня, приказал итти за ним.

«Странно, что воспитателя нет», — подумал я, с трудом поднимаясь с пола. — «Верно у входа дьявол ждет. Теперь засадят под замок и труба».

— Шевелись! Долго мне тебя ждать! — крикнул милиционер.

Меня удивило, что за словом «шевелись» не последовало обычного линка. Я покорно пошел по коридору за милиционером, который, доведя меня до выходной двери, толкнул на улицу и приказал убираться вон.

Ошеломленный таким неслыханным оборотом дела, я бросился за угол. «Передумает — сцапает!», думал я. Но за углом я остановился, прислонившись к стене. Голова у меня кружилась, тело нестерпимо болело. Я нащупал на лице закорузлую корку запекшейся крови. Чтобы добраться до навозных куч, надо было смыть кровь. «А то еще остановят», думал я и, захватив снега в ладонь, стал обтирать себе лоб и щеки.

— Что, брат, дали тебе жизни! — услышал я за собой веселый голос Алешки.

Я обернулся. Передо мной стояли оба моих друга.

— А вы как здесь? — удивился я.

— Тебя поджидаем. Ну и украсили они тебе образину. Хорошо еще, что череп не проломили, — сочувственно говорил Алешка.

— Откуда вы знаете, что я тут?

— А ты что думаешь, папаши тебя выпустили? Это Петька всё устроил.

— Ладно, — вмешался Петр, — посыпались, после расскажешь. Сонька дожидает. Ты как? Итти можешь?

— Доползу...

По дороге Алешка мне рассказал о моем освобождении. Оказалось, что он как раз подходил к месту нашего свидания, когда я бросился бежать с хлебом и видел всю сцену моего избияния. Видел, как милиционер поднял меня и, остановив проезжавшую машину, увез с собой. Дождавшись Петра, Алешка рассказал ему о случившемся. Они решили, что меня надо во что бы то ни стало выручить. Сразу же Петр отпра-

вился на квартиру к знакомому пахану²³ с которым он когда-то работал. Пахан был дома и, расспросив обо мне, согласился помочь.

— Ну и вот, — весело говорил Алешка, — пахан прямо в милицию, сказал пару слов лягавому и сразу выпустили. Им от паханов прямая выгода. Лягаши им сведения дают, указывают, что где взять можно, а те им деньгами выплачивают. На то и пахан, чтобы своих людей в милиции иметь.

— Здорово! А? — восторгался Алешка. — Эх, кабы нам только вырасти! Такие дела проворачивать будем! С деньгами и милиция нипочем! За деньги любую курву купить можно! В каждом участке свой человек сидеть будет.



В 1934 году мы с Петром остались вдвоем, Алешку застрелили милиционеры.

Жили мы в то время в пустом склепе на городском кладбище. Нам удалось найти лазейку в склад, где хранилась кукуруза, и утащив оттуда несколько мешков, мы существовали принесенным запасом. Никуда не вылезая из своей берлоги, отъедались, били вшей и блаженствовали.

Как-то, уже в начале весны, я шел по улице вдоль длинной ограды, обвитой плющем. Мимо меня торопились прохожие, шлепая по растаявшему снегу и перепрыгивая через ручьи и лужи. Не зная, куда мне идти, я рассеянно глядел по сторонам. И вдруг меня чем-то привлек угловой кирпичный дом. Чем-то близким и давно знакомым повеяло от него. «Где, когда я его видел?» спрашивал я себя, напрягая память. Все эти годы я старался никогда не думать о прошлом, но теперь, глядя на него, во мне воскресало что-то давно забытое. «Когда, когда же я видел этот дом?.. Да ведь я жил в нем, это мой дом, дом отца!» И волна воспоминаний нахлынула на меня.

Не помня себя от волнения, я бросился к крыльцу, взбежал

²³ Пахан — отец, атаман.

по ступенькам и отворил дверь. Ничего не изменилось: та же широкая, светлая передняя в конце стеклянная дверь в сад, та же лестница с деревянными перилами, тот же ковер, с красным, полинялым узором; только мебели стало меньше. «Как здесь тепло и чисто», подумал я.

В это время из открывшейся двери вышел незнакомый человек, в очках, с бородкой и в высоких сапогах. С недоумением посмотрев на меня, он сердито крикнул:

— Ты что здесь делаешь! Вон отсюда, оборванец! Я тебе покажу, как в чужие дома залезать!

Какая-то неодолимая ненависть к этому чужому человеку охватила меня.

— Это мой дом! — закричал я.

— Вон отсюда! — и крепко схватив меня за шиворот, он открыл дверь и выбросил меня на улицу.

Проезжавший грузовик обдал меня мокрым снегом и грязью. Я медленно побрел вдоль ограды когда-то нашего сада. Что-то неудержимо потянуло меня заглянуть в него. Цепляясь за железную, обвитую плющом решетку, я вскарабкался на каменный столб. И в саду тоже ничто не изменилось. Я сразу узнал яблоню, с корявым стволом и широко раскинутыми ветвями, под которой я когда-то играл. Теперь под ней копошились, одетые в меховые шубки, румяные мальчик и девочка, лет шести и восьми. Они бросали друг в друга снежками. «Шишки²⁴ тут поселились», подумал я, чувствуя, как злоба накапливается на сердце. Вид этих сытых, счастливых, беззаботных детей, был мне невыносим. Нащупав в стене неплотно державшийся кирпич, я стал его отковыривать. Оторвал и, размахнувшись, изо всех сил бросил в мальчика. Кирпич, не долетев, упал рядом с ним. Дети вскрикнули и пустились бежать к дому. А я спрыгнул на мостовую и пошел.

«Чужой дом, чужой сад, всё чужое», бессмысленно повторял я, быстро шагая по улице. Долго и бесцельно бродил я по городу. Наступили уже сумерки. Я устал, продрог и был очень

²⁴ Шишки — привилегированные.

голоден. До места, где у нас была условлена встреча с Петром, было далеко, а я совсем выбился из сил.

«Где бы здесь переспать?» — думал я, осматриваясь кругом. «Ну, плевать, лягу здесь!» решил я, заметив низенькое, темное крыльцо. Свернувшись калачиком, я примостился там у самой двери. Всё мне казалось безразличным, лишь бы не итти дальше. Становилось холодно, озноб пробирал до костей. Город постепенно утихал. Одно за другим потухали освещенные окна. Жители города ложились спать в теплые кровати. Съежившись и подобрав под себя ноги, я следил за медленно встававшей из-за крыш луной. Но вдруг, услышав сзади себя шорох, я обернулся. Рядом со мной стоял костлявый, рыжий пес, с облезлой спиной. Он жалобно и тихо скулил, постукивая хвостом по деревянным ступенькам крыльца. С этим псом мне стало как-то легче.

«Что, брат, жрать хочешь?», погладил я его. «Да как это тебя самого еще не сожрали?», разговаривал я с ним. За последний год собаки и кошки почти совершенно исчезли в городе. «Верно только по ночам вылезаете? А? Собачья наша жизнь с тобой». Пес завилял всем задом и принялся меня обнюхивать. «Ничего у меня нет для тебя, сам голодный сичу». Пса это, повидимому, не удивило. Он лизнул меня в лицо, свернулся и улегся рядом со мной.

Натянув пиджак на уши, я переменял положение, прижался к нему и вскоре мы оба заснули.

Проснулся я от сильного толчка в спину.

— Нашел место, где спать! Пошел!.. — раздался надо мной недовольный голос выходящей из дома женщины.

Я вскочил, как встрепанный, протер глаза и сбежал с крыльца. Пса моего уже не было.

Город просыпался. Люди с серыми и сумрачными лицами торопливо бежали, кто на работу, кто в очереди. Начинался новый, беспросветный, будничныи день, полный для всех гнетущей заботы о куске хлеба.

Н. Воинов.

(Продолжение следует).

Д Е Р Е В Н Я

Памяти моей матери

Русскую деревню и помещичью жизнь мне пришлось узнать в моей молодости довольно поздно, детство же мое было полно самых разнообразных впечатлений от поездок по России. Кроме ежегодных посещений Новгорода, мы с отцом ездили из Петербурга и в Финляндию и в Литву, одно лето провели на Кавказе, а затем целых два года прожили в Кишиневе, откуда ездили в Киев и Одессу. И лишь семнадцатилетним я попал в настоящую русскую усадьбу.

Из Вильны, где я учился в гимназии, я ехал тогда в тамбовскую глушь «знакомиться» с моей матерью. С четырехлетнего возраста я жил с моим отцом и в детстве видел ее редко — у нее давно была своя семейная жизнь. Мать моя тогда уже оставила сцену и поселилась на своем хуторе в Кирсановском уезде. И с тех пор гимназистом, а потом студентом, я стал ездить туда каждое лето. Во время этих путешествий я пересекал почти всю Европейскую Россию с запада на восток и сколько было одних дорожных впечатлений! Особенно они были замечательны во время двукратной поездки по всей Волге от Твери до Саратова, когда я ездил в деревню кружным путем.

Хотя мои детские воспоминания Новгорода были еще совсем живы, но после «европейского» Петербурга и нескольких лет жизни в барочной и католической Вильне я вначале смотрел на русские города и природу вроде как глазами «чужестранца» и, может быть, отчасти благодаря этому, всё в деревне воспринималось так особенно остро и свежо. Впервые очутившись там, я не только пассивно вбирал в себя новые для меня впечатления: в том возрасте я мог уже сравнивать с ви-

денным и начинал в себе чувствовать художника. Острота и свежесть не уменьшались в дальнейшие годы, — в деревне я не засиживался, всегда был только «гостем» и каждый приезд давал мне всегда что-нибудь новое и неожиданное.

**
*

Первый раз я поехал в деревню, только что перейдя в 7-ой класс гимназии — большое событие в моей тогдашней жизни, — и был в особенно бодром и жизнерадостном настроении, вдруг нахлынувшем на меня, и в большом волнении от предстоящей встречи с матерью. Отец посоветовал мне по дороге остановиться в Орле, где жила его двоюродная сестра, которую и он и моя мать знали еще в молодости.

В Орле, совсем как и в Новгороде, на огромной площади пахло сеном и дегтем, под ногами были такие же гигантские булыжники и меня поразил размах этого города: каменные солидные дома, обширные их сады, необыкновенного простора улицы, вдоль которых вольно носились целые тучи пыли.

Моя двоюродная тетка жила в старинном деревянном особняке на одной из окраинных тихих улиц, неподалеку от самого «Дворянского Гнезда», городской усадьбы Лизы Калитиной — предание еще было живо... Дом моей тетки был настоящий «барский», внутри всё было комфортабельно и солидно — темные, тяжелые портьеры, старомодная мебель, особенно блестящий паркет, повсюду растения и цветы — от всего веяло домовитой налаженной жизнью и уютом.

Ольга Григорьевна была хороша в свои 45 лет (года, считавшиеся тогда «пожилыми!»); в чертах ее было что-то цыганское, говорила баском и решительно; у нее были такие же горящие глаза, как и в молодости (я судил по ее старой фотографии у моего отца). Она уже седела и, как полагалось тогда дамам солидного возраста, носила на волосах черную кружевную косынку. Конечно, передо мной была настоящая тургеневская барыня. Неожиданно было увидеть рядом с ней ее дочь Лину, маленькую, горбатенькую и странно одетую в шелковое

черное шуршащее платье. Но кухня показалась мне умницей и мы водили с ней «серьезные разговоры», прогуливаясь по их большому саду и играя в крокет.

Мне хотелось себя настроить поэтически: романы Тургенева я сравнительно недавно прочел впервые и они были еще мне совсем «осязательны» и я похаживал в мечтательном уединении возле «Лизиной» усадьбы, но, увы, всё там было каким-то новым и блестела только что выкрашенная крыша дома. На старый калитинский сад я мог умиляться лишь издали, видя только верхушки его деревьев — он был окружен глухою стеной.

Время в Орле промелькнуло бесследно: там я больше никогда не был.

**
*

Я ехал всю долгую дорогу в 3-м классе. Удавалось и поспать, вытянувшись на длинной скамейке, пока новый пассажир не усаживался на мои ноги. С тех пор я приучился путешествовать и провести три, даже четыре ночи в вагоне мне ничего не стоило, предаваться же сну я мог в любой позе, и даже чем более она была неудобна, тем сон слаще.

В вагоне пахло мужиком, смазными сапогами, махоркой и каких только типов не приходилось видеть в 3-м классе, каких разговоров ни наслышаться, а ночью — подымались всевозможные храпы и с присвистом, и с чавканьем, и с воркованьем, и басистые, и дискантовые (особенно отличались толстяки), слышались сонные голоса и чьи-то бесконечные споры, под которые я и засыпал. И в следующие годы я ездил к маме почти всегда в 3-м классе и если бы записывал все те вагонные диалоги и словечки, накопился бы материал прелюбопытный.

За все мои поездки по России, как ни странно, у меня не случилось никаких особенных приключений и романтических встреч, но всегда казались загадочными пассажирки, едущие в вагоне 1-го класса или в международном, не обращавшие, увы, никакого внимания на гимназиста, путешествовавшего в зеленом вагоне 3-го класса. Раз только, студентом (я ехал тот раз

во 2-ом классе) всю ночь я проговорил с таинственной бледной и грустной пассажиркой — она лежала на верхней койке, а я внизу; она неожиданно предалась конфиденциям и плакала, а я неловко ее утешал, а потом оказалось, что она дальняя моя родственница из Орла! — после никогда больше ее и не встречал. В другую поездку однажды разговорился с гимназисткой, у которой было совсем детское личико. На одной долгой остановке между поездками мы погуляли поздно ночью по пустым улицам незнакомого города и она стала впадать в сентиментальность, но, когда расставались, я, желая быть «не таким, как все» и поразить провинциалочку, сказал ей — «а я вам руки не поцелую», чем, вероятно, только обидел эту барышню.

На больших станциях я иногда видел шумные проводы и встречи с цветами и военной музыкой, офицеры и губернские франты толпились около синего вагона, в окне же улыбалась заезжая «дива» или местная «львица»; в станционных буфетах (где так особенно вкусно и обильно всегда у нас кормили горячим борщом, пирожками, икрой — чем угодно!) по переполненному залу сновали татары-лакеи с бритыми головами, на длинных столах с белыми скатертями стояли никогда неоткупориваемые запыленные бутылки с заграничными этикетками и красовались обязательные пальмы, всё шумело, торопилось и то и дело раздавался зычный голос вокзального швейцара, объявлявшего об отходе того или другого поезда. На маленьких станциях была своя жизнь, по перрону прохаживались под ручку разряженные девицы в расшитых крестиками «русских» костюмах, в бусах и с косами, поглядывая на пассажиров, а гимназисты или телеграфисты «волочились» за ними, разгуливая для шика в пальто в накидку. И никто не подозревал, что за всем этим где-то наблюдает Антон Павлович Чехов, еще никому тогда неведомый....

**
*

Я ждал первой встречи с моей матерью с понятным нетерпением: от последнего нашего свидания в Киеве, где она пела

в опере (я ее слышал в «Кармен» и «Демоне»), прошло пять лет — громадный срок в моем возрасте...

Мама жила в 40 верстах от уездного города Кирсанова, и мы письмом и телеграммой условились, что она меня встретит на станции. В Кирсанов поезд пришел поздно вечером и когда я вылез с чемоданом из вагона, ко мне подошла невысокая полная дама и спросила: — «Вы Добужинский? Ну, здравствуй» — и крепко поцеловала. Я ее узнал в темноте и неожиданно было увидеть ее в сером шелковом платочке на голове, по-деревенски. Мы переночевали на постоялом дворе Сальникова и поздно заснули, беседуя при свечах, за самоваром. Она глядела на меня в упор своими зелеными близорукими глазами и задавала вопрос за вопросом. Нежностей не было, она их не терпела — и я всё больше узнавал ее голос, ее несколько отрывистую речь, смех, быстрые движения и эти родные глаза. Она всё посмеивалась, что я такой длинный и худой «до неприличия», обещала меня откормить, но предупреждала, что пища будет простая, «без всяких ваших городских фокусов», и теперь и на другой день, всю дорогу рассказывала про тот край, куда я еду, говорила, что я там увижу настоящие допотопные типы, что еду в страшную глушь к старосветским помещикам, в провинциальное болото, где трудно жить и дышать, и что там единственный культурный человек Иван Васильевич... Выехали мы рано, в яркое утро, я успел сбегать на соседний базар, принести к чаю в глиняной «махотке» удивительных сливок, густых, как сметана — такие же меня ждали и в деревне.

Ехать пришлось очень долго, мамины киргизские лошадки бежали неторопливой рысцой, позванивали бубенчиками. Работник ее, рыжий Моисей, жалел лошадей и не гнал. Но в разговорах время бежало незаметно. Дорога шла по бесконечным тамбовским хлебным полям, был июнь месяц, парило и наверное небо было тогда в круглых белых «барашках». Телеграфные столбы шли в бесконечность, на их проволоках кое-где сидели ласточки или воробьи и иногда висела мочала или клоч сена, а раз я увидел, что там каким-то чудом зацепился старый

лапоть — и хоть бы одно деревцо разнообразило монотонную дорогу... Меня поразила ширина «большака», сплошь заросшего травой — куда шире Невского проспекта! Колей было сколько угодно, на выбор. Поразила меня и сама тамбовская земля — этот могучий чернозем, густой и вязкий, прилипавший толстенными глыбами к колесам, когда мы проезжали по лужам. Мы сделали только одну остановку в каком-то селе, был праздник, отошла обедня и я впервые увидел «русский народ» — баб в цветных платках и ярких кофточках на выпуск и мужиков в смазных сапогах, гуторивших у своих телег. Потом неожиданно раскинулся широкий во весь горизонт пейзаж: внизу лежала ровная поляна с безбрежными лесами, блестела река Ворона — и у меня захватило дух от этого зеленого простора! А затем пошли овраги, узкие и длинные, с причудливыми разветвлениями разъедавшие поля по всем направлениям. Мама по дороге меня поучала: это гречиха, это рожь, это овес, это ячмень — я ничего не знал и она меня стыдила. Она велела мне дышать и дышать и, действительно, этот вольный воздух точно насыщал меня.

Однообразный пейзаж менялся мало, редкие деревни, которые мы проезжали, не радовали глаз, было всё удивительно бедно — соломенные и тростниковые крыши, серые избы с маленькими оконцами и крылечками, и нигде я не видел ни одного резного узора и даже наличника на окошке. Лишь кое-где колодезный «журавль» или одинокая растрепанная ветла оживляли бедный деревенский силуэт. Я вспомнил Литву, ее пейзаж возле Вильны и сравнивал: там везде в деревнях палисадники, всё лето полные цветов, высокие резные кресты у въезда в деревню, березы, елки, сосны и фруктовые сады.

Наконец, мы подъезжаем к усадьбе — и опять внизу долина, но меньше, со всех склонов спускаются полотенца полей, идут ряды ив, внизу змеится речка Ржавка, вся в кудрявых деревьях, а посреди котловины (мама уверяла, что это дно бывшего озера), точно оазис, лежит густой длинный сад и белеет большой михинский дом с высоким букетом старых лип возле него...

Мы уже издали слышим, как лают собаки, чувствуя наше приближение, подъезжаем ближе и я вижу, стоит в белом летнем костюме Иван Васильевич и с ним толстая Нина, а Ваня прячется за нянькину юбку.

**
*

Дни потекли в совершенно новой для меня обстановке, был я, действительно, совсем в новом для меня мире. Дом был старый, вросший в землю, немного покосившийся, без всякой архитектуры — большая «мазанка» с нахлобученной, как на деревенских избах, соломенной крышей и массой комнат. Царила такая тишина, какой я еще не знал — лишь мирно кудахтали куры да жужжали мухи — единственные звуки этого уголка. Изредка еще слышались далекие бубенчики проезжавшей «закладки», а по вечерам уютное мычание коров, возвращавшихся с полей по домам. Комнаты в доме были высокие, выкрашенные в розовую или белую краску и полутемные от кустов сирени, глядевшей в большие окна. Кавказский ковер в разноцветных зигзагах и ромбах закрывал одну стену от потолка до полу, а на другой стене висела пожелтевшая, засиженная мухами отличная старая гравюра с картины Жозефа Верне, изображающая кораблекрушение, висел и мой портрет лет десяти в овальной рамке. У окон стоял длинный старинный рояль палисандрового дерева с пюпитром для нот в виде лука со стрелами и зеленые кадки с высокими фикусами. Весь этот интерьер с венской гнутой мебелью, самодельными креслами в пестрых выцветших чехлах и с «тахтами» у стен, покрытыми коврами, я столько раз рисовал, и тогда, и в мои дальнейшие приезды!

В том же доме, в задних комнатах, проживал отец Ивана Васильевича, древний старец, Василий Иванович Михин. Иногда он оттуда появлялся, семена маленькими шажками и шаркая туфлями, в белом халате и обвислых белых штанах; был огромного роста, тяжелый, с розовым лицом, большим носом и жидкой татарской бородой. Он погружался в кресло и молчал,

посасывая длиннейший чубук из вишневого дерева, а когда вдруг начинал говорить, то голосок оказывался до удивления тоненьким и жалким. У себя он весь день курил и читал страшно патристическую газетку «Свет». Около него вертелась его старая экономка «Кумушка», как ее называли, чрезвычайно сладкоречивая, совсем высохшая, с кошачьей физиономией особа, ходившая вдобавок еще в каком-то детском чепчике.

Из дома, через низенький балкон, был выход в вольно разросшийся очень большой сад. От балкона шла березовая аллея, в конце которой была круглая площадка, обсаженная вековыми липами — центральное дерево от корня разделялось на три толстенных ствола. Эта «беседка» была всегда полна тени, и какой душистой, когда липы цвели! В дальней части сада всегда стояла сырость, туда еле пробивался солнечный луч — так тесно разрослись там старые клены, а за садом выросла осинвая рощица и я больше всего любил валяться там на траве между тоненькими стволами, где всегда было прохладней и дул ветерок, и глядел на трепещущую листву молоденьких осин. Дальше за рощей под палящим солнцем розовели и зеленели полосы гречихи и чечевицы; они тянулись до речки Ржавки, сплошь заросшей тенистыми ивами, которая ровным полукругом огибала весь хутор.

Первые дни в деревне я был как бы раздавлен (это ощущение повторялось, и еще сильнее, и позже, когда я стал приезжать из Петербурга). Я был почти болен от озона и тишины. Она пугала меня, я начинал слушать биение собственной крови, не мог спать. Лишь понемногу я «отошел» и стал действительно наслаждаться природой и этой тихой и мирной жизнью, которая тут обнимала меня.

Никогда до этого лета я не знал таких звездных ночей, какие увидал. На усадьбу спускалась совсем «украинская ночь». Я любовался «стожарами», как называли в деревне Плеяды, и чудным зигзагом Кассиопеи, в котором приметил одну крошечную звездочку и назвал ее своею. Я тогда очень был увлечен Фламарионом и знал довольно хорошо звездную карту (она была тут со мной) и на небе находил и Арктура, и Сириуса и

Веку и вдруг заметил новое собственное созвездие — гигантский «Игрек», который образует Боотес и звезда из Северной Coronы. Я глядел до головокружения в бездну, а в кустах шелкал и заливался соловей... Тут я был «глаз на глаз» с природой. Огромный мир точно наседа на меня и впервые в эти ночи я почувствовал жуть бесконечности.

**
*

Я мог слушать без конца мамины рассказы про ее жизнь, которая прошла вдали от меня — так замечательно она рассказывала. Часто она вспоминала (а может быть и импровизировала, но как картинно, с каким юмором и как весело и талантливо!) целые длинные диалоги. Я не могу себе простить, что не записал хоть что-нибудь из этих рассказов — многое совсем ушло из памяти. Она рассказывала про театр, где пела (в Нижнем Новгороде, Казани, Киеве, Харькове, Одессе, Тифлисе) и про все эти города и про здешнюю помещичью жизнь (сюда она возвращалась каждое лето) — и целая вереница людей, как живые, проходили передо мной. «Портретист» она была необыкновенный. И, конечно, тут мне постепенно раскрывалась впервые и сама моя мать.

Она поступила в Петербургскую консерваторию, когда была уже замужем за моим отцом, и окончила ее по классу знаменитой тогда Ниссен-Саломон. У нее было контральто. Первое ее выступление состоялось на летнем концерте в Павловске под фамилией Борецкой*, под которой она и пела затем в провинции, начав в опере Медведева в Нижнем и Казани, куда меня к ней привозили маленьким. Теперь в ее рассказах оживлялись и мои младенческие воспоминания (я был при ней до четырехлетнего возраста, и в Казани и в Нижнем) и она многое еще дополнила, между прочим, о моей, удивлявшей тогда всех музыкальности: я распевал все ее арии — и Зибеля, и

*) Псевдоним этот придумал ей мой отец из симпатии к Марфе Борецкой, новгородской посаднице, и славное это имя было маме, которая сама была «дочерью Новгорода», к лицу.

Вани, и Ратмира и двух княгинь — из «Рогнеды» и из «Русалки».

У отца сохранялись фотографии ее во многих ролях, те же я видел теперь и у нее. В свой первый дебют она пела Зибеля и рассказывала мне, как ей было стыдно впервые в трико. Но ее бархатный костюмчик с беретом на этой карточке был мил, и она сама с застенчивой улыбкой и взглядом исподлобья, держащая маленький букетик, очаровательна.

От мамы я услышал о множестве театральных людей, о Медведеве и Сетове, известных антрепренерах (поставивших провинциальную оперу 80-х годов на значительную высоту), о разных актерах, с которыми приходилось ей служить и о многих музыкальных деятелях, между прочим, о Тартакове («Тартачини», как его прозвали в молодости в театре), который, как артист, рос на ее глазах, и о знаменитой в провинции драматической артистке Кадминой (она покончила с собой в Харькове и ее трагедия послужила темой для драмы Суворина «Татьяна Репина»); портрет этой истинной красавицы был в альбоме у матери (альбом этот я любил рассматривать, там была целая галерея тогдашних артистов, многие сняты были в их театральных костюмах и гримах; какой бы теперь он был драгоценностью!)

От матери я наслушался, конечно, и всевозможных анекдотов о веселых театральных курьезах. Мама и Иван Васильевич, который был не только замечательный певец, но и актер не менее замечательный, были исключением в театральной среде по своему образованию. Мама окончила Смольный (его «александровскую половину») и училась там в ту пору, когда благодаря знаменитому педагогу К. Ушинскому, который был инспектором института, Смольный сделался одним из самых передовых учебных заведений Петербурга по своей программе (1860-ые годы), а И. В. — Московский университет и был тоже, как она, в Петербургской консерватории, но в разное с ней время, и они, естественно, были центром оперных трупп и, конечно, «просвещали» своих коллег, хотя общий культурный уровень оперных артистов в провинции был довольно высок

и всегда стоял гораздо выше, чем у актеров драматических. Оперные певцы не любили себя называть актерами, считая себя «чином выше» — артисты.

После долгой, пестрой и интересной службы в театре мать моя, разумеется, очень скучала в деревне (она жила там уже года четыре до моего приезда). Ее натуре, порывистой, горячей, с ее презрением к обывательщине и всякой пошлости, было тяжело и одиноко в этой глуши. Когда я узнал среду, в которой ей приходилось жить, я уже тогда начинал понимать всё это и видеть, что, действительно, Иван Васильевич, как утверждала мать, был тут единственный культурный человек. Но понять тогда всю сложность маминой натуры и взглядов мне было трудно, всё это я узнал постепенно, да и то многое осталось для меня и до сих пор загадочным. Особенно мне неясно, когда именно в ней и благодаря чему сложились ее взгляды, которые делали ее в глазах многих настоящей «семи-десятницей». Возможно, что многое возникло в ней благодаря влиянию И. В. Но и помимо того, моя мать, как человек крайне впечатлительный и свободолюбивый, не могла не поддаться веяниям времени и не быть в передовых настроениях своего поколения. По ее рассказам, они одно время устроили род «коммуны» артистов, но ни «нигилисткой», ни атеисткой, ни революционеркой она не была — искусство ее от всего этого уводило. Однако, ее натура, не признававшая предрассудков, как она говорила, резко высказываемые мнения и вся жизнь, которая была вызовом обычным условностям, давали, вероятно, повод считать ее «радикалкой». Но в ней не было ни капли педантизма и были большие противоречия, которые смягчали и еще более усложняли для меня мамин характер. Я знаю, что в душе она была религиозна, хотя, по ее словам, не терпела «попов» (сама она была дочь священника) и под ее резкостью таилась сердечность, которую она старалась не показывать. В конце концов, в ней было то, что являлось самым существенным и симпатичным в ее поколении — настоящий идеализм. Он был и в этом протесте против обыденного уклада и морали, и в искренней вере в силу личности, — вере в то,

что собственный пример может перевернуть эту условную общественную мораль и предрассудки. Это, пожалуй, можно было бы назвать даже своего рода романтизмом, хотя этого ни за что бы не признали носители тех суровых и честных идей. Мама верила и в то, что лишь в деревне, ближе к природе и народу, и есть настоящая жизнь — всё это было близко к тому, что проповедывал Толстой, хотя во многом она взглядов его вовсе не разделяла. Вначале она старалась меня «перевоспитать», стыдила, что я «папенькин сынок», «баловень», «неженка» и заставляла меня самого всё делать, хотела, чтобы я не боялся физической работы, даже черной, и я послушно таскал воду из колодца, рубил дрова, пробовал косить, она даже заставляла меня запрягать лошадь (это уж никак не выходило!). Но всё это меня лишь утомляло и в конце концов она махнула на меня рукой.

Очень часто мне с ней случалось спорить «принципиально». Спорить же с ней было трудно, жизнь ее, конечно, озлобила, она раздражалась, говорила колкости, я сам нервничал, иногда впадал в отчаяние. Мы, оба очень «отходчивые», всегда мирились, но и с самого начала, хотя взгляды мои тогда были еще совсем не установившиеся, я никогда не «сдавался». Я был «сыном своего отца», она видела это, ревновала, конечно, но переделать меня не могла — мы слишком поздно встретились. Много, много лет позже, когда она вообще смягчилась, стала более терпимой к чужим взглядам, и я сам понял бессмысленность этих споров, наши отношения сделались ровнее. Но жизнь ее, в последние годы очень одинокая, шла всегда вдали от меня, только однажды она приехала гостить ко мне в Петербург (это было в 1910 году), видались мы редко и общались лишь довольно частыми письмами. Они бывали замечательные и я их все сохранил.



С первого моего приезда к матери она стала меня образовывать по части музыки. У нее было большое количество нот. Благодаря ей я, между прочим, как следует познакомился

с Шопеном. Она играла очень много и из Шумана, Мендельсона и Листа. Больше всего моя мама любила Бетховена и Баха, последнего я мог слушать до бесконечности. Играли они с И. В. также Моцарта и Гайдна. Иногда, когда кругом всё спало, пели лишь соловьи, я, гуляя под звездами, слушал музыку, что доносилась из освещенного маминого дома. Но обыкновенно я сидел возле фортепиано и переворачивал нотные страницы. Эти вечера были незабвенны!

К Чайковскому — мне это было странно и огорчительно — у нее была какая-то неприязнь, она находила, что его музыка чрезмерно слезлива и утрированно сентиментальна — чего она вообще не терпела. И это ее мнение неожиданно для меня повторилось в позднейшей критике многих французов. «Впрочем, — говорила она, имея в виду известную его извращенность, — он больной человек», о чем тогда шептали с неким ужасом... И всё-таки она играла — и с большим увлечением — много произведений Чайковского и раз призналась: «не хочу любить Петра Ильича, а вот действует он на меня необыкновенно. Впрочем, это нервы».

Она обожала Глинку и считала, что более гениальной оперы, чем «Руслан» — нет (впервые именно от нее я слышал, что «из Руслана можно сделать несколько опер, так она богата»). Ее любимой оперой были «Гугеноты», как одна из самых певучих. Мама мне пела не очень охотно — голос ее уже далеко не звучал, как раньше, но меня до слез трогали его глубокие грудные ноты. Понемногу — каждое лето всё новое — я услышал в ее исполнении и романсы Шуберта (сладко вспомнилась его «Серенада», которую напевал мой отец в моем детстве), старого «Соловья» Алябьева и романсы Глинки, Даргомыжского (особенно любимые мамой) и навеки мне запомнившийся дивный романс Бородина на пушкинское «Для берегов отчизны дальней». Своих оперных арий она мне почти совсем не пела.

И. В. пел охотнее, мама акомпанировала. Его замечательный бас был еще полон силы, дикция и фразировка были замечательны. Репертуар у него был весьма обширный. Он пел из

опер арии Мефистофеля и Фарлафа, романсы Балакирева, «Блоху» Мусоргского и «Во Францию два гренадера» Шумана (впоследствии я сравнивал с Шаляпиным и — могу утверждать — во фразировке он ему не уступал) и многое другое. Особенно меня потрясал в его исполнении «Ночной смотр» Глинки.

Тогда, в мое первое лето, в доме гостил брат И. В., худой, высокий, с «козлиной» бородкой, доктор Павел Васильевич, приезжавший из Харькова. У него был приятный тенорок и они пели дуэты. Особенно мне нравился длинный и «вампукистый» (слова этого тогда, впрочем, еще не было) диалог их из «Пуритан» Беллини. БАС: «Если образ прелестной Эльвиры мне предстанет, мне предстанет с такими словами, то мольбою и слезами заслужу я прощение у ней. Но явись мне Артур ненавистный — его образ меня не пугает, пусть небесный он суд призывает, в царство мрака, в царство мрака, в царство мрака я свергну его». ТЕНОР: «Склонись на просьбу друга и позабудь о мщении». БАС (сейчас же, склоняясь): «В душе вражда стихает, тронул меня ты слезами» и затем оба: «Трубы на бой взывают, стройно дружина бьется, в воздухе клич несется: победа или смерть» и т. д. (Я пародировал их дуэт, рисовал на них карикатуры и очень смешил этим маму).

**
*

И. В. стал земским начальником после того как оставил театр — его дворянство и университетский диплом юридического факультета давали возможность получить это место и в то же время жить в своей усадьбе. По словам моей матери, взялся за эту службу он после больших колебаний, взгляды его и убеждения уж очень не соответствовали этой должности, недавно тогда учрежденной.

Я иногда наблюдал на дворе его собеседования и прения с кучкой просителей и всегда любовался, когда он разъяснял мужикам их дело, спокойно покуривая «самокрутку» и подсмеиваясь над их несообразительностью и упрямством. «Зем-

ского» в уезде уважали за то, что он, хоть и «барин», но говорил с мужиками просто и понятно, их языком, без начальственного тона, и не «распекал», как полагалось.

В нем, конечно, много было от актера и своим «барством» он немного играл. Но его высокая, сутулая фигура, горбатый нос, острый ус (он уже не брился), великолепный бас, неторопливые движения — всё это само собой imponировало. (Для полноты портрета: он стригся «ежом», его густая щетка уже седела и он носил эспаньолку). На хутор постоянно приезжали телеги с мужиками и группы их сидели, ожидая очереди в тени под ветлами, — настоящая картинка «передвижников»: «Ожидают» или «К земскому приехали». Канцелярию вел писмоводитель, круглоголовый, белобрысый и с моржовыми усами добродушный Борис Ильич, он писал изумительным калиграфическим почерком и корпел над бумагами, сидя в маленькой избушке во дворе, которая называлась у нас «амбарушка».

Страстью И. В. была охота и он иногда в высоких сапогах выше колен уезжал куда-нибудь в глушь дня на два и привозил множество трофеев. Он был также рыболов и когда мы ездили компанией на реку Ворону, он уединялся с удочкой и священнодействовал. К охоте, как и к рыболовству, меня никак не тянуло и я ни разу не ездил с ним в эти экскурсии, хотя он и соблазнял меня картинами природы, закатами и восходами солнца. Земский участок его был огромный и ему приходилось уезжать для разбора разных тяжб на несколько дней. Во время этих путешествий он останавливался во многих усадьбах. В этой хлебной и лесистой стороне нашего уезда находились обширные имения Боратынских, Башмаковых, Петрово-Соловово и других, и там его всегда радушно принимали. Хотя он, и тогда и позже, всегда звал меня с собой в эти поездки, я этим ни разу не воспользовался, о чем потом очень сожалел. Пропустил же я возможность посетить эти старинные поместья исключительно потому, что общество И. В. во время этих долгих поездок меня бы крайне стесняло... Хотя ко мне он был всегда мил, называл на «ты» («Мстислав», как и мать), но я так никогда и не мог найти «моста» к нему, впрочем, и не искал по понятным причи-

нам. При этом он был человек необыкновенно молчаливый, что меня тоже смущало и действовало иногда даже угнетающе.

Этот уголок Кирсановского уезда, где находилась мамина усадьба, был гнездом одного старого дворянского рода и окрестные маленькие помещики все были в родстве. Сидели на 150-200 десятинах; если у кого было больше, 300 или 400, то считались «богачами». Все эти именья окружали деревню Семеновку, очень бедную и невзрачную, с довольно милой деревянной церковкой с зеленым куполом и шпилем на колокольне, с одиноко стоящей мельницей на выгоне и высокими ветлами по «меандрам» Ржавки. За церковью лежало кладбище, необычайно унылое — ровное голое поле, всё в низеньких и кривых лучинных крестиках без всяких надписей, кое где лишь отмеченных жалкой выцветшей ленточкой, треплющейся на ветру. Меня всегда угнетал вид этого безотрадного места — символ полнейшего безразличия к смерти. Нигде ничего подобного мне не пришлось видеть и позже.

Посреди деревни красовались два совершенно одинаковых кирпичных домика — «кулака» и «батюшки», сплошь заросшие высокими кустами сирени, из-за которых выглядывали только зеленые крыши с железным кружевом на трубах. Кстати сказать, эти украшения «мещанского стиля», как и жестяные колючие «репы» на воротах и водосточные трубы в виде дракона с зубами и крыльями были очень типичны для всей средней и южной России. Я впоследствии зарисовал много этих курьезов, на которые, кажется, никто не обращал внимания. За деревней тянулись фруктовые помещичьи сады, окруженные плетнями и дальше шла широкая красивая дорога в большое и богатое село Инжавино (или в просторечии «Ржавино» — по нашей Ржавке, которая и там извивалась), лежавшее верстах в семи от Семеновки. Там бывали «ярмонки» и по каким-то дням большие базары, куда я охотно сопровождал мою мать, едущую по хозяйству. На эти базары мужики привозили самодельную керамику — глиняные горшки, кувшины, «махотки», плошки, миски самых примитивных форм с зеленой и коричневой поливой, редко украшенные каким-нибудь бедным орна-

ментом в виде прямых или волнистых полосок. Среди этих посуды, в порядке и беспорядке расставленных, наваленных на соломе возле телег, я выискивал забавные глиняные свистульки, желтые и зеленые, восхищавшие меня своим неуклюжим юмором. Одни были в виде лошадок без задних ног с выгнутой колесом шеей, иногда с подбоченившимся всадником на спине, другие в виде барыни в шляпке, с турнюром и почти всегда с гусем под мышкой. И я чувствовал, что в этих наивных и веселых безделушках есть настоящее народное искусство, они мне даже казались какими-то драгоценностями! Инстинктивно я был прав, конечно, да и прелесть лубка мне была уже знакома с детства. Но я не подозревал тогда о поразительном и необъяснимом сходстве этих русских коньков и дам с формами таких же игрушек Микенской Эллады! К потехе домашних я накопал немало этих «уродств» и каждое лето увозил к себе домой.



Как это ни странно, за все те гимназические и студенческие годы, когда я ездил в деревню, у меня не случилось никаких серьезных романов. Всё это было «не то», а в университетское время у меня в Петербурге уже зрела большая сложность в личной жизни, и в деревне многое мне стало казаться мелким и уж очень провинциальным.

Но, всё-таки, я почти совсем влюбился в «крестьяночку», когда я еще был гимназистом. Эта Евгения («Евденция», как произносили крестьяне) — девушка лет 17-ти, жила в шалаше в нашем фруктовом саду со своим отцом, арендовавшим яблони. У нее было румяное круглое личико — совершенное яблочко, мелкие ровные зубы, голубые глаза и светлые напробор волосы. Во всей ее повадке было какое-то изящество, даже породистость (которая нередка у крестьян) и руки ее были маленькие и очень красивые, хотя и шершавые от работы. Она была совсем «венециановская» пейзажка — крестьянка-барышня.

Так ясно помню, как однажды она тихо появилась, босоногая, на пороге двери из сада — я читал книжку (наверное моего Шекспира) и вижу, как она, стоя там, застенчиво манит меня к себе неловкой ручкой. Я всегда почему-то глупо терялся перед ней и не могу себе представить, какие могли мы с ней вести разговоры... Помню только, она повторяла: «Ах, барин, барин, какой вы хороший» — и мы, иногда забравшись в шалаш, где сладко пахло яблоками, тихо сидели, обнявшись, на соломе, и самым невинным образом целовались. Евгения скоро уехала («мы переселенцы»...) неизвестно куда — не в Сибирь ли? — и «роман» мой был очень краток, оборвался на предисловии... На этом и кончилось мое единственное соприкосновение с «народом».

С мужиком я не умел говорить, меня он стеснял, я понимал, что я совершенно чужой для него. Но никакого чувства превосходства у меня не было, даже наоборот: то, что я занимаюсь искусством, в его глазах было «баловством», и я испытывал нечто вроде конфуза перед ним и даже какой-то виноватости, ничем необъяснимой. Когда я старался говорить попроще, мне это самому казалось фальшивым.

Но «своими» были толстая, добрая, уютная нянюшка, ее муж, мордвин, с бородкой мочалкой, маленький веселый старичек Иван Тимофеевич и рыжий рабочий Моисей; они меня несколько не стесняли. Мать моя, наоборот, умела и любила говорить с мужиками и бабами, которые постоянно приходили к ней за домашними лекарствами или поболтать. Она хорошо знала их нравы и ужасалась темноте тамбовского народа и всяческим суевериям. Меня огорчало, до чего крестьянская одежда была прозаична: сарафанов тут и в помине не было, мужики носили посконные рубахи, редко цветные, на головах засаленные картузы блином, лапти же почти не встречались — обычно ходили в высоких сапогах. А парни в праздники, несмотря на жару, для пущего франтовства, носили еще поверх этих сапог — блестящие резиновые галоши. Бороды у мужиков продолжали расти по Гоголю: «лопатою», «заступом» или «клином». Бабы

одевались в кофты-«распашонки», иногда с цветными пуговицами, и в темные юбки с какой-нибудь цветной оборкой, а в праздничные дни щеголяли, кто побогаче, шелковыми платками на головах. Любили и бусы, стеклярусные и коралловые, франтики старались наряжаться «по-господски», заводили рукава пузырями, какие были в моде в 90-х годах*.

Нередко эти здоровенные девки и бабы бывали хороши, зубы у всех были на загляденье, особенно красива бывала их легкая походка, они держались прямо, с высоко вздернутыми грудями и ловко махали рукой в такт своему шагу. Звонкие песни, которые доносились с полей и огородов, распевались или скорее выкрикивались ими во всё горло — так голосить было своего рода шиком.

Однажды нянюшку навестила знакомая мордовка-знахарка, я как раз тогда мучился зубом и мама шутя предложила: «пусть она тебе зуб заговорит!» Я был уже студент и мне показалось это ниже моего достоинства. Однако, зуб так ныл, что я решил попробовать «на всякий случай». Баба-яга повела меня в поле к одинокой рябине (рябина для этого дела должна стоять именно одиноко), велела закусить больным зубом ветку, что я и сделал, и пока я покорно стоял — и довольно долго — в этой весьма глупой позе, она бормотала какие-то заклинания. Удивительно, что, несмотря на мой внутренний протест и скептицизм, зуб действительно перестал болеть! Колдунья была вознаграждена четвертаком.

*) Именно в эти 1890-ые годы запечатлевал внешний облик крестьян и декаданс народного костюма — и с большой остротой — Рябушкин. Гораздо позже, лет на 10-15, появился Кустодиев с его базарами, девушками и хороводами. Но цветистость и праздничность, которые он искал в деревне, в противоположность унылым передвижникам, и само добродушие его таланта мешали ему замечать курьезы и уродливости крестьянского быта, которые могли быть столь ценны для художника.

**
*

Все летние месяцы, которые я проводил у моей матери, я с увлечением рисовал всё, что меня окружало, не задаваясь никакими задачами, кроме того, чтобы делать «похоже». Глаз мой был внимательный и, конечно, как все начинающие художники, я слишком много занимался подробностями и лишь понемногу инстинктом стал искать обобщений. Я уже давно заметил, что мне как-то само собой и легко удавалось портретное сходство и в мой большой альбом, подаренный отцом, я зарисовал понемногу всех моих деревенских знакомых. Мои гимназические карикатуры на товарищей и учителей (чем я уже был «знаменит» в гимназии), конечно, очень помогали моим портретным упражнениям. Дома я рисовал и моих приятелей и нянюшку с ее прялкой, и ее старенького мужа, и заскорузлые физиономии маминых рабочих Моисея и Константина и премиленькую пятнадцатилетнюю внучку нянюшки, Парашу («Барашу», как мы ее называли за светлые кудряшки). Только мама мне не давалась.

Пейзаж этой части кирсановского уезда был беден и однообразно-невесел и в то же время я мог заметить, как при этой бедности он был тонок и даже как-то изящен и как разнообразно и деликатно «нарисованы» были природой силуэты ветел, которые спускались вереницей по плавным откосам холмов или курчавились вдоль извивов нашей речки. Меня удивляли замысловатые острые формы длинных оврагов, бегущих по склонам котловины, на дне которой текла эта речка, и я любовался шахматным узором разноцветных полей. Эти «скатерти» и «полотенца» ржи, гречихи, овса и плантации табаку — каждая имела свой цвет и, на языке художников, свою «фактуру поверхности»

При чувстве юмора, которым я был наделен, для меня было находкой наше село, куда мы ездили на базар, и я там многое зарисовал — розовый домик булочника Молоденкова с заржа-

вешим золотым кренделем, качавшимся над дверью, каменные неуклюжие аркады облупившихся рядов с какими-то трельяжами, зеленые жестяные луковицы на столбах у заборов, резные вычурные кладбищенские ворота. Облик нашей деревни Семеновки, жалкий и нищий, поражал меня до крайности и я не почувствовал остроту его, пока не понял, что и в подобной бедности, как в навозной куче, можно найти настоящий «жемчуг», и именно тут, в деревне, я начинал сознавать, что для художника нет «красивого» и «некрасивого».

В последующие годы я посещал Семеновку с большими перерывами, за это время видел много другого, узнал Европу, узнал хорошо Россию — бывал в Псковской, Тульской, Черниговской губерниях, в местах гораздо более живописных, гораздо более богатых по своей природе, и во многих старинных поместьях, исключительных по красоте, но именно мои ранние и скромные тамбовские впечатления оказались наиболее плодотворными и вдохновительными. Они уже сделались в о с п о м и н а н и я м и моих юных лет и то, что так было мне мило в деревне — эти ковры пашень, кудрявые помещичьи сады, столетние липы и навсегда запомнившееся голубое небо в круглых белых облачках — всё это помогло родиться тому, что было моей первой театральной любовью — «моему» «Месяцу в деревне» Тургенева на сцене Московского Художественного Театра.

**

*

Этот мирок, в котором жила моя мать, всё то, что было связано на протяжении ряда лет с моей юностью, весь этот кусок жизни был как остров, отрезанный от остального моего мира. То же самое было и с Новгородом моего детства, который позже совершенно бесследно ушел из моей реальной жизни. Странно, что даже при всем желании «построить мосты» это удавалось с большим трудом, — и в этом было что-то фатальное. Мать моя решительно отказывалась приезжать в «гнилой»

Петербург, который «ненавидела», и посетила его только однажды.

Я показал ей тогда только-что поставленный и еще совсем свежий «Месяц в деревне», который МХТ привозил в Петербург. Она осталась недовольна, нашла, что всё слишком нарядно, пейзаж же слишком бледен и малокровен (она была мой самый строгий критик; впрочем, наверное во многом бывала и права). Но только она одна и могла бы сказать, что именно в этой постановке навеяно ее усадьбой — от толстых лип ее сада до маленького «Кораблекрушения» Жозефа Верне, висевшего у нее в зале. Этой пожелтевшей романтической гравюрой я любовался еще гимназистом. Теперь я ее превратил в большую картину, украсившую голубую гостиную «Месяца в деревне».

М. Добужинский.

УСТАМИ ГАМЛЕТА

Быть иль не быть?
Но если быть, то — кем?
Иному смерть
желаннее короны.
Тому же, кто юродив,
слеп иль нем, —
что власть тому,
что скипетры и троны?

Жизнь оборвать легко.
Один лишь шаг.
Но этот шаг, но этот миг —
подумай!
Нет. Всё же легче — жить.
Хотя бы как
невольник, нищий
иль злодей угрюмый.

Жить ради жизни.
Ради тех минут,
когда прощаешь годы.
Жить, не споря,
снося обиды, голод,
рабский труд,
как червь слепой
копаясь в мерзком соре.

А может быть — не так . . .
Что если там
душа и впрямь
блаженствует в бессмертии,

и будет жизнь земли
казаться нам
такой ничтожной, жалкой
после смерти?

Слова, слова, —
блудливые слова!
Как ловко можно всё
прикрасить вами . . .
Но — мертвая
смеется голова,
ее не одурачишь ты
словами.

Ах, Иорик мой!
Завидую тебе.
Теперь ты знаешь правду;
ты не должен
дрожать и печься
о своей судьбе
и ждать конца,
который непреложен.

Конца? Конец . . .
О чем же это я?
Никак в беседу
с черепом пустился?
Эй, ты, могильщик!
Дай-ка, брат, огня,
Совсем я тут
в потемках заблудился.



*Светлой памяти
Раисы и Михаила
Горлиных.*

Спаслись, уцелели, ушли от меча,
В огне не сгорели, под пульей не сникли . . .
Пылай-же, зажженная мною, свеча
Как радость победная в праздник великий.

Дойди ликование мое до Творца
Взволнованной и благодарной молитвой
За всех пощаженных, — кого до конца
Хранил Он в опасностях, бедах и битвах.

Но вас — неповинных, которых не спас
Ни бегства туман, ни лирический ветер, —
Какой панихидой оплакивать вас
И чем вашу гибель достойно отметить?

Я помню последнюю встречу . . . Уже
Зловещими были берлинские ночи;
Слова и движения — настороже,
Свидания — реже, беседы — короче.

Но рифмы братались, но строки текли
Как прежде — на нашем случайном Парнасе . . .
Кто думал тогда, что столицы земли
Рассыплются прахом, что солнце погаснет?

Что в недрах подземных, слепые кроты,
Мы будем дрожать бесконечные годы,
Что в мире миллионами встанут кресты
И плачем библейским заплачут народы?

Кто думал о проклятых небом местах
За ржавой чертой, об отверженных остах,
О желтой звезде, о последних словах,
Кто думал о смерти? . . — Привычно и просто

Закончился вечер. Но как-то не так
Обыденно мы попрощались: глазами.
Трамвай зазвенел. И судьбы нашей мрак
Как занавес глухо упал между нами.

Следы затерялись и нить порвалась.
Во вздыбленных годах свершилось так много.
Но верю: по зову премудрого Бога
С земли голубиная пара взвилась
И к рощам блаженных была их дорога.

Юрий Джанумов.



Когда земля, вся в судорогах, ухнет
Последней ночью в свой последний век,
Когда звезда последняя потухнет —
Останется последний человек.

Он будет полудухом-полупрахом
Бежать сквозь одиночество и страх . . .
Таким же одиночеством и страхом
Я сжат сегодня в четырех стенах.

1949



Каждое утро кладет по письму
На подоконники осень.

Всё тяжелей опускается сад
В мутные воды тумана.

В сумерках будет маячить как спрут
Дуб, что стоит у дороги.

Лег на страницу кленовый листок
Остановившимся сердцем.

1949

**
*

Точно родник
Весь небосклон
Дивно глубок.
Осень, тебя пьем.

Видишь — возник
Гибельный клен,
Раненый в бок
Солнечным копьем.

Страстию лик
Твой опален.
Этот клубок
Рвем — не разорвем.

Видишь — возник
Гибельный клен,
Раненый в бок
Солнечным копьем.

В смерть напрямик
С самых пелен
Гонит нас Бог.
Все скоро уснем.

Видишь — возник
Гибельный клен,
Раненый в бок
Солнечным копьём.

Иван Елагин.

*
*

Последних мук не утаить
Ни равнодушьем, ни усмешкой . . .
Еще хотелось бы пожить,
Немного на земле замешкать!

Я знаю, как прекрасно там,
В мирах, невидимых отсюда,
И час придет — себя отдам
Испепеляющему чуду.

Но как-то боязно всегда
Сменить на пышные хоромы
Лачугу песен и труда,
Где хоть и плохо, но я дома.

Где всё понятно, где окно
Откроешь — и увидишь крыши,
Где можно, если всё равно,
И не взглянуть ни разу выше.

О, черепица бытия,
Лукавый сторож нашей лени!
Ты видишь, сам кидаюсь я
Перед тобою на колени,

И сам привычное мое
Продлить молю я заточенье, ---
Лишь только бы не лезвие
Щемящего освобожденья!*

1951



Корзина с рыжиками на локте,
А за плечом — мешок еловых шишек.
Опушки леса ласковый излишек
Не царский ли подарок нищете?

Затопим печку, ужин смастерим
И ляжем спать на стружковой перине.
Есть в жизни грань, где ты неуязвим,
Неуязвим, как ветры и пустыни.

1951



Опять, опять! Всё это прежде было
И повторяется в который раз!
Вот так же море в жесткий берег било,
В провалах туч закат, срываясь, гас.

И ветер дул, и так же было надо,
Изнемогая, выпустить из рук,
Не жизнь (что жизнь!), — тебя, моя отрада,
Из тьмы времен мне возвращенный друг!

И так всегда! И в новом повтореньи
Я, так же как и в прежних, не пойму,
Кому вот это страшное служенье,
И эта верность горькая — кому?

Что знаю я? Но спутник мой крылатый
Меня зовет и говорит: взгляни!
И вижу след девической ступни
На золотистой отмели Евфрата.

1951

Д. Кленовский.

О К Т А В Ы

То было в пору, о которой суд
Едва ли даже правнукам под силу.
Казалось, что народам вскрыли жилы
И хлынула . . . Но яблони цветут,
Гудят шмели, навозом пахнут вилы,
И масляное солнце там и тут
К земле ласкается с тягучей лестью,
Гуляя по берлинскому предместью,

И всюду домики из рафинада . . .
(Куда, когда ударит с неба смерть?)
Жасминами усеянная жердь
Ломает геометрию ограды . . .
А радио-фанфары, водоверть,
И тут же марширующее стадо,
Окурки подбирающий старик,
И "Räder müssen rollen für den Sieg".

Мне ль вас забыть, веселые друзья,
Вас, спутники во вражеской столице?
Я помню вас. Я вижу ваши лица,
Я слышу шепот . . . Впрочем, что же я?

Всё не о том. Вон, тусклой вереницей
Бредут, о хлебе тихо говоря . . .
Их тоже помню. В валенках, босые . . .
По улицам Берлина шла Россия.

Что? Слышите? Да, да: летят на город.
Как воеет, как мяукает весна!
Темно и душно Где теперь она?
У этого солдата сальный ворот . . .
Вот, заходила ходуном стена . . .
Тишь. Отошло . . .

.....

Немецкие озера,
Немецких весел равномерный всплеск
И русских глаз пытливый, тихий блеск.

В карманах-нелегальщина. Вот так,
Должно быть, собирались франк-масоны.
А впрочем, вздор. Отлив воды зеленой,
(И лишь бы не сплошать, не сесть впросак:
Не Петька рядом, рядом миллионы!),
У берега лоснящийся лозняк,
На рыжем пне носков промокших пара,
И зарево далекого пожара.

Да, это главное. Зеленоватый
Покой, пожар, и вера в чудеса.
И что теперь земные голоса,
Что значат эти голоса сквозь вату?
Она взмахнула, времени коса,
И обернулась календарной датой
В ночи пустынной магния огни,
Прекрасные и гибельные дни.

Александр Неймирок.

Н Е Б О

I

Млечный Путь над городом проходит,
Он похож на Млечный Путь в раю.
Я иду, и это происходит
Не во сне и не в раю.

Небо кажется незримым садом;
Он открыт для всех — и для меня.
Он обещан мне, он тут же рядом,
Ожидающий меня.

При луне порой лунатик ходит
По дорожкам, дремлет на краю.
Он уже, уже слегка походит
На живущих в том краю.

Под ногами улица ночная,
Всё знакомей, всё короче путь.
Чуть предчувствуя, чуть вспоминая,
Я гляжу на Млечный Путь.

II

Здесь были вещи: лампа, стол, камин.
Лишь в окнах пустота чернела.
И свет погас. И я совсем один,
И мир темнеет, опустелый.

Но я гляжу из мрака в мрак ночной,
И кажется — светлее стало,
И дерево, угаданное мной,
Вдруг сдержанно затрепетало.

И я увидел в небе дымный след,
Кончающийся невысоко,
Фабричную трубу и звездный свет,
Туманный, голубой, далекий.

III

Острый угол подушки —
Как больное крыло.
Ты — как птица в ловушке,
Как на суше весло.

Небо — в пене, как море,
Дым, как волны, бурлит.
Крест на лунном соборе —
Словно чайка летит.

Ты уже не в постели,
Ты в широком окне.
Легкость лунная в теле,
Тень крыла на волне.

Ты летишь над алеей
Прямо в лунный прибой,
Всё смутнее белея
В глубине голубой.

Игорь Чиннов.

МОСКВА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1914 ГОДА*

По настоящему описать «канунную» Москву, значит написать историю русской культуры. Зная, что всякая память субъективна, я всё же верю в относительную объективность своих воспоминаний.

У Бориса Зайцева довоенная Москва — иконостас за синью ладана, у Андрея Белого — зверинец, «преподнесенный» в методе марксистского социологизма. Беловской, во всех отношениях несправедливой переоценки всех ценностей, нам, эмигрантам, опасаться не приходится, опаснее впасть в лирическую умиленность Зайцева.

Как грустно, что уже нет в живых Ходасевича, одного из лучших знатоков художественного творчества и литературного быта начала века. В прекрасных статьях его «Некрополя» чувствуется всё необходимое для настоящего бытописателя-мемуариста: спокойная твердость памяти, обостренный революционным опытом анализ прошлого и верность своему пути. Исключительно объективное отношение Ходасевича ко всему пережитому объясняется, конечно, тем, что он литературу любил больше жизни. Если мне, для которого творчество жизни всегда стояло выше ее отражения в слове, удастся хотя бы до некоторой степени удержаться на уровне спокойной объективности Ходасевича, я почту свою задачу исполненной.

Моими первыми встречами с философскою и литературною Москвою были заседания «Религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева» в доме Маргариты Кирилловны Морозовой. Председательствовал обыкновенно погимназически остриженный бобриком, пунцоволицый, одутло-

*) Мы печатаем главы из воспоминаний Ф. А. Степуна, до сих пор появившихся только в немецком переводе, по присланному нам автором русскому тексту. Воспоминания писались Ф. А. Степуном в первые годы войны. Ред.

ватый, Григорий Алексеевич Рачинский, милый, талантливый барин-говорун, широко, но по-дилетантски начитанный «зна-ток» богословских и философских вопросов. Боязнь друзей, что «Рачинский будет бесконечно говорить», создала Григорию Алексеевичу славу незаменимого председателя: по заведенному обычаю председателю полагалось лишь заключительное слово. Свое принципиальное примирительное резюме Григорий Алексеевич всегда произносил с одинаковым подъемом, но не всегда с одинаковым талантом. Нередко он бывал по настоящему блестящ, но иногда весьма неясен. Зависело это от состояния его нервной системы, которую он временами уезжал подкреплять в санаторию. По обе стороны Рачинского, беспрестанно дергающегося и как бы бодающегося мутным из-под очков взором, за длинным, покрытым зеленым сукном столом рассаживались члены президиума. Боже, до чего памятливы их облики!

Вот крупный, громоздкий, мужиковато-барственный князь Евгений Николаевич Трубецкой, уютный, медленный, с детскими глазами и мукой честной мысли на не слишком умном лице. Голова, как у «санбернара» построена на квадрате: квадратный череп, квадрат в лице. Рядом с князем, простоватый на первый взгляд, Сергей Николаевич Булгаков, похожий, пока не засветилась в глазах мысль и не прорезалась скорбная складка на лбу, на смышленного дачного разносчика; несмотря на такую скромную внешность, выступления Булгакова отличаются обстоятельностью и своеобразной глубиной ума. Думаю, что вклад этого мыслителя в сокровищницу русской культуры окажется, в конце концов, более значительным, чем многое написанное его современниками. Но говорить о Булгакове-богослове, об отце Сергии Булгакове — мимоходом нельзя. К тому же эта тема выходит за пределы моего повествования. Значение Булгакова предвоенной эпохи заключалось главным образом в его эволюции от марксизма к идеализму и в попытке христианского пересмотра основ политической экономии. В 1910-м году вышла его «Философия хозяйства» и его перевод известного политико-экономического труда Зейпеля. Одновременно он писал и по вопросам искусства. В его вышедшем в 1914-м году сборнике «Тихие думы» очень интересны две связанные друг с другом статьи: одна о «Бесах» Достоевского, другая о Пикассо. Связь между статьями — в мысли, что Пикассо изображает плоть природы так, как ее, вероятно, видел Ставрогин.

Рядом с Булгаковым — его философский спутник, Бердяев. Оба начали с марксизма, оба эволюционировали к идеализму и вот оба со страстью защищают славянофильскую идею христианской культуры, строят, каждый по свдему, на Хомякове, Достоевском и Соловьеве русскую христианскую философию. По внешности, темпераменту и стилю Бердяев полная противоположность Булгакову. Он не только красив, но и на редкость декоративен. Минутами, когда его благородная голова перестает подергиваться (Бердяев страдает нервным тиком) и успокоенное лицо отходит в тишину и даль духовного созерцания, он невольно напоминает колористически-страстные и все же утонченно-духовные портреты Тициана. В горячих глазах Николая Александровича с золотой иронической искрой, в его темных, волнистых почти что до плеч волосах, во всей природе его нарядности есть нечто романское. По внешности он скорее европейский аристократ, чем русский барин. Его предки легче видятся рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог деревянных палат. У Бердяева прекрасные руки, он любит перчатки — быть может, в память того бранного значения, которое брошенная перчатка имела в феодальные времена.

Темперамент у Бердяева боевой. Все статьи его и даже книги — атаки. Он с Богом разговаривает так, как будто атакует Его в небесной крепости.

Как Чаадаев, писавший в свое время, что он почел бы себя безумным, если бы у него в голове оказалось больше одной мысли, Бердяев определенный однодум. Единая мысль, которою Бердяев мучился уже в описываемое время и которою он будет мучиться и на смертном одре, это мысль о свободе. Многократно меняя свои теоретические точки зрения и свои оценки, Бердяев никогда не изменял ни своей теме, ни своему пафосу: как марксист, он защищал экономическое и социальное раскрепощение масс, как идеалист — свободу духовного творчества от экономических баз и идеологических предпосылок, как христианин он с каждым годом всё страстнее защищает свободное сотрудничество человека с Богом и с недопустимую подчас запальчивостью борется против авторитарных посягательств духовенства на свободу пророчески-философского духа в христианстве. На исходе средневековья Н. А. Бердяев, несмотря на свое христианство, мог бы кончить свою жизнь и на костре.

В президиум «Религиозно-философского общества» входил и рано умерший Владимир Францевич Эрн, непримиримый враг немецкого идеализма и в частности неокантианства. Сразу же после выхода в свет первого номера «Логоса», Эрн гневно обрушился на нас своею объемистою книгою под названием «Борьба за логос». В этой книге, как и в своих постоянных устных и печатных полемически-критических выступлениях против нас, логосовцев, Эрн упорно проводил мысль, что апологеты научной философии, оторванные от антично-христианской традиции, мы не имеем права тревожить освященный Евангелием термин, еще не потерявший своего смысла для православного уха. Думаю, что в своей полемике Эрн был во многих отношениях прав, хотя и несколько легковесен. В его живом, горячем и искреннем уме была какая-то досадная ямщицкая разухабистость. Свою дискуссионную речь он гнал, как резвую тройку: иной раз казалось, что эмоциональных бубенцов больше, чем логической резвости.

В кресле, вблизи зеленого стола, а иногда и в первом ряду среди публики, обыкновенно сидела хозяйка дома и издательница «Пути», Маргарита Кирилловна Морозова. Не могу сказать, чтобы я очень близко знал Маргариту Кирилловну, тем не менее очарованность ее образом с годами всё крепнет в душе. Может быть, потому, что вспоминая свое последнее перед высылкой из России посещение этой замечательной женщины, не пожелавшей эмигрировать, я невольно чувствую, что в советской Москве пока еще жива и моя Москва.

Несколько лет тому назад я, не подозревая, что младшая дочь Маргариты Кирилловны живет с мужем в Берлине, заметил ее в числе своих слушателей на докладе о театрах Москвы. На следующий же день я зашел к ней. На стене просторной комнаты — портрет работы Тропинина. На большом концертном рояле — пастернаковский набросок дирижирующего Никиша; за спиной дирижера колонны и антресоли Благородного собрания, нынешнего Дома Советов. Рядом с ним фотография Скрябина (хорошо знакомое по эстраде тонкое, нервное лицо) и еще несколько своих московских вещей — сиротствующих в Берлине мигов прошлого.

Пьем по-московски чай, разговариваем обо всем сразу: Мария Михайловна, лицом и манерами очень напоминающая мать, говорит больше вздохами, восклицаниями, отрывочными

вопросительными фразами, радостными кивками головы: «ну, конечно... мы с вами знаем...» Вспоминаем нашу Москву. В Марии Михайловне, слава Богу, нет и тени злостной эмигрантщины. Она и в советской Москве чувствует, хоть и грешную, но всё же вечную Россию. После чая она садится за рояль и долго играет Скрябина, Медтнера, Калининкова. В моей душе поднимается мучительная тоска. Странно, тоска — голод, а всё же она насыщает душу.

Есть люди, остающиеся в памяти кинематографическими снимками: видишь их мелькающими в разнообразнейших образах. Но есть и иные, собирающиеся перед взором памяти в целостно-замкнутый облик. Таких людей становится всё меньше: оттого и в искусстве классический статуарный портрет, вскрывающий Божий замысел о человеке, всё более отесняется импрессионистическими моментальными зарисовками.

Мargarиту Кирилловну я не могу представить себе в движении, хотя особенно отчетливо помню ее очаровательную хозяйкою большого костюмированного бала. Вижу ее большую, несколько тяжеловатую, но всё же не рабствующую закону земного притяжения, фигуру или стоящую среди комнаты, или сидящую где-нибудь у стены на широком старинном диване. Руки ее спокойно сложены на коленях, или заняты длинной нитью тяжелого жемчуга. На ее, с формальной точки зрения, быть может, слишком высоких плечах, меховая накидка. Почему-то Margarита Кирилловна мне неизменно видится в серебристо-лиловых, в зеленовато-лунных тонах перламутровой гаммы. Писать портрет ее было бы лучше всего пастелью. Особенно живо вспоминаю замечательные глаза Margarиты Кирилловны. Подчеркнутая темными бровями чернь длинных ресниц придавала им в сочетании с синеватым отливом белка какую-то особую стальную переливчатость. Такие, типичные русские серые глаза бывают особенно хороши в гневе и скорби.

В Москве в свое время шли споры о серьезности духовных исканий Margarиты Кирилловны, о ее уме и о том, понимает ли она сложные прения за своим зеленым столом. Допускаю, что она не всё понимала (без специальной философской подготовки и умнейшему человеку нельзя было понять доклада Яковенко «Об имманентном трансцендентизме, трансцендентном имманентизме и дуализме вообще»), но уверен, что она понимала всех. В понимании самых разнообразных людей

и их, часто им самим еще невнятных устремлений, их тайных воль и новых правд и заключался, как мне кажется, главный дар Маргариты Кирилловны.

Издательница славянофильски-православного «Пути», она с сочувственным вниманием относилась и к нам, логосовцам. Помню, как мне удалось вызвать в ней симпатию к нашим замыслам указанием на то, что мы отнюдь не отрицаем ни Бога, ни Христа, ни православия, ни русской традиции в философии, а требуем только того, чтобы философы перестали философствовать одним «нутром». Нутряной “*style russe*”, отмененный Станиславским на сцене, должен исчезнуть и в философии. Философствовать без знания современной техники мышления нельзя.

Связав, так думается мне, мои мысли с не раз слышанными ею аналогичными мнениями Белого, которого она очень ценила, и других новаторов символистов, она вполне примирилась с нами. Между «путейцами» и «логосовцами» вскоре установились прекрасные отношения. Не знаю этого в точности, но думаю, что Маргарита Кирилловна, многое объединяя в себе, не раз мирила друг с другом и личных и идейных врагов.

Кроме членов правления «Религиозно-философского общества», к зеленому столу часто присаживались, как рядовые члены общества, так и видные гости. Их приглашал, а иной раз и насильно усаживал Григорий Алексеевич Рачинский, всегда по-хозяйски озабоченный оживленностью предстоящих прений.

Одно время большую роль в Соловьевском обществе, открытые заседания которого происходили не у Маргариты Кирилловны, а в больших городских аудиториях, играл некий Валентин Свентицкий. Вдохновенный оратор, Свентицкий производил необыкновенно сильное впечатление на аудиторию. Ораторство Свентицкого носило не только проповеднический, но и пророчески-обличительный характер. В этом ораторстве было и исповедническое биение себя в перси и волевой, почти гипнотический нажим на слушателей. Женщины, причем не только фетишистки дискуссионной эстрады, которых в Москве было довольно много, но и вполне серьезные девушки, сходили по Свентицкому с ума. Женщины его и погубили. Со слов Рачинского знаю, что до президиума Соловьевского общества дошли слухи, что на дому у Свентицкого происходят какие-то, чуть ли не хлыстовские исповеди-радения. Было назначено расследование и было постановлено исключить Свентицкого из членов общества.

Был ли он на самом деле предшественником Распутина, или нет, занимался ли он соборным духовоблудием, или вокруг него лишь сплелась та темная легенда, которая сделала невозможным его членство в обществе, я в точности не знаю. После того, как Свентицкий перестал появляться на религиозно-философских собраниях, я потерял его из виду. Должен сказать, что прочтенный мною впоследствии «Антихрист» Свентицкого произвел на меня впечатление не только очень интересной, но и очень искренней вещи. Драма его «Пастор Реллинг», написанная позднее, показалась мне вещью гораздо более слабой и искусственной, но всё же отмеченной большим талантом.

Одним из самых блестящих дискуссионных ораторов среди московских философов был Борис Петрович Вышеславцев, приват-доцент Московского университета, живущий ныне в Париже и работающий в секретариате женевской Экуменической лиги. Юрист и философ по образованию, артист-эпикурец по утонченному чувству жизни и один из тех широких европейцев, что рождались и вырастали только в России, Борис Петрович развивал свою философскую мысль с тем радостным ощущением ее самодовлеющей жизни, с тем смакованием деталей, которые скорее свойственны латинскому, чем русскому уму. Одетый в щегольскую визитку, он, говоря, держал свою мысль в высоко поднятой руке, словно некий диалектический цветок и, сбрасывая лепесток за лепестком, тезис за антитезисом, то и дело в восторге восклицал: «поймите... оцените...» Широкая московская публика недостаточно ценила Вышеславцева. Горячая и жадная до истины, отзывчивая на проповедь и обличение, она была мало чутка к диалектическому искусству Платона, на котором был воспитан Вышеславцев. У нас были среди большой публики весьма серьезные знатоки и ценители самых разнообразных явлений культуры от апокалипсиса до балета, но серьезных знатоков философии было немного даже среди профессиональных философов. Вероятно, это объясняется сравнительно невысоким уровнем научной философии. Ни Пушкина, ни Толстого, ни Тютчева, ни Мусоргского среди русских философов нет.

Не помню ни одного заседания в Москве, на котором не выступал бы Андрей Белый. Все выступления этого злосчастного почти гения, о котором речь еще впереди, раскрывали перед слушателями древне-библейский ландшафт: «земля же

была безводна и пуста и тьма над бездною и дух Божий носился над водою», и тем неизбежно хаотизировали всякую дискуссию.

Морозовский особняк в Мертвом переулке, строгий и простой, перестроенный талантливым Желтовским, считавшим последним великим архитектором Палладио, был по своему внутреннему убранству редким образцом хорошего вкуса. Мягкие тона мебельной обивки, карельская береза, придававшая городскому дому нечто помещичье-усадебное, продолговатая столовая по-музейному завешанная старинными иконами, несколько полотен Врубеля и ряд других картин известных русских и иностранных мастеров, прекрасная бронза “*empire*”, изобилие цветов — всё это сообщало морозовским вечерам, на которые собиралось иной раз до ста человек, совершенно особую атмосферу красоты, духовности, тишины и того благополучия, которое невольно заставляло забывать революционную угрозу 1905-го года.

Вспоминая с тоскою и нежностью предвоенную Москву, религиозно-философское общество, морозовские вечера, лекции и прения в редакциях и издательствах, я невольно спрашиваю себя: не преувеличиваю ли я значение исчезнувшей эпохи?

Германия до 1933-го года была полна всевозможных религиозных, философских, художественных и политических кружков. В каждом, более или менее значительном городе были общества имени Канта, Шопенгауэра, Фихте, Гете, Шиллера, Клейста, Моцарта, Вагнера и т. д. и т. д. За годы эмиграции я прочел в этих обществах более 300 докладов. Некоторые из этих обществ, как, например, “*Rap Eugora*” графа Куденгоф-Калерги или “*Kulturbund*” принца Рогана имели свои отделения почти во всех европейских странах. Читал я много и в венских и берлинских литературных салонах, где собирались образованнейшие и умнейшие люди. Не свидетельствует ли это богатство западно-европейской жизни, в конце концов, лишь о бедности и скудости русской духовности? Будь она так же богата, как европейская, мне вряд ли пришло бы в голову придавать такое большое значение скромным философским собраниям Москвы. Мой ответ, да простят мне его мои европейские, главным образом, мои немецкие друзья, вполне определен: нет, не свидетельствует. Скажу больше: более серьезной и напряженной духовной жизни я нигде не встречал.

Идя по стопам очень своеобразного и глубокого датского богослова Киркегара, немецкая философия 20-го века создала весьма существенное и распространенное ныне понятие «экзистенциальной» философии, наиболее значительными представителями которой являются Гейдеггер и Ясперс. Сущность положительной экзистенциальной философии заключается, говоря по необходимости несколько упрощенно, в обновлении весьма старого убеждения, что полнота истины открывается человеку не как отвлеченно мыслящему субъекту, а как целостно, т. е. религиозно, живущему существу. Ясперс так и формулирует: «То, что мы в мифических терминах называем душой и Богом, именуется на философском языке экзистенциальностью и трансцендентностью».

Сравнительно поздно окрепшая на Западе в борьбе с идеалистической метафизикой, экзистенциальная философия была в России искони единственною формою серьезного философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем мало оригинальных явлений университетского философствования, то можно будет сказать, что для русского мыслителя, как и для русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устроить жизнь. Не защищая тезиса экзистенциальной философии, русские философы всегда философствовали экзистенциально, т. е. всем своим существом и бытием бились над вопросами жизни, нудились царствием небесным и социальной правдою, что и придавало нашим прениям тот серьезный, существенный и духовно питательный характер, которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы.

Была и еще одна, не менее важная причина серьезности и напряженности русской духовной жизни. Она заключалась в том общем уважении, которым наука, искусство и даже театр пользовались в русском образованном обществе, в особенности, в кругах русской молодежи. Упорство, с которым дочери московской и петербургской знати (смотри «Записки революционера» Кропоткина), а впоследствии и «кухаркины дети» пробивали себе путь к высшему образованию, носило характер подлинного героизма. В своих воспоминаниях («Из моей жизни за 40 лет») Тейтель сообщает, что согласно Талмуду неуч «ам-огорец» не может попасть в царствие небесное. Наша молодежь рвалась к свету знания с такою силою, как будто ей было известно это учение. Правда, попав в универ-

ситет, в долгожданное царствие небесное, русские студенты обычно уже на втором курсе переселялись в тюрьмы. Измены избранному пути в этом переселении однако не было, так как они понимали науку не профессионально, не как методiku и технику обособленных сфер знания, а экзистенциально, существенно, как высшую духовную жизнь, как разрешение «роковых вопросов», как практику истины.

О тевневых сторонах интеллигентской и студенческой революционности я уже говорил и буду говорить еще много. Не надо однако забывать и о светлых: об одержимости всей русской интеллигенции платоновской верою, что политику должны делать философы. Низвержение монархии, которым заключилась Великая война, было ничем иным, как полную победою революционного университета над реакционными министерствами. В том, что низвержение монархии было, несмотря на участие в февральской революции всех слоев общества, в последнем счете всё же победою левой интеллигентской кружковщины, всё величие русской революции и всё несчастье русского народа. Окажись в победителях армия и земство, мы имели бы совершенно иную картину, быть может, менее значительную, но зато и бесконечно более отрадную.

Превратившись в последние годы своей жизни, если и не в большевика-коммуниста, то всё же в интеллигента-коммуноида, А. Белый весьма односторонне изобразил начало века, как эпоху разложения феодально-буржуазного общества. Конечно, не всё было благополучно в нашей старой жизни, но всё же нет сомнения, что наряду с процессом разложения в ней шли и очень существенные, созидательные процессы. Впоследствии, когда предвоенная эпоха будет тщательно изучена, с ясностью вскроется, что среди цветущих в январе ландышей морозовского особняка, а также и в редакциях «Мусагета», «Весов», «Пути» и «Софии» совершалась большая культурная работа. Основными темами этой духовной эволюции были: 1) возвращение русской интеллигенции в церковь, 2) протест возвращающихся против реакционно-синодального клерикализма, 3) восстание нового символического искусства против политизирующего просвещенства примитивного натурализма в литературе и живописи, 4) борьба студенчества и университетской доцентуры против кумовства и обывательщины опускающейся профессуры (тема, особенно тщательно разработанная Белым в первом томе его воспоминаний).

Многомотивный рисунок этой духовной революции осложнялся тем, что два первых течения, будучи в религиозно-философской плоскости возрождением славянофильства, по западнически призывали христиан к активному участию в политической жизни, доходя в лице Мережковского до требования христианизации революции; писатели же, поэты и художники новой западно-европейской формации, именовавшиеся в просторечии декадентами, со страстью защищали автономию искусства и требовали деполитизации духовной культуры. Эта разнонаправленность религиозно-философского и научно-художественного сознания отнюдь не нарушала, однако, единства нового культурного фронта, начавшего слагаться после 1905-го года. Их единство держалось борьбой за свободу личности и свободу творчества, за новую русскую, если и не подлинно христианскую, то всё же духоверческую культуру. В «Религиозно-философском обществе» видные философы боролись против свободоненавистничества победоносцевской традиции, в молодых же редакциях представители символизма свергали властную диктатуру натуралистически-публицистического творчества, от которого и в 20-м веке пахло писаревским «разрушением эстетики».

Трудность борьбы с косными московскими традициями я лично впервые почувствовал в разговоре с Лопатиным о магистерском экзамене. Тем же духом, вернее бытовым укладом, повеяло на меня и на первом же заседании «Психологического общества» в знаменитой круглой аудитории Московского университета. На интимных собраниях «Религиозно-философского общества» у Морозовой чай со всяческими к нему добавлениями полагался всем присутствующим. На публичных же заседаниях его никому не полагалось. В университете же чай с самого начала разносили лишь восседавшим за зеленым столом действительным членам общества, почтенным профессорам и заслуженным приват-доцентам. Нас же грешных, партизан вольнодумного заграничного философствования, обносили. Доклады читались здесь также всё больше людьми испытанной академической традиции. В прениях обычно первым выступал сам Лев Михайлович Лопатин. Тряся желтой от табака бородой, он давал всегда умный, всегда интересный, но далеко не всегда внимательный к чужому мнению, разбор доклада. Несчастьем были иные выступления популярного Челпанова, дельного профессора, но уж очень мало талантливого мыслителя. Отно-

нительно хорошо владея своими старыми мыслями, он решительно не понимал чужих и новых.

Враждебен всяким заграничным новшествам был и профессор права Вениамин Михайлович Хвостов, о котором поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский) рассказывал вполне серьезно, будто бы он исчислял прочитанную им научную литературу по аршинам. Возвращаясь с дачи, он торжественно объявлял: «А я, знаете ли, за дождливое лето три с половиною аршина прочел, славно поработал».

Когда в прениях выступала философская молодежь, старики смотрели на нее весьма снисходительно, когда же взрывался Белый, они переглядывались с явным сожалением: «Каким гениальным ученым был его отец, а вот что из сына вышло». Белый, как обо всем, так и о духе Московского университета писал, конечно, весьма гиперболически, тем не менее в его описании много верного. В политическом отношении Московский университет был много левее, чем в чисто научном. В известном смысле и он платил дань общеинтеллигентскому стилю русской культуры, в которой политическая прогрессивность часто сочеталась с культурной отсталостью. Всем сказанным до некоторой степени объясняется и тот факт, почему наш строго-научный философский журнал «Логос» был радушно встречен лишь группой московских символистов, объединенных Эмилием Карловичем Медтнером, братом известного композитора Н. Медтнера, вокруг организованного им издательства «Мусагет».

Деньги на свое издательство Медтнер привез из Германии. Имя щедрого немецкого ревнителя русской культуры им почему-то тщательно скрывалось, что естественно способствовало возникновению всяких толков и кривотолков. Затевая издательство, Эмилий Карлович думал не столько о себе, сколько о своем «гениальном» друге, Андрее Белом, революционному дарованию которого было трудно развертываться в рамках старотипных издательств. Одновременно Медтнера увлекала, конечно, и мысль о сближении русской и немецкой культур. Поклонник символического искусства Гете и Вагнера и сам теоретик символизма, Медтнер в глубине своей души, вероятно, верил, что ему удастся направить гениального, но сумбурного Белого по этому пути. Некоторое основание для такой надежды у него было: под влиянием своего старшего друга, Белый в 1916-м году писал, что «символизм германской расы приносит в мир новое зрение и новый слух». Цитируя

эти строки в 1930-м году, Медтнер подчеркивает, что близкое ему «русское символическое движение не надо смешивать с французским символизмом, так как, выросшее из русской поэтической традиции (Тютчев), оно осознает себя в поэтической символике Гете».

Лишь учитывая все эти обстоятельства можно понять, какой страшный удар нанес Белый Медтнеру своим внешне закованным в научную броню, но внутренне несправедливым и запальчивым ответом на его (Медтнера) размышления о Гете. (Андрей Белый: «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности». Ответ Эмилию Медтнеру на его первый том размышлений о Гете).

Разбирать сложный спор между Медтнером и Белым здесь так же неуместно, как не место вскрывать его частично личные причины. По существу вопроса еще много будут писать антропософы; о его психологических предпосылках — будущие биографы Белого и Медтнера. Думаю, что эти биографы, если они будут беспристрастны, выяснят, что в трагическом расхождении друзей, о котором Медтнер накануне своей смерти не мог говорить без непереносимой муки, был главным образом виноват Белый. Но вопрос вины не подлежит рассмотрению. В связи с основной темой моих воспоминаний ссора Медтнера и Белого интересует меня исключительно с точки зрения разноструктурности их сознаний и их бессознательностей. Медтнер и думал и жил в категории исторической преемственности, был, если не в политическом, то в культурном смысле, человеком «алтаря и трона». Белый витал над историей. Его пророческое сознание жило космическими взрывами и вихрями. Медтнер, как теоретик искусства и культуры, всю жизнь страстно защищал музыкальный традиционализм своего брата, не приемля Скрябина последней эпохи. Творчество Белого — сплошной экстаз прометеевского посягательства на догматы и каноны культурно-исторического сознания. Ясно, что при таких противоположных ощущениях и убеждениях Медтнер мог быть лишь временным руководителем начинающего Белого, но не его творческим собратом и попутчиком. Вера в возможность общего пути и совместной работы была поэтому лишь заблуждением их субъективных сознаний. В плане объективного духа они были рождены для борьбы и даже для вражды. Вдумываясь в конфликт Медтнера с Белым и стараясь выяснить себе почему Медтнер, на смерть раненый изменой друга, не осилил ответа на нападение и замолчал, не-

вольно приходишь к мысли о глубоком символическом значении горькой медтнеровской растерянности: ведь и консервативная Европа до сих пор не нашла ответа на большевицкую революцию.

Редакция «Мусажета», обставленная с непривычной для русского издательства роскошью, помещалась во втором этаже небольшого, кирпичного флигелька, как раз против памятника Гоголю. В особо памятную мне зиму 1911/12-го года Эмилий Карлович жил на даче и приезжал в Москву всего только два раза в неделю. Быстро сбросив в передней свою нарядную шубу с громадным скунсовым воротником и обшлагами, он, овеянный бодрим деревенским воздухом и исполненный своих уединенных дум о Гете, Вагнере и Ницше, стремительно влетал в небольшой оливкового цвета кабинет и, потирая красные от мороза руки, деловито опускался в свое редакторское кресло под большим портретом Гете. В ту же минуту из-за своего новенького письменного стола, помещавшегося в соседней комнате, вставал заведующий издательством Александр Мелентьевич Кожебаткин и с туто набитым рукописями, корректурами и образцами бумаг портфелем, сутуло и хмуро направлялся к редактору. Начиналось горячее, но не очень профессиональное обсуждение дел, во время которого Кожебаткин, талантливый делец «себе на уме», успешно притворявшийся тонким ценителем современной поэзии и старинной мебели, ловко втирал очки великолепному Медтнеру.

Я не знаю, какую сумму истратил «Мусажет» за три или четыре года своего существования, но я уверен, что по сравнению с тем, что он сделал — очень много. И это немудрено, так как дело велось, в конце концов, не Медтнером и даже не Кожебаткиным, а совсем уже неопытным в практических делах приятельским кружком писателей, который постоянно менял свой состав, из вечера в вечер чаевничал в «салоне» редакции за большим круглым столом, под портретами Пушкина и Тютчева.

Каждый член этого кружка молодых писателей, поэтов, ученых, переводчиков исходил при обсуждении мусажетских дел из своих личных, мистических, гностических, или антропософских интересов и вкусов, с которыми редакция по своему мусажетскому идеализму, своей доброте, да и всему положению дела не могла не считаться. Так выросла программа исключительная по своему культурному уровню, но и исключительная по своей бюджетной нежизнеспособности.

Студент Нилендер, восторженный, ласковый юноша, со священным трепетом трудился над переводом гимнов Орфея и фрагментов Гераклита Эфесского. Маститый Вячеслав Иванов готовил большую книгу об «Эллинской религии страдающего бога» и попутно перелагал на русский язык «Гимны ночи» Новалиса. Застенчивый, как девушка, очаровательно заикающийся Алексей Сергеевич Петровский, служивший в библиотеке Румянцевского музея, самоотверженно переводил «Аврору» Якова Беме; медленный долговязый Сизов, студент-филолог с красивыми пристальными глазами — «Одеяние духовного брака» Рейсбрука; Маргарита Васильевна Волошина-Сабашникова — Мейстера Эккхардта; Николай Петрович Киселев, ученый книголюб, «любитель фабул, знаток, быть может, инкунабул», кропотливо трудился над переводом и комментариями провансальских лириков XII и XIII веков.

Наряду с этой ученой переводческой работой над расширением и углублением базы русского культурного сознания, в Мусагете сразу же началась теоретическая разработка эстетических и историософских вопросов. Как бы в качестве манифеста нового искусства вышел «Символизм» Андрея Белого — книга вулканическая, во многих отношениях гениальная, богатая идеями и прозрениями, но за исключением статей о ритме, невнятная и в деталях неточная. Вскоре после «Символизма» появились «Арабески» и «Луг зеленый» того же Белого, сборники импрессионистических статей и литературных портретов.

Вопросы музыкальной эстетики разрабатывал, как я уже отмечал, Медтнер. Седой «юноша» Рачинский, чаще других забегавший в «Мусагет» поболтать и попить чайку, редактировал перевод известной книги скульптора Гильдебранда «Проблема формы в изобразительном искусстве». Бодлериянец Эллис (Лев Львович Кобылинский), чистопородный “bohémien” и благороднейший скандалист, носивший по бедности под своим изящным сюртуком всего только одну манишку, раскрывал сгедо своего символизма в книге, посвященной характеристике его главных вождей, Бальмонта, Брюсова и Белого, и в сборнике стихов “Stigmata”. И статьи и стихи Эллиса были, конечно, талантливы, но не первозданны. Настоящий талант этого странного человека, с красивым мефистофельским лицом, в котором тонкие, иронические губы «духа зла» были весьма негармонично заменены полными красными губами вампира, заключался в ином. Лев Львович был совер-

шенно гениальным актером-имитатором. Его живые портреты не были скучно натуралистическими подражаниями. Остроумнейшие шаржи, они в большинстве случаев не только разоблачали, но иной раз и казнили имитируемых людей. Эллис мусagetского периода был прозорливейшим тайновидцем и иступленнейшим ненавистником духа благообразно-буржуазной пошлости. Крепче всего доставалось от Эллиса наиболее известным представителям академического и либерально-политического Олимпа. Верхом остроумия были те речи, которые Эллис вкладывал в уста своих жертв, заставляя их зло издеваться над самими собою.

В третьем томе своих воспоминаний Белый нарисовал и Петровского, и Сизова, и Киселева, и Эллиса активными революционерами. Так как я в 1905-м году был еще за границей, то не берусь судить насколько он прав. Лично я первых трех на баррикадах себе никак не представляю. Случайно попасть на них, конечно, могли и они — кто не попадал. Другое дело Эллис — прирожденный якобинец, смиривший себя впоследствии принятием католичества и вступлением в орден бенедиктинцев.

Печатался в Мусагете, если не ошибаюсь, как раз в описываемые годы и Сергей Михайлович Соловьев, племянник знаменитого философа, принявший впоследствии сан священника. В «Первом свидании» Белый посвятил своему другу следующие полушуточные строки:

«Сережа Соловьев — ребенок,
Живой, смысленный ангеленок.
Над детской комнатой своей
Восставши рано из пеленок,
Роднею соловьевской всей
Он встречен был как Моисей.
Две бабушки, четыре дяди,
И, кажется, шестнадцать тетъ,
Его выращивали пяди,
Но сохранил его Господь:
Трех лет, ну, право же, ей-Богу,
Трех лет (скажу без лишних слов)
Трех лет ему открылся Логос,

Шести — Григорий Богослов,
 Семи — словарь французских слов.
 Перелагать свои святыни
 Уже с четырнадцати лет
 Умел он в звучные латыни,
 Он вот — провидец и поэт».

Кроме почти ежедневных, то послеобеденных, то вечерних сборищ основного ядра сотрудников, в «Мусагете» изредка устраивались и открытые вечера, на которые собиралось человек до пятидесяти, а может быть, и больше. «Сквозною темою» всех этих дискуссионных сборищ был «кризис культуры».

В таких торжественных случаях редакционный слуга Дмитрий, человек душевный, но суровый, напоминавший сверхсрочного фельдфебеля, встречал гостей с особой важностью и, разнося стаканы с крепким чаем и бисквитами, надевал даже белые нитяные перчатки.

Не только описать, но даже перечислить всех людей, с которыми приходилось встречаться на вечерах в Мусагете, невозможно. Кроме уже упомянутых вождей и ближайших сотрудников молодого издательства, на вечерах его постоянно бывали: Михаил Осипович Гершензон, маленький, коренастый, скромно одетый человек клокочущего темперамента, но ровного, светлого, на Пушкине окрепшего духа, быть может, лучший знаток русской литературы и философии конца XVIII-го и начала XIX-го веков; смолоду «мудрый, как змий» Ходасевич, человек без песни в душе и всё же поэт Божьей милостью, которому за его святую преданность русской литературе простятся многие прегрешения; Борис Садовской (не дай Бог было назвать его Садовским — ценил свое дворянство), талантливый автор стихов о самоваре и сборника тщательно сделанных литературных статей «Камена», очень изящный, лет на 80 запоздавший рождением человек, — бритым лицом, безволосым черепом и старомодно-торжественным скрутком, живо напоминавший Чаадаева; два страстных русских италофила Муратов и Грифцов; армянская поэтесса Мариэтта Шагинян, дебютировавшая сборником стихов под заглавием «Orientalia»; belle-soeur Федора Сологуба — Чеботаревская, переводившая под редакцией Вячеслава Иванова «Серафиту» Бальзака, красивая, на прямой ряд гладко причесанная девуш-

ка с густыми «соболиными» бровями и тонким профилем античной камеи, вокруг которой всегда вращалось много поклонников (впоследствии узнал, что она, как и ее сестра, покончила жизнь самоубийством).

Вспоминая писателей, посещавших мусагетовские собрания, не могу не остановиться подробнее на Марине Цветаевой, выпустившей в 1912-м году, при содействии Кожебаткина, вторую книжечку своих стихов под названием «Волшебный фонарь».

Познакомился я с Цветаевой ближе, впервые по настоящему разговорился с нею, в подмосковном имении Ильинское, где она проводила лето. Как сейчас вижу идущую рядом со мной пыльным проселком полу-девочку с землисто-бледным лицом и тусклыми, слюдовыми глазами под желтоватую челкою, в которых временами вспыхивают зеленые огни. Одета Марина кокетливо, но неряшливо: на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы, или так просто — красота, которую приятно иметь перед глазами. Говорим о романтической поэзии, о Гете, о мадам де-Сталь, Гельдерлине, Новалисе и Беттине фон-Арним. Я слушаю и не знаю чему больше удивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости.

Было, впрочем, в марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное, некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гете, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево. Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие природные поэты, каких становится всё меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и мало приятным законам.

Осенью 1921-го года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было какое-то затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку

босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни, о трудности хоть как-нибудь прокормить своих двух дочерей. Мне было страшно слушать ее, но ей было не страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. «О, с Пушкиным ничто не страшно». Идя со мною к Никитским воротам она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры.

Даже и зимой, несмотря на голод и холод, она ночи напролет читала и писала стихи. О тех условиях, в которых Цветаева писала, я знал от ее belle-soeur. В мансарде 5 градусов Реомюра (маленькая печурка, так называемая «буржуйка», топится не дровами, а всяким мусором, иной раз и старыми рукописями). Марина, накинув рваную леопардовую шубенку, сидит с ногами на диване; в черной от сажи руке какая-нибудь заветная книжка, страницы которой еле освещены дрожащим светом ночника:

О, Begeisterung, so finden
Wir in dir ein selig Grab,
Tief in deine Wogen schwinden
Still frohlockend wir hinab.

Ныне во всем мире и в особенности в Советском Союзе выше всего превозносят «героев труда». К счастью для России, в ней никогда, даже и в самый страшный период большевизма, не переставали трудиться герои творчества. Среди них одно из первых мест принадлежит Марине Цветаевой, вывезшей из Советской России свой сборник «Ремесло». Путь, пройденный Цветаевой, как поэтом, еще никем не измерен и никем по достоинству не оценен. В будущем по нему будут изучать не только эволюцию русской поэтики и поэзию русской революции, но также и социологию парижской эмиграции. Боже, до чего горьки, горды, до чего глубоки, как по своему метрическому, так и по своему метафизическому дыханию последние стихи Цветаевой, напечатанные в «Современных Записках»:

«Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все равны, мне всё равно
И, может быть, всего равнее

Роднее бывшее всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло.
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек,
Родимого пятна не сыщет.

Всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге куст
Встает, особенно рябина...

Да рябина... Возвращаясь сегодня утром к себе домой рябиновой аллеей (к счастью, есть и в Дрездене такая близкая душе, горькая своей осенней красотой аллея), я с нежностью вспомнил нашу дореволюционную Россию: до чего же она была богата по особому заказу скроенными и сшитыми людьми. Что ни человек — то модель. Ни намека на стандартизованного человека западно-европейской цивилизации. И это в стране монархического деспотизма, подавлявшего свободу личности и сотнями бросавшего молодежь в тюрьмы и ссылки!

Какая в этом отношении громадная разница между царизмом и большевизмом, этой первой в новейшей истории фабрикой единообразных человеков. Очевидно, государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и о новом человечестве. При всем своем деспотизме, царская Россия духовно никого не воспитывала и в духовно-культурной сфере никому ничего не приказывала. Эта роль была ей и не под силу. Отдельные анекдоты не в счет. В качестве такого, ныне уже милого анекдота, вспоминается мне лекция Андрея Белого об Египте. Как только Белый, говоря о пирамидах и фараонах, назвал Рамзеса Второго, присутствовавший представитель власти встал и внушительно попросил имени фараона не называть. Фараон всё-таки царь, это он, вероятно, помнил из курса Закона Божия, а Рам-

зес Второй, быть может, только псевдоним Николая Второго: кто его знает — лектора говорят темно и увертливо.

Самою яркою фигурою в редакции Мусажета был, бесспорно, Андрей Белый. Особенно озлобленные недоброжелатели Бориса Николаевича часто называли его паяцем: «всё-де в нем нарочито, руки попросту не подаст, на кафедре держается, как Петрушка». Простоты, правда, в Белом не было, но не было в нем и нарочитости: он был скорее юродивым, чем поэром.

В описываемые годы московской жизни Белый с одинаковой страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Помню его не только на заседаниях Религиозно-философского или Психологического обществ, не только в особняке Морозовой и в «Мусажете»; но также на уютных вечерних беседах у Гершензона, в редакции «Скорпиона», на концертах Олениной д'Альгейм, в гостиной Астрова, где, сильно забирая влево, он страстно спорил с «кадетами» и земцами, на антропософских вечерах у Харитоновой и, наконец, в глубоких подмосковных снегах на полуправильных собраниях толстовцев, штундистов, реформаторов православия и православных революционеров, где он всё с тою же иступленностью витанцевывал, выкрикивал и выпевал свои идеи и видения.

Перечислять темы, на которые говорил в те годы Белый и невозможно и ненужно. Достаточно сказать, что его сознание подслушивало и подмечало всё, что творилось в те канунные годы, как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Чего бы однако ни касался Белый, он по существу всегда волновался одним и тем же: всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни, грядущей революцией европейского сознания, «циркулирующим» по России «революционным субъектом», горящими всюду лесами, расплывающимися оврагами; в его сознании все мелочи и случайности жизни естественно и закономерно превращались в симптомы, символы и сигналы.

Гениальнее всего бывал Белый в прениях. Он, конечно, не был оратором в духе Родичева или Маклакова. Как в Думе, так и в суде он был бы невозможен: никто ничего бы не понял. Но говорил он всё же изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхал зарницами неожиданнейших мыслей. Своею ширококрылою ассоциацией он в вихревом полете речи молниеносно связывал во всё новые парадоксы казалось бы никак несвязуемые друг с другом мысли. Чем вдохновеннее

он говорил, тем чаще логика его речи форсировалась фонетикой слов: ум превращался в заумь, философская терминология — в символическую сигнализацию. Минутами прямой смысл почти совсем исчезал из его речи, но несясь сквозь невнятицы, Белый ни на минуту не терял своего изумительного, словотворческого дара.

Надо отдать справедливость Белому, в самые мертвые доклады его «слово» вносило жизнь, самые сухие понятия прорастали в его устах, подобно жезлу Ааронову. Одного только никогда не чувствовалось в выступлениях поэта — постоянства и библейской «тверди». Более изменчивое и неустойчивое сознание мне в жизни не встречалось. Чего только Белый за свою, слишком рано угасшую, жизнь не утверждал как истину, чему только он не изменял. В молодости он утверждал марксизм и даже ездил в Ясную Поляну защищать его против Толстого. От Маркса он перебрался к Канту, но его кантианство очень скоро окончилось запальчивою полемикой против неокантианцев. Вырвавшись из тисков неокантианской методологии, Белый на короткое время с головою ушел в мистику, но испугавшись мистической распутицы, стал тут же твердить, что лишь христианское «отвердение» мистики может спасти душу от космической хляби и душевной расхлябанности: в это время он писал статьи против музыки, размагничивающей волю и убивающей героический порыв в глубоком кресле партера. Христианству Белый изменил однако еще быстрее, чем мистике: его религией оказалось штейнерианство, т. е. своеобразная смесь наукообразного рационализма с вольноотпущенной бесцерковной мистикой. В последнем произведении Белого, в его автобиографии, штейнерианства однако уже не чувствуется: всеми своими утверждениями Белый твердит, что его исконною и пожизненною твердью была революционность.

В идеологическом плане это утверждение отчасти самообман, отчасти вынужденное приспособленчество; но в чисто психологическом плане последнему автопортрету Белого нельзя отказать в некоей убедительности: если центральным смыслом всякой революции является взрыв всех тех смыслов, которыми жила предшествовавшая ей эпоха, то Белого, жившего постоянными взрывами своих только-что провозглашенных убеждений, нельзя не признать типичным духовным революционером.

Таким я его впервые ощутил в вечер чтения им в «Мусегете» первых глав «Петербурга». Читал Белый свой роман, в

котором зловещим кошмаром надвигаются на читателя все существенные темы и образы будущего («период изжитого гуманизма заключен»... «наступает период здорового варварства»... «пробуждается сказание о всадниках Чингисхана»... «распоясывается семито-монгол»... «масса превращается в исполнительный аппарат спортсменов революции»... «великое волнение будет»... «прыжок над историей будет»...), совершенно замечательно. Магия его чтения была так сильна и принудительна, что все мы буквально вдыхали в себя те гнило-стно-лихорадочные туманы Петербурга, под прикрытием которых в романе «циркулирует революционный субъект», разжигая мечты, разнося темные слухи, взводя курки и начиняя бомбы...

Сблизился я со всем мусagetским кругом, прежде всего, как редактор задуманного нами еще во Фрейбурге философского журнала «Логос», который после многих трудов и при весьма недоброжелательном к нам отношении со стороны маститых московских философов, удалось, в конце концов, устроить в «революционном» Мусагете.

Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтой послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому течению русской мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом, религиозное, исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на Западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов, как попытки отравления религиозной целостности русской мысли критическим ядом западнического рационализма.

Живо помню, как вскоре после выхода в свет первого номера журнала, который я принял из рук Кожебаткина с таким же незабвенным трепетом, с каким в 16 лет услышал первое признание в любви, а в 28 — первый раскат австрийской артиллерии, я спорил на эту тему с Н. А. Бердяевым в уютной квартире сестер Герцык, пригласивших нас к себе после какого-то доклада.

Евгению и Аделаиду Герцык я знал еще с фрейбургских

времен. Принадлежа к тем замечательным русским женщинам, которые всю жизнь горячо и бескорыстно служат истине, сестры Герцык, очевидно, хотели сблизить меня со своим старым другом. Мне было 26 лет — Николаю Александровичу 36. Он был уже известным писателем, мною была опубликована только еще одна статья в «Русской мысли»: «Немецкий романтизм и русское славянофильство». Силы были неравные, но спорили мы одинаково горячо: с преклонением перед истиной, но без снисхождения друг к другу, не дебатировали, а воевали. Мастер радикальных формулировок, Бердяев в тот вечер впервые ярко осветил мне последнюю сущность всех расхождений между «Логосом» и «Путем». «Для вас — напал он на меня — религия и церковь проблемы культуры, для нас же культура во всех ее проявлениях внутрицерковная проблема. Вы хотите на философских путях притти к Богу, я же утверждаю, что к Богу притти нельзя, из Него можно только исходить: и лишь исходя из Бога можно притти к правильной, т. е. христианской философии».

Прекрасно помня бердяевскую атаку, я не помню своей защиты. Помню только, что защищаться было трудно. Бердяев увлекал меня силой своей интуитивно-профетической мысли, но и возмущал той несправедливостью и тою неточностью, с которыми он говорил о моих тогдашних кумирах, о Канте, Гегеле, Риккертe и Гуссерле.

Охваченный пафосом свободы (он только что выпустил свою «Философию свободы»), он с непонятным для меня самоупорством превращал кантианство в «полицейскую философию», риккертанство — в проявление «индусского отношения к бытию» (тема впоследствии развита Андреем Белым в «Петербурге»), Гегеля, которого мы читали, как мистика — в «чистого рационалиста».

С годами я глубже сжился со стилем бердяевского философствования, но в свое время он не только восхищал меня вдохновенностью своей проповеди, но и оскорблял своею неточностью.

Сами, философствуя «от молодых ногтей», мы тем не менее были твердо намерены постричь волосы и ногти московским нео-славянофилам. Всё это дело прошлого, а потому в своих грехах не стыдно и покаяться. Не скажу, чтобы мы были во всем неправы, но уж очень самоуверенно принялись мы за формирование стиля русской философии.

Войдя в «Мусагет», мы почувствовали себя дома и с радостью принялись за работу. С «Мусагетом» нас объединяло стремление духовно срастить русскую культуру с западной и подвести под откровение русского творчества солидный, профессионально-технический фундамент.

Основной вопрос «Пути» был — «как веруеши», основной вопрос «Мусагета» — «владеешь ли своим мастерством?». В противоположность Бердяеву, презиравшему технику современного философствования и не желавшему ставить «ремесло в подножие искусства», Белый, несмотря на свой интуитивизм, со страстью занимался техническими вопросами метрики, ритмики, поэтики и эстетики. Это, естественно, сближало его с нами — гносеологами, методологами и критицистами. К тому же Белый и сам ко времени нашего сближения с Мусагетом увлекался нео-кантианством, окапываясь в нем, как в недоступной философскому дилетантизму траншее, кичился им, как признаком своего серьезного отношения к науке, чувствуя в этой серьезности свою связь с отцом, настоящим ученым, философом-математиком.

Поначалу наша работа в «Мусагете» пошла было очень дружно. Когда «студийная» молодежь «Мусагета» разбилась на группы для изучения вопросов искусства, я взял на себя руководство секцией по вопросам эстетики. Принимали мы с Яковенко деятельное участие также и в обсуждении очередных номеров небольшого мусагетского журнала «Труды и дни». Журнал этот задумывался как интимный художественно-философский дневник издательства, но придать ему живой, артистический характер не удалось. Книжечки выходили довольно случайными, а подчас и бледноватыми.

Мир и любовь между символистами, т. е. Белым и нами, философами-критицистами, длились однако недолго. В третьем томе своих воспоминаний Белый сам рассказал о том, как охладев к Канту и нео-кантианству, он при поддержке Блока настоял на том, чтобы Медтнер не возобновлял с нами контракта. К счастью, нам удалось сразу же устроить журнал в известном петербургском издательстве М. О. Вольфа. То, что нас приютила столь солидная издательская фирма, заинтересованная в первую очередь в доходах и вполне чуждая всяких меценатских амбиций, было для нас большим удовлетворением, доказательством того, что за два года работы мы сумели встать на ноги и завоевать себе определенное положение не только в культурной России, но и на книжном рынке.

Несмотря на эту удачу, разрыв с «Мусаетсэм» был для нас большим душевным ударом, хотя лично я и признавал, что в сущности Белый и Медтнер правы. Наши громоздкие кирпичи, наполовину наполненные хотя и тщательно переведенными, но всё же ужасными по языку статьями, перегруженные обширным библиографическим отделом и, как бахрамою, обвешанные подстрочными примечаниями, не только по содержанию, но и стилистически мало гармонировали с устремлениями «Мусаета».

Тему сближения русской и западно-европейской мысли, а также и тему профессионально-научного углубления русской философии, можно было разрабатывать и в иной, более близкой «Мусаету» форме, примерно так, как Вячеслав Иванов разрабатывал в своих статьях о символизме поэтику Гете; но мы, по составу нашей редакции и в особенности по кругу наших знаменитых заграничных сотрудников, делать этого не могли. Впрочем, если бы и могли, это вряд ли предупредило бы наш разрыв с «Мусаетом». Не играй Белый в «Мусаете» первой скрипки, мы, может быть, и прижились бы в медтнеровском издательстве, но с Белым ужиться было нельзя. Несмотря на свою полутатавистическую (профессорский сын) любовь к культуре, методологии и ремесленному профессионализму, Белый ненавидел всякое культуртрегерство и часто издевался над ним. «Культура — трухлявая голова, в ней всё умерло, ничего не осталось; будет взрыв: всё смоемся». Эта тема своеобразного культурного иконоборчества была нам, логосовцам, не только чужда, но и враждебна, как, впрочем, и многим мусаетчикам. Созвучна она была, если верен мой слух, больше всего Бердяеву.

В глазах широкой читательской публики, отчасти даже и критики, такой же «православный нео-славянофил», как и остальные путейцы, Бердяев всегда представлял собою явление совершенно особого порядка. Конечно, о Бердяеве нельзя сказать, как о Белом, что он всю жизнь носился по безбрежным далям своего одинокого я. Во всем, что писал и проповедывал Николай Александрович, всегда чувствовалась укорененность в мистически-реальном опыте и устремленность к его христианскому осознанию. Общим у Бердяева и Белого было, пожалуй, лишь их пророческое ощущение начавшейся смены эпох. «Что-то в мире происходит... кто-то хочет появиться... кто-то бродит». Затаенная тревога этих блоковских слов мне всегда слышалась в писаниях и выступлениях как Белого, так и Бердяева.

Оба «хотящему появиться» не противились, так как оба не были людьми органически укрепленными в прошлом. Сказанное мною в статье-некрологе о Белом: «он был существом, обменявшим корни на крылья», в известном смысле относится и к Бердяеву. Славянофилам, которых Бердяев в своей книге о Хомякове противопоставляет Соловьеву как людей крепких земле и традиционной вере, он по своему психологическому типу был так же чужд, как Белый по стилю своего творчества Толстому или Лескову. Лишь раз в «Серебряном голубе» попытался было Белый изобразить старую помещичью Россию, но не изобразил: дал не живую, хотя бы и стилизованную картину разлагающегося быта, а причудливую орнаментальную фреску с умелым использованием декоративных мотивов усадьбы, церкви и села. Предметно дана в «Серебряном голубе» только революция.

Как в искусстве Белого, так и в философии Бердяева нет ни плоти, ни истории. И всё же Бердяев не раз вернее наших почвенников и фактопоклонников предсказывал повороты событий. Объясняется это тем, что, начиная с 1789-го года в Европе неустанно крепла лишь одна традиция — традиция революции, почему почвенники 19-го столетия и оказались к началу 20-го в воздухе, а революционеры с почвою под ногами.

Одним из первых «добрых европейцев» покинул Бердяев задолго до войны 1914-го года духовную родину нашего поколения, либерально-гуманитарную культуру 19-го века; одним из первых почувствовал он, что та жизнь, которою жили наши отцы и деды, которою жили и мы, приходит к концу, что наступает новая эпоха: безбожная, духоненавистническая, атеистическая, но в то же время творческая и жертвенная, во всем радикальная, ни в чем не признающая постепенности, умеренности и срединности, та эпоха, о которой Маяковский впоследствии скажет в своем акафисте черту:

«Провалились все середины,
Нету больше никаких средин».

Морализирующее отношение к истории, конечно, неправильно. Так как не только всё великое, но даже и святое неизменно выросло из таинственного сотрудничества добра и зла: исторически ведь и Христос неотделим от Иуды. Я это всегда понимал и тем, что Ницше назвал «моралином», никогда

не грешил. Тем не менее меня всегда мучила та страстность, с которою Бердяев «профетически» торопил гибель испытанного прошлого и выкликал из тьмы неизвестно еще чем чреватое будущее. Философия Бердяева была всегда максималистична. В противоположность во многом близкому ему по духу Соловьеву, он недооценивал относительных ценностей: право было для него в некотором смысле «могилою правды», законность — фарисейством, гносеология — болезнью бытия.

Для Бердяева характерно, что рано отрекшись от теории экономического материализма, он навсегда удержал в своем философском хозяйстве понятие буржуазности. Борьба против духовной буржуазности одна из центральных тем бердяевского творчества. Эта борьба роднит его с Ницше, к которому он искони влекся, как к пророку назревающего кризиса буржуазной культуры и которому временами слишком легко прощал его ненависть к христианству.

Вспоминая довоенную Москву в свете современных событий, я не в силах подавить в себе ощущения, что философия Бердяева, как и искусство Белого, были своеобразным «небесным прологом» столь же великой, как и страшной русской революции.

То же самое можно было бы, пожалуй, сказать только еще о Блоке, если бы Блок был не только жертвой своей эпохи, не только ее открытою, кровоточащею ранюю, но и ее провозвестником и вождем.

Федор Степун.

ТЕАТР ИМЕНИ ВАХТАНГОВА*

Как-то раз, весной 1931 года, я пошел в театр имени Вахтангова посмотреть «Коварство и любовь».

Я помню этот спектакль так, как будто я его видел вчера.

Двери зрительного зала закрываются наглухо. Свет гухнет. Вот он уже совсем потух. Потухли и огни рампы. Наконец, гаснут красные огни над выходами из зала и лампочки на пультах дирижера и музыкантов. На несколько секунд в зале воцаряется абсолютная темнота — такая темнота, в которой теряется всякое ощущение пространства. Полная тишина. Зал замер в ожидании.

Внезапно перед глазами возникает ослепительный серебряный круг — нечто вроде огромного экрана диаметром в полную ширину и высоту сцены. Круг сверкает и переливается отраженным светом.

В самом центре круга стоит маленький человек с большой шевелюрой седых волос. На нем коричневый камзол, белые чулки и черные башмаки с пряжками. И внешностью и костюмом он напоминает кого-то из великих немецких композиторов-классиков — но напоминает неясно, неопределенно. Может быть, Бетховена, может быть, Генделя или Баха. Непонятно только как он стоит в самом центре блестящего серебряного круга, похожий на изящный рисунок на старинной саксонской фарфоровой тарелке огромного размера. Может быть, это только проекция волшебного фонаря на экран? Может быть, это начало какого-то цветного кинофильма? Нет, это не волшебный фонарь и не фильм. Это стоит живой актер. Вот он взмахивает палочкой и раздается прекрасная торжествующая музыка. Актер дирижирует великолепно — как настоящий большой дирижер. Звучат валторны и тромбоны — к ним присоединяются трубы, — звучат все выше, все напряженнее. Вот вступает весь оркестр. Звуки ширятся и, наконец, постепенно успо-

*) Эту главу из книги Ю. Б. Елагина, вышедшей по-английски в переводе Н. Вредена, в издательстве E. Dutton, под заглавием "Taming of the Arts", мы печатаем с любезного разрешения издательства. Настоящая глава печатается нами по присланному нам автором русскому тексту. Ред.

каиваются. Рождается прекрасная волнующая мелодия. Серебряный круг начинает медленно тухнуть. Мелодия переходит в соло виолончели. Серебряный круг исчез. Виолончель продолжает звучать серьезно и спокойно. Играет превосходный артист. Круг зажигается вновь неярким светом. В нижней, левой его части видна декорация скромной комнаты. За пультом сидит тот же старик-музыкант в коричневом камзоле и белых чулках. Сейчас, вместо дирижерской палочки, у него в руках виолончель. Он что-то играет. Это старый музыкант Миллер, одно из главных действующих лиц трагедии Шиллера «Коварство и любовь».

Так начинался этот спектакль в театре имени Вахтангова в Москве.

В самом же конце спектакля, когда герой и героиня трагедии умирают от яда, вновь, как и перед началом, тухнут все огни в зрительном зале и опять внезапно загорается ослепительным светом серебряный круг. В центре опять стоит старый музыкант Миллер, а у его ног лежат трупы его любимой дочери и ее возлюбленного. На лице старика неопишущий ужас и беспредельное отчаяние. Сюртука на нем нет, ворот рубашки расстегнут. Он взмахивает руками и опять звучат первые фанфары. Теперь они звучат трагически и безнадежно. Отчаяние старого дирижера переходит в гнев. В бессильной ярости грозит он кулаками невидимым врагам. Здесь вспомнил я жест Бетховена, погрозившего кому-то кулаком на своем смертном одре. Но ярость старика снова сменяет безысходное, беспредельное отчаяние. Он закрывает лицо руками, сотрясаясь от немых рыданий. Серебряный круг исчезает. В зале зажигается свет...

Интересно, что этот спектакль (он был поставлен примерно за год до того, как я его увидел) вызвал чрезвычайно неблагоприятные отзывы у партийной советской критики, и именно в отношении его был тогда применен впервые знаменитый ныне термин «формализм». Но в те времена управление искусством было еще далеко от полной тоталитаризации, а мнения газет не являлись приказами. Спектакль продолжал идти и пользовался огромным успехом у москвичей.

Мной овладело одно единственное желание — во что бы то ни стало поступить в театр имени Вахтангова, самый музыкальный из лучших московских драматических театров. Примерно через полгода я узнал, что в оркестре этого театра освобождается место помощника концертмейстера. Я подал заявление, выдержал конкурс и был принят. Желание мое исполнилось. 1-го октября 1931-го года я стал «вахтанговцем».



На стене большого желтого фойе театра имени Вахтангова, в строгой раме красного дерева, висит портрет мужчины лет 35-ти. Черты его несколько нервного лица свидетельствуют об остром, живом уме и о сильной воле. Линия подбородка энергична, но изящна. Красивые темные глаза смотрят открыто и прямо. В прическе, в покрое костюма, в галстук, повязанном свободно, но не небрежно, видны благородство, сдержанность и очарование безупречного вкуса.

Это Евгений Багратионович Вахтангов — один из самых замечательных театральных режиссеров нашего времени.

Станиславский был мудр, обаятелен и глубок. Мейерхольд — блестящий новатор и выдумщик формы — был сатиричен и остер. Таиров — музыкален и изящен. Вахтангов соединял в себе все эти качества.

Я не имел счастья знать лично этого человека. Он умер в начале 1922 года — всего лишь через несколько недель после официального открытия его собственного театра-студии.

Но в течение всех лет моей работы в театре его имени, меня окружали воспоминания о нем, разговоры о нем, рассказы о нем его любимых учеников и последователей. И невозможно было в стенах созданного им театра не чувствовать постоянно, в нашей повседневной работе, его образа художника, его творческих желаний, мыслей и идей. Когда в нашем театре что-нибудь удавалось, когда режиссер, актер или композитор находили талантливое, яркое, интересное в своем творчестве, то говорили — «Евгений Багратионович был бы рад...» Когда что-нибудь не получалось, говорили: «...это не понравилось бы Евгению Багратионовичу...»

До чего велик был творческий импульс, который этот человек вдохнул в свой небольшой коллектив еще совсем зеленой, неопытной молодежи показывает то, что достаточным оказалось всего только двух спектаклей, которые Вахтангов успел поставить в своей студии, чтобы она продолжала свою работу без него уже, как первоклассный театр, имеющий свои собственные творческие принципы и свой своеобразный стиль. А многие из его учеников стали лучшими актерами послереволюционной Москвы.

Евгений Вахтангов начал свою театральную карьеру за несколько лет до первой мировой войны актером Московского Художественного театра. Вскоре Станиславский обратил вни-

мение на режиссерский талант своего ученика и дал ему возможность этот талант проявить. Еще совсем молодым человеком Вахтангов начинает педагогическую работу с актерами первой студии Художественного театра и принимает участие в режиссировании спектаклей. Ко времени первой мировой войны относятся его первые самостоятельные постановки, из которых постановка «Потопа» Бергера имела в Москве огромный успех и сразу принесла Вахтангову славу и имя первоклассного режиссера. Этот великолепный спектакль о нескольких случайных грешных людях, которые перед лицом неминуемой смерти преображаются и становятся братьями, я видел несколько раз. Он еще изредка шел во Втором Художественном театре в пору, когда я там служил.

После революции 1917-го года Вахтангов вел режиссерскую и педагогическую работу в нескольких местах одновременно. Кроме занятий в своей собственной студии, он ставил пьесу Стриндберга «Эрик XIV» в первой студии Художественного театра с Михаилом Чеховым в заглавной роли и занимался с коллективом молодых актеров в еврейской студии «Габима», где он ставил пьесу «Дибук» А-нского на древне-еврейском языке (которого, между прочим, сам он не знал). После смерти Вахтангова студия «Габима» выехала из Советской России за границу и совершила большое турне по всему миру, всюду показывая только один единственный спектакль — «Дибук», но и его одного было достаточно для того, чтобы «Габима» завоевала себе репутацию первоклассного театра. Уже много лет тому назад «Габима» нашла свою новую родину в Палестине и продолжает в знойном Тель-Авиве свой творческий путь, который когда-то давно, в холодной снежной Москве, указал ей великий русский режиссер Евгений Вахтангов.

Четыре с половиной года, которые прожил Вахтангов после революции 1917-го года, явились порой его творческого расцвета. За эти годы Вахтангов поставил всего четыре спектакля, но их оказалось достаточно, чтобы обессмертить его имя. Эти четыре спектакля были: «Эрик XIV» в первой студии Художественного театра, «Дибук» в «Габиме», «Чудо св. Антония» Метерлинка и «Принцесса Турандот» Карло Гоцци в собственной его студии.

В этих четырех спектаклях Вахтангов осуществил свои творческие принципы и создал свой собственный театральный стиль, совершенно отличный от стиля его учителя Станиславского, хотя многое из учения Станиславского Вахтангов вос-

принял и применял, — в частности, метод работы с актерами. Но в основных принципах создания спектакля между учителем и учеником была огромная разница. Станиславский стремился к тому, чтобы зритель, придя в театр, забыл о том, что он в театре, чтобы он, смотря на сцену, воспринимал все это как самую жизнь, переживая происходящее на сцене так, как если бы это было в реальной жизни. Поэтому Станиславский убирал из своего театра все лишнее, что могло бы отвлечь зрителя от главного — от человеческих переживаний и глубоких психологических конфликтов. Отсюда исключительная скромность, покой и темные краски всей обстановки Художественного театра. Темно-серые или темно-зеленые тона окраски стен, мягкие ковры на полу, скромные, но удобные, сделанные с хорошим вкусом, кресла в зале, бесшумно раздвигающийся темно-серый занавес с белой чайкой — эмблемой театра, капельдинеры в скромных форменных костюмах без обычных золотых пуговиц и позументов — наконец, оркестр, помещавшийся за сценой и всегда звучащий приглушенно и мягко — как бы откуда-то издалека. Все это располагало к серьезной сосредоточенности и помогало зрителю перенестись в тот мир, который развертывался на сцене.

Вахтангов же хотел прямо противоположного. — «Зритель должен каждую секунду чувствовать, что он находится в театре, а не в жизни. Театр должен быть для него радостным и светлым праздником. Пусть будут в театре яркие краски, пусть зрителей встречают капельдинеры в красных костюмах с золотым шитьем. Пусть торжественно и громко звучит оркестр. И в самый трагический момент сценического действия пусть зрителю вновь и вновь напомнят, что все это не настоящее, что все это только игра, что нельзя и ненужно ко всему этому относиться чересчур уж серьезно — ибо театр есть театр, а не жизнь».

Эти свои творческие принципы наиболее совершенно Вахтангов воплотил в своей постановке «Принцесса Турандот». Из этой старинной итальянской комедии *del arte*, написанной в Венеции в 18-м столетии, Вахтангов создал один из самых замечательных спектаклей в истории современного театра.

Блестящим парадом, под удивительную — шутивную и вместе с тем торжественную — музыку, выходили действующие лица на авансцену — мужчины во фраках, женщины в современных вечерних туалетах. После парада актеры начинали одеваться, тут же на глазах у публики. Полотенце, повязанное в виде чалмы на голову, и яркий кусок шелка, наброшенный на

плечи вместо плаща, создавали образ восточного принца. Белое полотенце, привязанное к подбородку, и чайник, надетый на голову — и вот уже готов старый мудрец при дворе китайского богдыхана. Все смены декораций происходили тут же на глазах у зрителей, производимые ловкими, маленькими девушками в китайских костюмах. Лучшие актеры студии играли роли классических масок итальянской комедии *del arte* — Труфальдино, Тартальи, Панталонэ и Бригеллы. Эти роли вообще не были написаны в тексте пьесы, и актеры импровизировали их и в каждом спектакле выдумывали все новые и новые диалоги, все новые и новые шутки. В роли Тартальи московская публика впервые увидела молодого Бориса Щукина — самого талантливого из русских актеров, начавших свою сценическую карьеру после революции 1917-го года.

«Принцесса Турандот» была насыщена музыкой с начала и до конца, и это была совершенно необыкновенная музыка. Долго искал Вахтангов композитора, который мог бы осуществить его желание и создать музыку к «Турандот» — именно ту, которую он, Вахтангов, хотел и звучанье которой складывалось в его творческом воображении. Долго искал — и не мог найти. Кто-то рекомендовал ему добросовестного и знающего композитора, итальянца Эспозито. Решив, что итальянский темперамент поможет проникнуться блеском и юмором солнечной венецианской комедии, Вахтангов поручил Эспозито писать музыку к «Турандот». Музыка была написана, но это было не то. — «Как могли вы так не понять меня!» — в отчаянии повторял Вахтангов и вновь принялся за поиски композитора.

Вскоре ему посчастливилось. Правда, он всегда умел, в конце концов, находить людей, которые были ему нужны. Нашел он и на этот раз. Это был угрюмый, на редкость неприветливый и неразговорчивый молодой человек. Его звали Николай Иванович Сизов. Незадолго до того он кончил Московскую государственную консерваторию, как пианист, по классу Николая Медтнера. Кроме нескольких маленьких сочинений для рояля и голоса, Сизов ничего не написал и композитором себя не считал. Две ночи напролет говорил с ним Вахтангов, развивая свои идеи о музыке к «Турандот», и к концу второй ночи убедился, что хмурый молодой человек понял его вполне. И это было действительно так. «Принцесса Турандот» получила именно ту музыку, какую должна была получить. Как верно найденная краска в картине, эта музыка вошла в спектакль, создавая вместе с актерами и художником совершенное произведение искус-

ства. Интересно, что Сизов ввел в состав оркестра гребешки, покрытые папиросной бумагой, придав общему звучанию характер странный, резкий и пронзительный. В этом звучании оркестра «Турандот» было, по-моему, какое-то тонкое провидение тех совершенно новых музыкальных звучаний, которые в эти же годы рождались на другом конце земного шара и которые назывались «джаз».

Трудно было вообразить, что эта поэма радости, блеска, смеха и шутки, какой была вахтанговская «Принцесса Турандот», создавалась в Москве в эпоху военного коммунизма и гражданской войны. Население получало четверть фунта хлеба в день, ело ржавые селедки и пило чай из моркови. Дров и угля не было. Чтобы не замерзнуть топили маленькие печурки мебелью и толстыми книгами в переплетах. Вдобавок ко всему этому свирепствовал террор Чека. И вот в такой голодной, холодной и страшной Москве, будучи сам смертельно больным, Вахтангов ставил свою «Турандот». У Вахтангова обнаружился рак. Но ни на день он не прекращал своей работы — наоборот, как бы торопясь в те немногие месяцы жизни, которые у него еще оставались, сделать как можно больше, работал он дни и ночи напролет. Из своей студии он шел в «Габиму», из «Габимы» в Первую студию, потом опять к своим, и там оставался до поздней ночи, работая без усталости.

Уже незадолго до окончания постановки «Турандот» заболел он еще и воспалением легких. Но и тут могучий творческий дух превозмог болезнь. В нетопленном зрительном зале, Вахтангов лежал на стульях, завернутый в меховую шубу, с мокрым полотенцем на воспаленном лбу, и работал, работал... все с тем же огнем, все с тем же талантом.

Во время последних репетиций ему стало совсем плохо. Температура поднялась. Вечером, перед днем премьеры, он начал генеральную репетицию, которая оказалась последней репетицией в его жизни. Генеральная началась вяло. Смертельно усталые, измученные актеры не могли дать всего, что требовал от них Вахтангов. То и дело его слабый, но все еще властный голос прерывал действие — приходилось начинать снова и снова. В третьем часу ночи генеральная, наконец, кончилась. И вот только что успели отзвучать звуки заключительного марша, как раздался голос Вахтангова: «Весь спектакль — с начала до конца!» Спектакль был повторен без единой ошибки.

На следующий день вечером состоялась премьера «Принцессы Турандот». В маленьком зрительном зале собрался цвет

московского искусства, во главе со Станиславским. Вахтангова в театре уже не было. Успех спектакля был потрясающий, необычайный... Публика аплодировала стоя и не желала расходиться. Сохранилась стенографическая запись телефонного разговора в ночь после премьеры между Станиславским и Вахтанговым. Создатель Художественного театра нашел теплые и проникновенные слова для выражения восхищения блестящим творением своего бывшего ученика.

Через несколько месяцев Вахтангов умер.

На следующий день после его смерти на сцене первой студии должен был идти, согласно объявленному репертуару, знаменитый вахтанговский «Потоп». Когда публика уже заняла свои места и в зале потухли огни, перед занавесом вышел актер первой студии, Алексей Григорьевич Алексеев, известный на всю Москву своим остроумием и находчивостью.

— «По случаю смерти Евгения Багратионовича Вахтангова спектакль «Потоп» заменяется спектаклем «Гибель Надежды» — взволнованно сказал Алексеев. — «Безобразие, не могли заменить актера!» — послышался возмущенный бас из первого ряда — с тех мест, которые резервировались для партийного начальства. Алексеев сделал шаг к рампе и уставился в недовольного.

— «Дирекция и актеры театра весьма сожалеют, что вы вчера не могли заменить Евгения Багратионовича на одре его болезни» — произнес он, не задумываясь ни на секунду.

На другой день вся Москва хоронила Вахтангова. Десятки тысяч москвичей пришли проводить великого артиста в его последний путь. Вся артистическая элита Москвы, во главе с седым Станиславским шла за траурной колесницей.

**
*

Я сыграл «Принцессу Турандот» около пятисот раз. Уже после моего ухода из театра имени Вахтангова, в феврале 1940 года, я смотрел ее 1000-ое представление. Ее показывали и за границей — в Берлине в 1923 году и в Париже на международном театральном фестивале в 1928 году, где этот спектакль получил первый приз. Как печально, что прекрасное искусство театра так недолговечно. И что даже лучшие создания режиссерского гения живут так недолго... старея как люди и как люди уходя в небытие...



После смерти Вахтангова театр, который носил теперь его имя, продолжал свою деятельность чрезвычайно успешно. Творческий порыв, который принес Вахтангов в свой коллектив, был порывом огромной силы. В течение многих лет он еще держался в театре, иссякая вплоть до начала тридцатых годов медленно и незаметно. Лишь с этого времени, под влиянием причин, общих для всего искусства в России, дух Вахтангова начал быстро уходить из стен театра его имени, постепенно заменяясь шаблоном советской пропаганды и потоками тенденциозной лжи, в которых ученики Евгения Вахтангова отчаянно пытались найти хотя бы крупинцы правды. Но это было позднее, а в течение двадцатых годов в театре была еще поставлена серия отличных спектаклей, в которых свято соблюдались творческие заповеди Вахтангова. Все искусство театра его имени в эти годы было насыщено яркими красками, музыкой, острой шуткой, тонким юмором, остроумными выдумками режиссера. Изредка приносилась и дань времени — ставились советские пьесы из эпохи гражданской войны, но они не мешали основной творческой линии театра.

Ко времени моего поступления, театр имени Вахтангова имел огромный круг поклонников среди самых разнообразных слоев московского общества. Популярность его можно сравнить лишь с популярностью Художественного театра. Любила и новая советская студенческая молодежь и интеллигенция и, наконец, правительственные круги — в особенности многие из старой ленинской гвардии. Любили имени Вахтангова и в кругах руководящих работников

Актерский состав театра можно было разделить на три группы. Первую составляло «старшее поколение», т. е. ученики самого Вахтангова. Это было, конечно, основное ядро театра. Среди этой группы было много первоклассных актеров. Вахтангов умел находить людей. Большинство из его учеников были талантливы. Большинство из его учениц были красивы. Нигде в Москве нельзя было увидеть такого блестящего созвездия очаровательных женщин, как на параде в начале «Принцессы Турандот», когда все действующие лица, взявшись за руки, выходили на авансцену.

Вторую группу составляли бывшие ученики и ученицы театральной школы, окончившие эту школу в середине двадцатых годов. Наконец, последнюю группу составляла молодежь.

Вообще, членом группы мог стать только тот, кто прошел специальную трехгодичную школу при самом театре и получил театральное воспитание в строгих вахтанговских традициях. И речи быть не могло о приеме в труппу готового актера со стороны — пусть даже первоклассного. Когда одна из премьерш Камерного театра Таирова, Елена Спендиарова увлеклась театром Вахтангова и захотела поступить в его труппу, ей, известной, законченной актрисе, предложили поступить на первый курс театральной школы. И она имела мужество принять это условие — поступила в школу, окончила ее и была принята в труппу.

Оркестр театра был небольшим, но хорошим оркестром. В нем служило много превосходных музыкантов, среди них лучший валторнист Москвы Янкелевич, один из лучших в Москве гобоистов — доцент консерватории Юдин. Струнные состояли в большинстве из молодых музыкантов, студентов последних курсов Московской консерватории. Все мы были чрезвычайно увлечены нашим общим делом. Играть отлично считалось делом чести каждого. Культура исполнения была на таком высоком уровне, на каком она бывает разве лишь у камерных ансамблей.

**
*

Вскоре после моего поступления в театр начались репетиции «Гамлета». План постановки «Гамлета» возник у художника и режиссера Николая Павловича Акимова. План этот был в высшей степени эксцентричен. Но Акимов так увлекательно развернул его перед художественным совещанием, что возражать ему было нелегко.

— «Никого в наш бурный век не интересуют философские мудрствования датского принца», — говорил Акимов. — «Современный зритель не хочет скучать во время глубокомысленных, всем давным давно известных монологов. Для нас гораздо интереснее весь авантюрный элемент трагедии: поединки на шпагах, кровавые и коварные интриги, блестящие пиры во дворце, образ молодого рыцаря Фортинбраса, возвращающегося с победой на родину. И Офелия должна быть не бледной слабоумной девицей, какой ее обычно изображают, а соблазнительной красавицей не очень строгого поведения и умеренной нравственности. Наш Гамлет будет здоровый молодой человек, кутила и фехтовальщик. Мы введем в спектакль сцены королевской охоты, сцены битв и сражений. Лошади будут проносить

по сцене рыцарей в блестящих доспехах. От зрелища королевского пира ахнут зрители. Наш «Гамлет» будет наполнен музыкой — музыкой блестящей, острой и новой. Композитором мы пригласим Шостаковича!»

Акимов умел увлекать и убеждать. План показался интересным и вполне «вахтанговским». Но он не был «вахтанговским», хотя и был интересным. Вахтангов прежде всего искал и находил органическую форму к данному содержанию — это был один из основных принципов его творчества. Здесь же предлагалось нарушить это единство, столь необходимое во всяком подлинном искусстве. Как ни выдумывай, как ни старайся, все равно нельзя «Гамлета» Шекспира втиснуть в форму авантюрного романа.

Помню, на репетициях впервые увидел я Шостаковича. Был он тогда совсем молодым еще человеком лет 25-26-ти (дело было в 1932-м году). Держался он чрезвычайно скромно. Замечаний на репетициях никаких не делал, но и не хвалил особенно много. Как-то вечером был устроен ужин в его честь у одного из наших актеров. Здесь я впервые познакомился с ним лично. Он много пил за столом, но вместо того, чтобы пьянеть, становился все сдержаннее, молчаливее и вежливее. Только его и без того бледное лицо становилось еще бледнее. Наши девушки ухаживали за ним наперебой, но особенного внимания он им не уделял. Только когда в конце вечера одна из наших актрис начала петь цыганские романсы под гитару, Шостакович сел около нее и молча, внимательно слушал — пела она изумительно. И когда все стали расходиться, то он поблагодарил ее и поцеловал у нее руку. Сам он в течение всего вечера так и не сел за рояль, как его об этом ни просили.

Музыка, которую он написал к «Гамлету», была превосходна. При всей ее новизне и оригинальности она гораздо ближе подходила к «Гамлету» Шекспира, чем что-либо другое в «Гамлете» Акимова. Но, конечно, были в этой музыке моменты и вполне эксцентрические — вполне в стиле режиссерского замысла. Так пьяная Офелия на балу — ее играла самая красивая наша актриса Валентина Вагрина — пела веселую песенку с весьма фривольным текстом, в стиле немецких шансонеток начала нашего столетия, под острый и пряный аккомпанемент джаза. Интересно, что в известной сцене с флейтой Шостакович зло высмеял и советскую власть и группу пролетарских композиторов, которые как раз в то время были на вершине своего могущества и причиняли не малое зло русской музыке и рус-

ским музыкантам. В этой сцене Гамлет прикладывал флейту к нижней части своей спины, а пикколо в оркестре с аккомпаниментом контрабаса и барабана фальшиво и пронзительно играло известную советскую песню «Нас побить, побить хотели...», сочинения композитора Давиденко, лидера группы пролетарских музыкантов, — песню, написанную по случаю победы советских войск над китайцами в 1929-м году.

Премьера «Гамлета» сопровождалась значительным успехом у широкой публики, но полным провалом у всех критиков без исключения. Серьезная часть московской интеллигенции также, в большей своей части, отнеслась к спектаклю неодобрительно. Вероятно, это было справедливо. Акимов сдержал все свои обещания. По сцене пролетала королевская кавалькада вдогонку за убегавшим оленем. Прекрасный рыцарь Фортинбрас, ломая забор копытами коня, въезжал на сцену на фоне лилового неба, под великолепный марш Шостаковича. По краям забора торчали пики с отрубленными головами и мрачно качались повешенные на виселицах. Офелия была действительно очаровательна и необыкновенно соблазнительна в своем черном бархатном платье, обшитом золотом, с низким вырезом на груди. Гамлет был кутила и забияка. Интересную и талантливую музыку написал Шостакович. Одним словом, все было на месте, как и обещал режиссер. Не было только старика Шекспира. Но на этот спектакль его и не предполагали пригласить.

Впрочем, один из московских юмористических журналов был по этому поводу противоположного мнения. Он поместил злую карикатуру под названием «Новый способ получения двигательной энергии». На этой карикатуре показан был театр имени Вахтангова. На сцене шел «Гамлет». Рядом была изображена могила Шекспира в разрезе. Великий покойник все время переворачивался в гробу от ужаса и возмущения за свое поруганное произведение. От тела Шекспира шли приводные ремни к динамомашине, которая и давала энергию для яркого освещения сцены театра.

Кульминационным пунктом возмущения критиков была громкая статья Карла Радека в «Правде». Карл Радек в то время занимал положение первого советского журналиста и выражал обычно мнение Ц. К. партии. Посему, после его статьи, «Гамлета» пришлось снять с репертуара, хотя московская публика и валила на него валом, простаивая часами в очередях за билетами. Однако, уже после того как «Гамлет» в Москве был снят с репертуара, его повезли показывать в Ленинград, по

просьбе ленинградских городских организаций и не желая нарушать заключенный еще ранее договор.

И вот, перед самым началом первого спектакля, в зале ленинградского Выборгского Дворца Культуры, на авансцене, перед закрытым занавесом, появился сам создатель крамольного спектакля Н. А. Акимов. Его встретило недоумевающее молчание публики. Акимов начал говорить:

— «Дорогие товарищи, вы сейчас увидите спектакль, который получил самую суровую оценку советской критики. Конечно, эта оценка совершенно справедлива. Без всякого сомнения, мой «Гамлет» очень плохой спектакль, товарищи. И я сам вполне присоединяюсь к мнению нашей советской критики. Но я хотел бы обратить ваше внимание, товарищи, только на один момент — о, конечно, момент в спектакле вполне второстепенный, даже, я бы сказал, совершенно неважный... Много раз ставили бессмертную трагедию о Гамлете, принце датском, на сценах всех лучших русских театров. И все это были Гамлеты, конечно, несравненно лучшие, чем мой «Гамлет». Но давайте будем откровенны, товарищи. Не было ни одного «Гамлета» на свете, никогда и нигде, смотря который зрители не начинали бы испытывать томительного чувства скуки. Так вот, дорогие товарищи, за одно уж позвольте вы мне поручиться. Скучать сегодня вы не будете. За это я ручаюсь!»

**
*

Провал «Гамлета» в нашем театре был большим инцидентом в художественной жизни Москвы. Однако, престижа театра у широкой публики он не поколебал. Так, эксцентричная выходка признанного мастера возбуждает шум и любопытство, но не вредит установившейся репутации. Престиж же театра во мнении властей, не успел пострадать слишком сильно, ввиду последовавших вскоре событий.

**
*

Высокой репутации театра имени Вахтангова в правительственных кругах сильно способствовал Максим Горький, незадолго до того возвратившийся в Россию с острова Капри. Максим Горький в начале тридцатых годов был влиятельнейшим человеком в Советском Союзе. Со Сталиным он был на «ты». Сталин и другие члены Политбюро бывали частыми гостями в его особняке на Спиридоновке — подарке советского прави-

тельства. Во многих событиях в жизни искусства Советского Союза, не говоря уже о литературе тех лет, Горький сыграл решающую роль.

О театре имени Вахтангова он не раз высказывал мнение, что это лучший театр Советского Союза, а нашего актера Бориса Щукина называл лучшим актером Москвы.

Симпатии Горького не носили исключительно платонический характер. Так, свою последнюю пьесу, написанную еще в конце двадцатых годов на острове Капри, «Егор Булычев и другие» он отдал для первой постановки нашему театру, а Щукина попросил сыграть заглавную роль. Премьера должна была состояться в конце 1932-го года, в день сорокалетнего юбилея литературной деятельности Горького. Никто в театре не ожидал слишком многого от этого спектакля. Относились к нему, как к очередной дани времени и политике. Пьесы, которые писал Горький раньше, бывали всегда скучны и лишены сценического действия, хотя и написаны хорошим языком.

Премьера «Булычева» состоялась в присутствии самого автора, многочисленных представителей партийной и военной знати и, неожиданно для всех, имела феноменальный успех. Спектакль был и в самом деле хорош. А Щукин в роли Булычева был великолепен.

Вспоминая сейчас все постановки советских пьес за всю историю советского театра, с его первых дней и до начала второй мировой войны, я могу сказать с уверенностью, что «Егор Булычев» в театре имени Вахтангова был единственным «политическим» спектаклем, который поднялся до высот настоящего искусства и смело мог выдержать сравнение с многими хорошими спектаклями классического репертуара тех лет. В чем был секрет успеха «Булычева»? Образы пьесы были написаны правдиво и сочно. Психологические конфликты были сложны и лишены обычной советской рутины. Не было и в помине примитивной схемы новых пропагандных пьес, где большевики и их друзья бывали наделены всеми достоинствами, а их враги — всеми недостатками. Второй причиной успеха было то, что постановка, проникнутая глубоким знанием эпохи, была, действительно, хороша и, особенно, актеры, все без исключения, играли отлично. Главной же причиной успеха был, все-таки, Щукин в роли самого Булычева. Его игра поднялась здесь на высшую ступень актерского мастерства.

Советская критика захлебывалась от восторгов и похвал. Карл Радек разразился восторженной статьей в «Правде».

Восторг критиков на этот раз можно было понять и в его искренность можно было поверить. До сих пор приходилось им всеми правдами и неправдами раздувать сомнительные успехи сомнительных советских пьес. Здесь же перед нами была действительно неплохая пьеса и превосходный спектакль. К тому же автором был «великий пролетарский писатель», приятель покойного Ленина и друг живого Сталина. И в день юбилея Горького особенно уместно и полезно было всячески раздуть его новый литературный успех.

После успеха «Булычева» наш театр достиг вершины возможной в Москве славы и еще улучшил свое и без того хорошее положение, а все мы — служащие театра имени Вахтангова — автоматически попали в число элиты — новой элиты нового советского общества сталинской эпохи.

**

*

Осенью следующего 1933-го года была создана в художественном совещании, которое после смерти Вахтангова являлось высшим коллегиальным руководством нашего театра, музыкальная секция, для руководства музыкальной частью театра. Эта секция была организована из трех человек. Одним из них назначили меня.

Так я вошел в святая святых театра им. Вахтангова — в художественное совещание — с правом решающего голоса по всем вопросам, связанным с музыкой, и с правом совещательного голоса по всем остальным вопросам.

Ю. Елагин.

ВСТРЕЧИ С Б. М. КУСТОДИЕВЫМ*

Озаглавить это, в сущности, надо было бы иначе: «Встречи с Борисом Михайловичем и Кустодиевым». Именно так — не с одним, а с двумя. Потому что я встретился с ним, не в одно время и оба они — художник Кустодиев и человек Борис Михайлович — живут в моей памяти каждый отдельно.

С художником Кустодиевым я познакомился давно — это было не в Ленинграде, это было еще в Петербурге, на одной из выставок «Мира Искусств». На этой выставке я вдруг зацепился за картину Кустодиева и никак не мог отойти от нее. Я стоял, стоял перед ней, я уже не только видел — я слышал ее, и те слова, какие мне слышались, я торопливо записывал в каталоге — скоро там были исписаны все поля. Не знаю названия этой картины, вспоминается только: зима, снег, деревья, сугробы, санки, румяное русское веселье — пестрая, кустодиевская Русь. Быть может, помимо всего прочего, эта картина так много говорила мне еще и потому, что сам я в те годы жил как раз этими же красками: тогда писалось мое «Уездное». Правда, Кустодиев видел Русь другими глазами, чем я — его глаза были куда ласковей и мягче моих, но Русь была одна, она соединяла нас — и встретиться раньше или позже нам было неизбежно.

Встреча эта, когда я узнал и полюбил не только Кустодиева, но и Бориса Михайловича — случилась нескоро, лет через десять, когда уже не было Петербурга, а был Петроград-Ленинград, когда пышная кустодиевская Русь лежала уже покойницей. О мертвой — теперь не хотелось говорить так, как можно было говорить о живой; лягать издохшего льва — эта легкая победа меня не прельщала. Так вышло, что Русь Кустодиева и моя — могли теперь уложиться на полотне, на бумагу в одних и тех же красках. Так вышло, что с художником Кустодиевым я встретился в общей нашей книге «Русь» — это же

*) Воспоминания покойного Е. И. Замятина о Б. М. Кустодиеве печатаются впервые. Они присланы нам вдовой Е. И. — Л. Н. Замятиной. Ред.

было началом моего знакомства с человеком Борисом Михайловичем.

Осенью 22-го года издательство «Аквилон» прислало мне «русские типы» Кустодиева — чтобы я о них написал статью. О чем же писать? О живописной технике Кустодиева? Об этом лучше меня напишут другие. Статьи я не стал писать, я сделал иначе: просто разложив перед собой всех этих кустодиевских красавиц, извозчиков, купцов, трактирщиков, монахинь — я смотрел на них так же, как когда-то на его картину на выставке — и сама собой написалась та повесть («Русь»), которая вошла в книгу «Русь».

Повесть была кончена — и через день-два из «Аквилона» мне позвонили, что Кустодиев просит вечером заехать к нему. Это «вечером» я понял по-петербургски, попал к Борису Михайловичу поздно, часов в 10 — и тут для меня в первый раз открылась книга его жития. Иного слова, чем «житие» я не могу подобрать, если говорить о его жизни в эти последние годы.

Маленькая комнатка — спальня, и у стены справа в кровати — Борис Михайлович. Эта кровать здесь не случайная вещь, я ее хорошо помню: от изголовья к ногам, на высоте, так, аршина с небольшим, был протянут шест — мне было непонятно, зачем это. На столике возле кровати лежала моя рукопись, Борис Михайлович хотел показать мне какие-то места в тексте, протянул руку — и вдруг я увидел: он приподнялся на локте, схватился за шест и, стиснув зубы, стиснув боль — нагнул вперед голову, как будто защищая ее от какого-то удара сзади. Этот жест — я видел потом много раз, я позже привык к этому, как мы ко всему привыкаем, но тогда — я помню: мне было стыдно, что я — здоровый, а он, ухватившись за шест, корчится от боли, что вот я сейчас встану и пойду, а он — встать не может. От этого стыда я уже не мог слушать, не понимал, что говорил Борис Михайлович о нашей книге — и поскорее ушел...

С собой я унес впечатление: какой усталый, слабый, измученный болью человек.

Через несколько дней я опять был здесь — чтобы на этот раз увидеть: какой бодрости, какой замечательной силы духа человек.

Меня провели в мастерскую. День был морозный, яркий, от солнца или от кустодиевских картин в мастерской было весело: на стенах розовели пышные тела, горели золотом кресты, стлались зеленые летние травы — всё было полно радостью, кровью,

соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел (возле узаконенной в те годы буржуйки) в кресле на колесах, с закутанными мертвыми ногами, и говорил, подшучивая над собой: «Ноги — что... предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать — это уж обидно...»

Многое нам раскрывается только в противопоставлениях, только в контрастах. И только в этот день, когда я впервые увидел в одной комнате, рядом художника и его картины, рядом художника и человека — я понял: какую творческую волю надо иметь в себе, чтобы сидя вот так в кресле и стискивая зубы от боли написать все эти картины. Я понял: человек Борис Михайлович — сильнее, крепче любого из нас. И еще: его жизнь — это «житие», а сам он — подвижник, такой же, каких в старое время знала его любимая Русь. С той только разницей, что его подвиг был не во имя спасения души, а во имя искусства. Илларион-Затворник, Афанасий-Сидящий, Нил-Столбенский-Сидящий, и вот в наши дни — еще один «затворник» и «сидящий». Но этот затворник не проклинал землю, тело, радость жизни, а славил их своими красками.

**

*

Как известно, из всех четий-миней, всякому настоящему затворнику и подвижнику по временам являлись бесы и соблазняли их. На мою долю выпало стать таким бесом для Бориса Михайловича. И последствием соблазна была единственная появившаяся в печати серия эротических рисунков Кустодиева — иллюстраций к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм». Эта книга (выпущенная издательством «Петрополис», в Берлине) была второй нашей совместной работой с Борисом Михайловичем.

Задача для художника здесь была очень трудная. Речь шла, конечно, не о примитивной, откровенной эротике, вроде известных работ Сомова: нужно было в иллюстрациях дать то, что текст давал только между строк, только в намеках, в образах. И эта как будто неразрешимая задача была решена Кустодиевым с удивительным изяществом, с удивительным тактом — и добавлю еще одно: с большим чувством юмора.

Как сумел Кустодиев сохранить в себе это чувство, как сумел невредимым пронести через свое житие — я не знаю. И еще больше, чем у художника Кустодиева, это было у человека, Бориса Михайловича: он любил шутку, острые слова, смех. Он

смеялся иногда так молодо и весело, что становилось завидно нам, здоровым, сидевшим за одним столом с ним¹.

Веселым я видел Бориса Михайловича не раз, я часто видел его усталым, больным — но я никогда не видел его унылым, никогда не видел, чтобы у него опускались руки. Причина, может быть, в том, что эти руки были вечно заняты, на столике, приделанном к его креслу, перед ним всегда лежала какая-нибудь работа. И, помню, он часто говорил, что работа — для него самое лучшее лекарство.

Но иногда работа становилась для него не лекарством, а болезнью — болезнью не человека Бориса Михайловича, а художника Кустодиева. «Делаю всё какие-то полузаказы, тошнотворные, стараюсь собрать деньги на поездку, денег не платят...» — писал он мне летом 26-го года. А тогда — в 23-м, в 24-м годах — от этой тошнотворной болезни он страдал еще сильнее. Чтобы жить, есть, топить буржуйку — приходилось откладывать свою, настоящую работу и приниматься за эти «полузаказы». Я видел, как у него в таких случаях вдруг начинали ломаться карандаши, пропадать резинки, всё не ладилось, всё раздражало. Помню, однажды, при мне ему принесли обложку, сделанную им по заказу издательства «Земля и Фабрика», рисунок оказался неподходящим «к идеологическому заданию», его нужно было скомпановать заново. В тот день, единственный раз за все годы нашего знакомства, я видел, как Кустодиеву изменило обычное его умение владеть собой — я видел Кустодиева по-настоящему рассерженным.

**

В начале зимы 23-го года Борис Михайлович захотел сделать мой портрет — и недели две подряд я приходил к нему почти каждое утро. В мастерской еще была настоенная за ночь

¹ Я представляю себе, например, как бы он смеялся, если бы ему удалось прочесть напечатанную в «Известиях» статью московского критика Фриче, где Фриче пишет о Кустодиеве и обо мне: Фриче противопоставляет добродетельного Кустодиева недобродетельному мне, в невинности своей совершенно не подозревая, что Кустодиев делал рисунки к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм», что «Русь» написана, как текст к картинам Кустодиева.

Мне жаль, что Борису Михайловичу не пришлось лишний раз в жизни хорошо посмеяться.

тишина, потрескивала печь, за окном — в Введенской церкви — звонил колокол. Борис Михайлович протягивал руку по-особенному, осторожно, ковшиком: рука побаливала, он ее берег. Поздоровавшись, он, чтобы согреть руку, сейчас же прятал ее за пазуху — и вдруг неожиданно вытаскивал оттуда одного котенка, другого: животных он очень любил. Потом, ловко орудуя колесами своего кресла, он выбирал нужное положение, брал карандаш. Губы у него еще посмеивались, еще кончали что-то говорить, но глаза тотчас же менялись, они становились острыми, как у охотника, взявшего ружье на прицел. Сначала он работал, обыкновенно, молча, и только потом, когда — как он называл это — «карандашем разогревался», мы начинали разговор.

Кажется, позже мне уже никогда не удавалось говорить с ним так, как говорилось этими зимними утрами. Говорили обо всем: о людях, о книгах, о странах, о театре, о России, о большевиках. Иногда удавалось вспомнить и рассказать что-нибудь смешное — тогда он бросал карандаш и хохотал — согнувшись, чтобы не было больно от смеха. Но чаще всего или он мне рассказывал о своих прежних путешествиях, или я ему — о своих. Для христианских подвижников, обреченных жить в целомудрии, соблазн, естественно, принимал форму женщины; для Кустодиева, обреченного жить в четырех стенах, соблазн, естественно, воплощался в путешествии. Подчас он начинал мечтать вслух: «Эх, попасть бы еще раз в жизни куда-нибудь... В Париж... — нет, лучше в Лондон, и чтобы сидеть где-нибудь наверху, на десятиэтажной крыше, чтобы оттуда всё было видно...» От многолетнего затворничества, от хронического зрительного недоедания — у него был настоящий глазной голод.

Как-то я пришел к Борису Михайловичу и увидел его кресло на совсем непривычном месте: в углу у окна. Слегка перегнувшись, он всё посматривал на улицу и не торопился, как обычно, сесть за работу. Я спросил, в чем дело. «А сегодня — поздняя обедня, сейчас будут выходить из церкви, надо посмотреть», — объяснил он мне. И я понял: для его изголодавшихся глаз это было уже богатой пищей.

Откуда же, при такой бедности внешних впечатлений брал Кустодиев весь пестрый, богатый материал своих картин? Очевидно, зрительная память у него была необычайная, где-то в недрах ее хранились еще полные амбары всяких запасов — и запасы эти были неисчерпаемы.



В эти недели, когда делался портрет, изо дня в день раз-вертывались передо мною страницы кустодиевского жития — и всё яснее становилось мне, какая огромная сила духа у этого человека.

По моим впечатлениям, этой зимой Борис Михайлович чувствовал себя хуже, чем когда-нибудь. Особенно его мучили судороги. К его креслу был приделан столик со съемной фанерной крышкой — и один раз случилось так, что подброшенные судорогой ноги столкнули эту крышку, посыпались краски, карандаши. С тех пор во время работы приходилось привязывать ноги ремнями к креслу. Боли от этого, конечно, не становились легче.

Помню, не один раз я видел, как вдруг странно менялось у Бориса Михайловича лицо: резко краснела правая половина, а левая оставалась бледной. И затем — всё тот же знакомый жест: втянутая в плечи, нагнутая вперед голова — как будто он чувствовал сзади себя занесенную для удара чью-то руку.

Видеть это было физически больно. Но сколько раз я ни предлагал Борису Михайловичу бросить работу и хоть ненадолго отдохнуть — он никогда не соглашался. Каким-то невероятным усилием воли он преодолевал боль и продолжал рисовать — то, что ему хотелось, свое, настоящее, и то, что было нужно, для того, чтобы жить, есть, топить печку.

Было одно, что пугало его и о чем ему было жутко подумать: это боли в правой руке. Только раз или два, помню, он сказал мне, что теперь ему иногда трудно держать в руке карандаш или кисть. Это грозило ему потерей самого смысла его жизни, это было всё равно, что у христианского святого отнять веру в Бога.

Оставалось только одно: попробовать операцию (это была уже третья по счету) — и Борис Михайлович уехал в Москву. Сложнейшую эту операцию — удаление опухоли в позвоночнике — делал известный немецкий хирург Ферстер, тот самый, который лечил Ленина. Операция длилась четыре с половиной часа, наркоз был только местный, последние два часа он уже не действовал. Какое нечеловеческое терпение нужно было, чтобы вынести это!

Желание жить и работать было так велико, что Борис Михайлович вынес — и мог еще несколько лет продолжать свой подвиг. После операции я увидел его повеселевшим, мучитель-

ные судороги теперь прекратились. Однажды он даже сказал, что как будто в ногах возвращается чувствительность. Но больше об этом никогда уже не говорил. После операции стало только немного легче, но житие не превратилось в жизнь...

**
*

Зима 24-25 года связала меня с Кустодиевым еще ближе: в эту зиму появилось на свет новое наше общее детище — спектакль «Блоха» — в Художественном Театре (2-м) в Москве.

Театру — и это понятно — хотелось иметь художника под рукой, в Москве. Попробовали Крымова, но то, что он сделал — не понравилось. А репетиции были уже в полном ходу, уже пора было делать декорации. Однажды утром с режиссером «Блохи» — Диким — мы сидели вдвоем в пустом, темном фойэ и говорили... — нет, не говорили, а молчали об этом. У обоих на языке вертелось одно и то же имя: Кустодиев, и оба разом сказали его вслух. Послали Кустодиеву телеграмму и получили от него ответ, что он согласен и уже приступает к работе.

Работал он над «Блохой» с большим увлечением. Да это и понятно: здесь во всю силу могли загореться краски его любимой Руси. И думаю, не ошибусь, если скажу, что эта была одна из самых удачных — может быть, даже самая удачная — его театральная работа.

Опять каждые два-три дня я приезжал к Борису Михайловичу, он показывал уже сделанное, мы выдумывали новые подробности, новые забавные трюки. Работать с ним было настоящим удовольствием. В большом, законченном мастере — в нем совершенно не было мелочного самолюбия, он охотно выслушивал, что ему говорилось, и не раз бывало — менял уже сделанное. Ему хотелось, чтобы вышел по-настоящему хороший спектакль — и он не жалея труда, делал для этого всё, что мог.

Скоро эскизы декораций были готовы, отправлены в Москву, и через день оттуда было получено восторженное письмо Дикого. Теперь театр был уверен в успехе спектакля.

От напряженной работы над «Блохой» Кустодиеву всё время приходилось отрываться для выполнения разных скучных заказов — обложек, иллюстраций. Он чувствовал себя очень усталым, но тем не менее решил непременно ехать в Москву к премьере «Блохи» — и числа 7-8 февраля был уже там. Поселили его в самом театре, в комнате правления — рядом с фойэ.

Помню, с какой особенной нежностью относились к нему все актеры. В комнату правления началось паломничество: приходил то один, то другой, то несколько вместе. А работа над спектаклем — уже совсем лихорадочная — перед генеральной — шла своим чередом, и этой лихорадкой заражался Борис Михайлович. В пустой, темный зал, освещенный только лампочкой за режиссерским столиком, вкатывалось его кресло и становилось в проходе, Борис Михайлович сам проверял монтировку, свет, гримы, костюмы...

И, наконец, это же кресло Бориса Михайловича — уже в ярко-освещенном зале. Декорации каждого акта встречаются аплодисментами. Театр победил — и большую долю этой победы, конечно, нужно отнести на счет Кустодиева.

Ценнее всего, мне кажется, что в этой постановке Кустодиев победил не только публику, но и самого себя. Это была едва ли не первая его крупная работа, где он совершенно отошел от обычной своей реалистической манеры и показал себя большим мастером в совершенно, как будто, для него неожиданной области — в гротеске. Но и в этой области он оставался верен своей неизменной теме — Руси.

**

Весной 24-го года поднялся вопрос о постановке «Блохи» в бывшем Александринском театре. Казалось, что если и здесь художником спектакля будет Кустодиев — вся постановка выйдет слишком похожей на московскую. Попробовали иметь дело с другими художниками, сначала один, потом другой сделали эскизы и макеты к «Блохе», но всё выходило не то.

Как «Блоха», с которой он так сжился и которую так любил, пойдет без него — этого Борис Михайлович представить не мог. «А я всё-таки ее еще раз сделаю, по-новому — пускай хоть для себя», — говорил он мне. И, действительно, сделал новые эскизы декораций и костюмов. Кустодиев в них, конечно, остался Кустодиевым, но богатая его фантазия сумела найти другое — и не менее удачное — разрешение задачи.

Эскизы эти были осуществлены в ленинградской постановке «Блохи» в Большом Драматическом театре (зима 1926-1927 года).

После ленинградской премьеры «Блохи» шуточным обществом «Физико-Геоцентрическая Ассоциация» — в сокращении «Фига» — устроен был «блошиный вечер». Для этого вечера мною написан был пародийный рассказ «Житие Блохи»: туда

попал и автор пьесы, и художник ее, и актеры, и критики. Борис Михайлович прочитал «Житие» и шутя пригрозил мне: «Ну, ладно: я вам за это отомщу — будете помнить».

Когда я в следующий раз увидел Кустодиева, он уже начал «мстить»: он показал мне два первых своих рисунка к «Житию Блохи». Насмешливо-благочестивые, рисунки эти были сделаны в той же манере — старой деревянной русской гравюры — как иллюстрации к «Еразму», но были еще изящней, острее, легче, лаконичней, может быть, потому, что Кустодиев делал это весело, для себя, играючи.

Из задуманных — сколько помню — двенадцати рисунков он сделал только семь: «отомстить» до конца он не успел..

Ленинградская постановка «Блохи» и книжка «Житие Блохи» — это были уже последние совместные работы с Кустодиевым.

**
*

Еще раз мне пришлось близко подойти к Борису Михайловичу летом 26-го года.

Как только за окном, за высохшей мостовой, по-весеннему застучали колеса — Борис Михайлович, по обыкновению, начал мечтать о путешествиях. И, по обыкновению — ни для каких дальних путешествий не было денег. «Куда бы, куда бы это поехать, чтоб и капиталов хватило и чтобы это была не петербургская дача, а настоящее?» — спрашивал он меня.

Это лето я собирался проводить у себя на родине — в самом черноземном нутре России — в городишке Лебедянь Тамбовской губернии. Я предложил поехать туда и Кустодиеву, по правде говоря, без всякой надежды, что из этого выйдет что-нибудь, кроме разговора, потому что добраться туда было нелегко: в поезде две ночи, одна — в жестком вагоне. Но когда я стал рассказывать о ржаных полях, о горé, уставленной церквями, об увешанных наливными яблоками садах — Борис Михайлович вдруг загорелся и решил непременно всё это увидеть.

Я уехал в Лебедянь раньше. Борис Михайлович с семьей попал туда только месяца через полтора — в начале августа. К приезду для него была уже найдена квартира — две комнаты с балконом, в белом одноэтажном домике, окнами на улочку, густо заросшую травой. Перед балконом ходил привязанный к колышку белолобый теленок, важно переваливались гуси. В базарные дни, распугивая гусей, тарактели телеги, шли пешком пестропаневые бабы из пригородных сел. Одним концом улочка упиралась в голубую, наклоненную, как пизанская башня, ко-

локольно елизаветинских времен, а другим — в бескрайние поля. Это было «настоящее», это была — Русь.

Я жил на соседней улице — в пяти минутах от квартиры Кустодиевых. Каждый день или я с женой приходили к Борису Михайловичу или его в кресле привозили к нам в сад, или Кустодиевы и мы отправлялись на берег Дона, на выгон, в поле. И тут я видел, с какой жадностью Борис Михайлович пожирал всё изголодавшимися глазами, как он радовался далям, радуге, лицам, летнему дождю, румяному яблоку.

В том саду, где я жил, этим летом фрукты были особенно хороши. Часто мы приберегали для Бориса Михайловича ветку яблок, потом подвозили его в кресле — и он сам рвал яблоки с дерева. «Вот, вот этого мне и хотелось — чтобы самому рвать», — говорил он. И, хрустя яблоком, набрасывал этюды: ему очень нравился вид сверху, из сада, на другой берег Дона.

Я редко видел раньше Бориса Михайловича таким веселым, разговорчивым, шутливым — каким он был этот месяц. Но к концу августа погода как-то испортилась, заглодало, пошли дожди, Борис Михайлович начал жаловаться, что зябнет — и скоро уехал к себе, в Ленинград. Зимой я увиделся там с ним уже на репетициях «Блохи» в Большом Драматическом театре. А когда опять настало лето (1927 г.) — Бориса Михайловича уже не было.

**
*

Так замкнулся круг моих встреч с Кустодиевым: от книги «Русь» — до этой живой Руси: так вышло, что с ней, любимой его Русью, он провел последнее лето своей жизни. Это было неслучайно: Русь — в сущности, единственная тема всех его работ, он ей не изменил, и она не изменила ему — и не изменит.

Уже после смерти Кустодиева мне случилось говорить о нем с одним из больших наших художников. Мой собеседник признался мне: «Ведь вот при жизни я, пожалуй, не очень даже любил работы Бориса Михайловича. А теперь, когда он умер — вижу, как его не хватает, и вижу, что его место — некому занять, и так оно останется незанятым никем».

Он был прав. Потому что Кустодиев был единственный, неповторимый художник — и единственным было его удивительное, подвижническое житие.

Евг. Замятин.

1928 г. Петербург.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЛЕНИН

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

В конце января 1904 года в Женеве, в маленьком кафе на одной из улиц, примыкающих к площади *Plaine de Plainpalais*, сидели — Ленин, Воровский, будущий посол Советской России в Италии, Гусев (Драпкин), будущий начальник Политуправления республики. Четвертый был пишущий эти строки. Я пришел после других и не знаю, с чего начался разговор между Воровским и Гусевым. Я только слышал, что Воровский перечислял литературные произведения, имевшие некогда большой успех, а через некоторое, даже короткое, время настолько «отцветавшие», что, кроме скуки и равнодушия, они ничего не встречали. Помню, в качестве таких вещей он указывал «Вертера» Гёте, некоторые вещи Жорж Занд, у нас «Бедную Лизу» Карамзина, другие произведения и, в их числе, — «Знамение времени» Мордовцева. Я вмешался в разговор и сказал, что раз указывается Мордовцев, почему бы не вспомнить «Что делать» Чернышевского? «Диву даешься, как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого прославленного романа написаны таким языком, что их читать невозможно. Тем не менее, на указание об отсутствии у него художественного дара Чернышевский высокомерно отвечал: «я не хуже повествователей, которые считаются великими». Ленин до сего момента рассеянно смотрел куда-то в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что я говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул закрипел. Лицо его окаменело, скулы покраснели — у него это всегда бывало, когда он злился.

— Отдадите ли вы себе отчет что говорите? бросил он мне. Как в голову может притти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышев-

ского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса? Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю — недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло-ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно. Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал. Когда вы читали «Что делать»? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял его глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

— Значит, спросил Гусев, вы не случайно назвали в 1902 году вашу книжку «Что делать»?

— Неужели, ответил Ленин, о том нельзя догадаться?

Чернышевский, сопоставленный с Марксом, был для меня в то время всё равно, что Тредьяковский в сравнении с Пушкиным. Поэтому из нас троих наверное меньше всего я придавал значение словам Ленина. Наоборот, у Воровского они вызвали большой интерес. Он начал спрашивать когда, кроме «Что делать», Ленин познакомился с другими произведениями Чернышевского и вообще какие авторы имели на него особо большое влияние в период, предшествующий знакомству с марксизмом. Ленин не имел привычки говорить о себе. Уже этим он отличался от подавляющего большинства людей. На сей раз, изменяя своему правилу, на вопрос Воровского он ответил очень подробно. В результате, получилась не написанная, а сказанная страница автобиографии. В 1919 году В. В. Воровский — он был короткое время председателем Госиздата — счел нужным восстановить в памяти и записать слышанный им рассказ. Хотел ли он его вставить в начинавшееся тогда издание сочинений Ленина или написать о нем статью — не знаю. Стремясь придать записи наибольшую точность, он обратился

за помощью к памяти лиц, присутствовавших при рассказе Ленина, т. е. к Гусеву и ко мне. Лучшим способом установить правильность передачи было-бы обращение к самому Ленину. Воровский это и сделал, но получил сердитый ответ: «теперь совсем не время заниматься пустяками». Гусев, находившийся на фронте гражданской войны, оказал Воровскому минимальную помощь. Тетрадку, — а в ней для замечаний и добавлений к записи Воровский оставил широкие поля, — он возвратил почти без пометок, ссылаясь, что многое не помнит. В отличие от него, я внес в запись кое-какие добавления и некоторые выражения Ленина, крепко сохранившиеся в памяти. Впрочем, мои добавления были очень невелики. Запись Воровского была сделана так хорошо, с такой полнотой, что в них не нуждалась. После этого я больше Воровского не видел. Вскоре он был назначен на пост посла в Италию, а в 1923 году убит в Лозанне.

В течение многих лет у меня не было особого мотива вспоминать о записи Воровского. Когда она попала в мои руки, я сделал из нее несколько извлечений, положил их в свой «архив» и о сем забыл. Роман Ленина с Чернышевским мне был непонятен, возбуждал только недоумение. Рассказ Ленина его совсем не рассеял. В сочинениях Чернышевского я не видел революционности, которая могла бы, как марксизм, «перепачкать» такую натуру как Ленин, а о революционной и подпольной деятельности Чернышевского имел смутное понятие. Эта сторона жизни Чернышевского и поныне плохо представлена в литературе. Объясняется это тем, что арестованный Чернышевский со всей присущей ему энергией доказывал, что за ним нет вины, что он только жертва произвола, никаких улик против него не имеется. Проводя такую тактику защиты, Чернышевский не знал, что тот, кого он называл «добрым другом» (поэт и переводчик В. Д. Комаров), спасая себя, его выдал. А узнав, Чернышевский всё-таки продолжал изображать «невинную жертву»¹ и даже много лет спустя говорил: «за что меня

¹ «Невинную жертву» он изображал, ожесточенно нападая на арестовавшее его начальство. Например, о следственной по его делу комиссии он писал коменданту крепости, что «этот бестолковый омут совершенно глуп». Его письма «Всепресветлейшему, Державнейшему, Великому Государю Императору» изумляют тоном, с которым он обращается к царю. Во втором письме он почти требует от царя освободить его и дать «право иска» к лицам, его заключившим в тюрьму и «незаконными действиями причинившим денежные убытки».

сослали — не знаю». Тщательно избегая дезавуировать заявления «властителя дум», впасть в противоречие с его показаниями, все друзья и единомышленники Чернышевского, а потом позднейшие историки, вроде Лемке, усиленно поддерживали версию его невинности. В итоге, многие факты были спрятаны и затушеваны. Революционная деятельность Чернышевского оказалась густо затемненной заговором сознательного о ней умолчания. Но если знать, а такое знание пришло ко мне с запозданием, прокламацию Чернышевского «К барским крестьянам», прошедшую через его руки прокламацию Шелгунова «К русским солдатам», не без его одобрения напечатанную прокламацию «К молодому поколению» Михайлова, сотрудника «Современника», письмо Чернышевского к Герцену, подписанное «Русский Человек» и помещенное в 1860 г. в «Колоколе» (призыв к «топору»!) и, наконец, прокламацию его поклонника Зайчневского — «Молодая Россия», в которой, на мой взгляд, наиболее точно отражен строй революционных воззрений Чернышевского, — тогда взгляд на него и на все его подцензурные произведения резко меняется. Скрытого динамита в них предостаточно. Сменяя полное к нему равнодушие, интерес к Чернышевскому и его понимание появились у меня всё-таки не прямо, а, так сказать, рикошетом, в связи с следующим обстоятельством.

С 30-х годов всё более становился жгучим вопрос о судьбах России, ее революции, ее идеологических корнях. Уже нельзя было ограничиться тем, что я знал о Ленине. Не желая быть слепым пред тем, что произошло, я, как и другие, не только захотел, а принуждался «изучать» Ленина, фигуру, бросившую гигантскую тень на целый период мировой истории, положившую начало этому периоду. Кто сей человек, сыгравший такую роль в новейшей истории мира? Он не появился как *deus ex machina*. Так не бывает. У него есть предшественники. Под идейным влиянием каких предшественников произошла его духовная и политическая формация? Все говорят: влияние Маркса. Одного ли Маркса? Не было ли глубокого и властного влияния кого-то до Маркса, внушившего то, что ни Маркс, ни Энгельс внушить ему не могли? Раз такой вопрос встал, память естественно напомнила, как тигром налетел на меня Ленин в защиту Чернышевского, его ответ Воровскому, а потом запись Воровского. Но где находится эта запись? Трудно допустить, чтобы такой важный документ не был напечатан. Я искал его во всей доступной мне советской литературе и ни-

где не находил. Так как запись Воровского опровергает многие каноны казенных биографий Ленина, возможно, что ее печатание запрещено. Но если это предположение неверно, тогда следует заключить, что в бумагах Воровского она не найдена и ее следует считать погибшей¹. В таком случае приобретают значение даже извлечения из нее, сделанные мною в 1919 г., хотя это только краткие «выжимки», не дающие достаточного отчета о рассказе Ленина со многими ссылками на разные статьи Чернышевского. Для истории «ленинизма» всё-же лучше это, чем ничего. Итак, вот что рассказал Ленин:

— Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько как в год после моей высылки в деревню из Казани². Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, при чем мы с сестрой³ состязались кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Всё напечатанное им в «Современнике» я прочитал до последней строки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским

¹ В течение десятилетий советские издательства печатали и перепечатывали разный хлам, но «Литературно-критические статьи» Воровского, качества не первоклассного, но всё-же лучше хлама, собранные и изданы *только в 1948 г.* Лишь недавно проявленное внимание к литературному наследству и бумагам Воровского дает некоторую надежду, что может быть найдена и будет напечатана и его запись.

² Ленин был выслан в Кокушкино, 40 верст от Казани, имение его матери и тетки. «Ссылка» продолжалась от начала декабря 1887 года по ноябрь 1888 г. «Что делать» он прочитал в Кокушкине летом 1887 года.

³ Сестра — Анна Ильинична, высланная в мае 1887 г. из Петербурга после казни Александра Ульянова. Некоторое время только она и Ленин жили в Кокушкине. Потом туда переехала вся семья Ульяновых. Ленин со всеми удобствами жил в семейной обстановке. Трудно это называть «ссылкой».

материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля и, так как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал, замечательные по глубине мысли, обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетради, в которые всё это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти¹. Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретаетя безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно в полунамеках². Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, проницательностью и силою как Чернышевский понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма. В бывших у меня в руках журналах возможно находились статьи и о марксизме, например, статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать

¹ Чернышевский умер в 1889 г. в Саратове.

² «Расшифровке» политических взглядов Чернышевского могла помочь и сестра Анна. Она была старше Ленина на 6 лет, вращалась в Петербурге в среде оппозиционно настроенного студенчества и до 1898 разделяла народнические воззрения.

— читал ли я их или нет¹. Одно только несомненно — до знакомства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши разногласия») они не привлекли к себе моего внимания, хотя, благодаря статьям Чернышевского, я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это наталкивали очерки В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта, Скалдина. До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее, влияние имел на меня только Чернышевский и началось оно с «Что делать». Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления. Пред этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени.

Говоря о влиянии на меня Чернышевского, как главным, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи, одна о романе Гончарова — «Обломов», другая о романе Тургенева — «Накануне», ударили, как молния. Я, конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано, я отнесся к ней по ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение,

¹ В записи Воровского было указано о каких статьях говорил Ленин. В моих «извлечениях» этого, как и многого другого, нет. Ленин, вероятно, имел в виду статью Ю. Жуковского «К. Маркс и его книга о капитале», помещенную в «Вестнике Европы», в 1877 г. и статью в том-же году в «Отечественных записках» Михайловского: «Карл Маркс пред судом Ю. Жуковского». Возможно, что речь шла о другой статье Михайловского в «Отечественных записках» в 1872 г. — о русском переводе I тома «Капитала». В то время они могли остаться ему неизвестными по той причине, что, в отличие от «Современника», — «Вестник Европы» и «Отечественные Записки» в книжном шкафу в Кокушкине были представлены не полными годовыми комплектами, а лишь разрозненными книгами. Указание на это сделано Воровскому Анной Ильиничной.

как и «Обломова», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовывалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову) и Засулич: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода. Куда там! Добролюбова, которого Энгельс называл социалистическим Лессингом, у нас не было»¹.

**
*

Переданный рассказ бросает несомненно новый свет на лицо Ленина, историю его формирования и дальнейшего бытия. Последуем за его указаниями. Когда поздней осенью 1888 г. Вл. Ульянов, возвращаясь из своей, так называемой, «ссылки», снова появился в Казани, Веретенников — двоюродный брат и ровесник, мог заметить, что «Володя» уже не тот юноша, с которым в Кокушкине он любил играть на бильярде и купаться в речке Ушне. За лето 1887 и 1888 г. он стал «взрослым, серьезным человеком, как будто, лет на пять, по крайней мере, старше меня». Его знания были уж обширны. Во многих отношениях это был вполне сложившийся человек. «Запойное» чтение глубоко «перепахало» Ульянова. Но читал он в это время не Маркса, а Чернышевского. Теоретически и психологически он стал революционером до знакомства с Марксом. Существующий на этот счет партийный канон следует считать ложным. Не поддаваясь упорно поддерживаемому заблуждению, никак нельзя сказать, что это марксизм вылепил и создал Ленина: как это будет показано в дальнейшем, к моменту встречи с марксизмом, Ленин, под влиянием Чернышевского, оказался уже крепко вооруженным некоторыми революционными идеями, составившими специфические черты его политической физиономии, именно как Ленина.

С чего началось «перепахивание»? Отбрасывая легенды, есть полное основание утверждать, что в гимназии Ленин был

¹ Интересна оценка Марксом Добролюбова или «Ehrlieb», как о нем говорил Маркс, переводя его фамилию на немецкий язык. В письме от 9 ноября 1871 года к Даниельсону он писал: «как писателя я ставлю Добролюбова наравне с Лессингом и Дидро».

весьма равнодушен к общественным вопросам. Его сестра Анна писала, что в то время как брат Александр «усердно сидел за Марксом и другой политико-экономической литературой», Ленин, живший с ним в одной комнате, ею совсем не интересовался. «Лежит бывало на своей койке и читает Тургенева». К общественным вопросам он был приведен толчком от «Что делать» и только после казни брата. «Тогда я взялся за настоящее чтение «Что делать» и просидел за ним не несколько дней, а недель». Чернышевский ему внушил, что всякий «действительно порядочный человек» должен целиком отдаться общественным вопросам и быть революционером. «Без приобретения привычки к участию в гражданских делах, без приобретения чувства гражданина (Чернышевский хотел сказать — чувства революционера), ребенок мужеского пола, вырастая делается существом мужеского пола средних, а потом пожилых лет, но не становится мужчиной благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах». Без пламенного участия в таких делах жизнь есть «злослышная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость». Вот первый заряд, полученный от Чернышевского. С ним в нераздельной связи стоит и второй.

В картинах «Что делать», в снах Веры Павловны, Вл. Ульянов впервые познакомился с идеей социализма, с «новой эпохой всемирной истории», ведущей, как писал Чернышевский в своих статьях, к «союзному производству и потреблению», «переходу земли в общинное владение, а фабричных и заводских предприятий в общинное владение всех работников на этой фабрике, на этом заводе». Такие революционные преобразования приведут к строю, в котором не будет «нужды и горя», а только «вольный труд, довольство, добро и наслаждения».

Каменев, в бытность редактором первых изданий сочинений Ленина, правильно заметил, что ни в одном из его произведений нет описания строя, за который он боролся. Кроме взывающего к чувству туманного представления о социалистическом строе, полученного из «Что делать» — Ленин (подобно всем другим!) ничего иного не имел, не желал иметь, да и не мог иметь. Несколько строк из «Критики Готской Программы» Маркса большого дополнения сюда не вносили. Ленин относился к этому строю, как верующие к «царству небесному» с тем отличием от прохладно верующих, что за неверие

в его веру мог сажать в тюрьмы и расстреливать. Обращаясь за помощью к брошюре Маркса о Парижской Коммуне, Ленин пред октябрем 1917 г. впервые сделал попытку для себя самого конкретизировать в чем же заключаются основные черты социализма. Оказалось, что диктатура пролетариата (под сим он разумел диктатуру его партии) должна привести к строю, где не будет ни армии, ни полиции, никто не будет получать выше средней платы рабочих и всё население поголовно будет управлять государством и обобществленными средствами производства. Через короткое время всё это было отставлено и с 1920 года Ленин говорил уже с явным раздражением о прежних картинах коммунистического и социалистического строя: «Мы имели книги, где всё было расписано в самом лучшем виде и эти книги в большинстве случаев являлись самой отвратительной (sic!), лицемерной (?!) ложью, которая лживо рисовала нам коммунистическое общество. Теперь в наших статьях нет ничего похожего на то, что раньше говорилось о коммунизме». «Старые формы социализма, — добавлял он, — убиты навсегда». За год до смерти Ленин снова вернулся к вопросу, что же такое социализм, и формула на этот счет им данная, совершенно в духе Чернышевского: это строй цивилизованных кооператоров при общем владении средствами производства.

Было-бы лишним ломиться в открытую дверь и доказывать, что с начала 90-х годов Маркс, сев на трон в центре мировоззрения Ленина, стал для него пророком, оракулом, премудрым советником, блюстителем вечной истины. «Хулу на Маркса, — писал он в начале 1917 года Инессе Арманд, — не могу выносить спокойно». Он не мог выносить спокойно и хулу на Чернышевского. Последний для него не есть автор, как все прочие авторы. Он его Иоанн Креститель, его «покоривший» первоучитель. Чернышевский — первая идейная любовь Ленина. А первая любовь, говорят, самая сильная. Несмотря на свое многописание, Ленин не дал ни одного очерка, ни одной статьи, специально посвященной Чернышевскому. Не потому ли, что боялся, говоря о своей первой любви, впасть в чрезмерную сентиментальность или с точки зрения марксизма в ересь? Но, разумеется, он не мог о нем и молчать и к ссылкам и цитатам из Чернышевского прибегал в трудные моменты политической борьбы. Обильные почтительные, хвалительные, любовные замечания по его адресу разбросаны по всем томам сочинений Ленина. Ни о ком другом, не исключая и Маркса,

он не говорил с таким количеством *superlatifs*. Он называл его «великим социалистом домарксова периода», «великим русским писателем», «великим предшественником русской социал-демократии», «демократом эпохи нераздельности демократизма и социализма», «великим русским гегельянцем», лучшим представителем «великорусской культуры», «замечательно глубоким критиком капиталистического строя», писателем, «провидения» которого относительно реформы 1861 г. «были гениальны». От его статей, писал Ленин, «веет духом классово-борьбы» и его «могучая проповедь умела даже подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров». Преклонение пред Чернышевским шло у Ленина столь далеко, что даже его тряский, тяжелый, как булыжники мостовой, язык (ужасен перевод Милля) он считал «великим и могучим» и ставил в один ряд с языком Льва Толстого и Тургенева! Он никогда не забывал Чернышевского и Крупская заметила, что «каждый раз, когда он говорил о нем, его речь в с п ы х и в а л а с т р а с т н о с т ь ю». В ссылке в Сибири этот, казалось бы чуждый сентиментальности, человек, хранил как реликвию два портрета Чернышевского. Портрет последнего был у него в эмиграции, в Женеве, Париже, а в Кремле, рядом с сочинениями Маркса, Энгельса и Плеханова, он держал «полное собрание сочинений Чернышевского, которое в свободные промежутки времени читал в н о в ь и в н о в ь». Жаль, что Крупская не догадалась сообщить какие же произведения Чернышевского он читал «вновь и вновь». Нужно думать, что в конце своей жизни Ленину, диктатору «всей России», более чем когда-либо было ясно, чем он обязан Чернышевскому в пути от Кокушкина к Кремлю.....

В ответе Ленина Воровскому указывается, что впервые с философским материализмом и диалектикой он познакомился из сочинений Чернышевского. Две эти вещи столь важные атрибуты мировоззрения Ленина, что за них одних он должен был чувствовать вечную благодарность к просветившему его первоучителю. Но из каких сочинений Чернышевского, в каком виде, еще до знакомства с Энгельсом и Плехановым, Ленин получил представление о философском материализме как таковом — неясно, о том лишь можно догадываться. Иначе обстоит с диалектикой, считавшейся у русского марксизма, начиная с Плеханова, волшебным, высшим приемом анализа и познания (лампа Аладина — «Сезам, отворись!»), доступным лишь избранным ортодоксальным марксистам. Не нужно гадать в ка-

ком сочинении познакомился Ленин с диалектикой. Для этого достаточно перелистать «Очерки гоголевского периода русской литературы» и найти страничку, где Чернышевский с семинарским глубокомыслием рассказывает, что «знаменитый диалектический метод» «был выставлен Гегелем как предохранительное средство против поползновений уклониться от истины в угождение личным желанием и предрассудкам». Пользуясь этим методом, исследователь «должен искать нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд». Исследователь не должен забывать, что «всё зависит от обстоятельств, от условий места и времени», что «отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна» и «определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит». До 1914 года, когда, познакомившись с перепиской Маркса и Энгельса о диалектике, Ленин о ней написал статью для Энциклопедического Словаря Граната и начал уже мудрить о «развитии по спирали, а не по прямой линии», и 1915 г., когда, читая «Логику» Гегеля, Ленин признавался, что всё сие «сугубо темно», «ничего не поймешь» (см. его «Философский дневник»), его представление о диалектике ни на йоту не уклонялось от определений, внушенных ему Чернышевским. Он неоднократно повторял, что диалектика требует смотреть на явления «относительно, конкретно, всесторонне», что — «основное правило диалектики: абстрактной истины нет, истина всегда конкретна» и «эту великую гегелевскую диалектику не следует смешивать с пошлой житейской мудростью»¹. Кроме пересказа издавна въевшихся в него формул Чернышевского мы ничего тут не найдем.

Насколько послушно следовал Ленин за указаниями своего первоучителя свидетельствует следующий факт. «Великолепные», по мнению Ленина, очерки об эстетике Чернышевского² (Тургенев называл их «тупостью и слепотой»), высоко оцененные в 1946 г. Ждановым, удушителем русского искусства, бы-

¹ Интересно определение диалектики в знаменитом «Кратком курсе ВКП(б)»: «в противоположность метафизике диалектика исходит из того, что... все предметы природы имеют свою отрицательную и положительную сторону». Углубление Гегеля Кузьмой Прутковым!

² «Эстетическое отношение искусства к действительности».

ли напечатаны в 1854 г. и, во втором издании, в 1865, без имени автора, находившегося тогда в Сибири. В 1888 г. Чернышевский, живший уже в Саратове, намеревался выпустить свои очерки в третьем издании и написал к ним предисловие. Оно было запрещено цензурой, увидело свет лишь через семнадцать лет после смерти Чернышевского в вышедшем в 1906 году десятитомном издании его сочинений. В предисловии есть 13 строк о «большинстве натуралистов», которые, болтают «метафизический вздор», повторяют «теорию Канта о субъективности нашего знания, толкуют со слов Канта, что ф о р м ы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с ф о р м а м и действительного существования предметов, что поэтому предметы действительно существующие и действительные качества их непознаваемы для нас и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, влагающего весь материал знаний в формы совершенно различные от формы действительного существования».

Мы приводим это упростибельное изложение взглядов Канта, чтобы показать, что оно не отходит от уровня гимназических сочинений по философии. Но это Чернышевский dixit и Ленин, ознакомившись с этими 13 строками в только что вышедшем издании сочинений Чернышевского, за них ухатывается. Подготавливая свою философскую книгу, он в марте 1909 г. писал сестре Анне: «я считаю к р а й н е в а ж н ы м противопоставить махистам Чернышевского». В своеобразной обработке он и прибавляет цитированные строки в качестве приложения к своей книге, сопровождая их ругательствами по адресу «махистов», т. е. лиц, разделяющих взгляды венского ученого Маха. Свидетельство Чернышевского ему кажется пушкой, пульверизирующей без остатка махистов. Философский авторитет первоучителя, в его глазах, высок как Гималаи. Он титулует его «великим русским гегельянцем и материалистом», «единственным действительно великим русским писателем, который сумел с 50-х годов вплоть до 88 года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников». Ленина не смущало, что его Иоанн Креститель не мог отбросить «жалкий вздор» махистов, хотя бы потому что главные сочинения Маха появились после смерти Чернышевского. Он прославляет «великого гегельянца» с таким усердием, что, отмечая у него погрешность только в терминологии, ставит его как философа « н а о д н о м у р о в н е » с Ф. Энгельсом.

А большей похвалы в этой области от Ленина и ждать нельзя. Плеханова он никогда так не величал. К его философским работам Ленин с 1909 года стал относиться довольно презрительно. «Плеханов, — писал он, — избитую пошлость покрывает иезуитской ссылкой на диалектику». Чрезмерные панегирики в честь Чернышевского были бы абсолютно непонятны, если бы мы теперь не знали, что Ленин был привязан к нему узами особого свойства. «Я до сих пор влюблен в Маркса», — говорил Ленин всё той же Инессе Арманд. До конца дней своих он был «влюблен» и в Чернышевского.

Если не знать о сильнейшей идейной привязанности Ленина к Чернышевскому, будет непонятна его реплика, брошенная Гусеву: неужели нельзя догадаться почему моей книге я дал заглавие романа Чернышевского? В самом деле — почему? В идейном строе Чернышевского существовала — это часто бывает у людей — большая двойственность. С одной стороны, он сухой рационалист-детерминист и в этом порядке идей личности отводил роль маленького служителя «непреложной исторической необходимости». «Мировые события не зависят ни от какой личности; они совершаются по закону столь же непреложному, как закон тяготения». С другой стороны, что более отвечало его натуре, самоуверенному характеру, высочайшей самооценке, в воззрения Чернышевского врывался буйный социалистический субъективизм и тогда личность — сильная личность! — объявлялась властным творцом истории. Важнейший фактор в мировых событиях «это появление сильных личностей, которые дают характер направлению событий, ускоряют или замедляют их ход, сообщают своей преобладающей силой правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы». Общества «не могут шага ступить без поддержки какой-нибудь с и л ь н о й л и ч н о с т и». Народам нужны «авторитеты и оракулы», указывающие путь к какой-нибудь «возвышенной цели». «Пройдут еще целые века, пока люди найдут, что могут обходиться без руководства вождей, оракулов, стойких, активных, сильных личностей». Этот взгляд насквозь пронизывает «Что делать» Чернышевского. Он задался целью окружить апофеозом революционное, творящее историю, активное меньшинство. Роман писался в камере Петропавловской крепости, прежде чем попасть в «Современник» проходил через руки крепостной администрации, следственной комиссии, подвергался потом обычной цензуре. Более чем когда либо Чернышевский принуждался быть осторожным, выражать-

ся намеками и, конечно, называть своих героев не революционерами, а иносказательно — «новыми людьми», «новым типом». Даже при чрезмерной осторожности и недомолвках, Чернышевскому, — насколько позволял тусклый язык, — удалось создать нечто вроде акафиста со звоном в честь революционеров. Царская цензура этого не поняла, а когда поняла роман был уже напечатан. Характеризуя революционеров, «новых людей», Чернышевский писал: «каждый из них человек отважный, неколеблющийся, неотступающий, умеющий взяться за дело так, что оно не выскользнет из рук». Революционеры не «общая натура людей», а особый тип. Они глубоко отличаются от окружающей их среды. «Они все на один лад» и у них «всё на один лад». «Всё они представляют как-то по своему: и нравственность, и комфорт, и чувственность, и добро». «Кто ниже их — тот низок». Среди нового типа есть особо сильные личности и «легкий абрис одной из них» Чернышевский дает в лице Рахметова. «Он поважнее всех нас здесь взятых вместе», это «высшая натура, за которой не угнаться мне и вам». Это особая «порода», для которой революция (Чернышевский пишет: «общее дело») есть «необходимость, наполняющая жизнь». Значение этих «высших» и «кипучих» натур громадно. Это они ведут к «возвышенной цели».

«Ими расцветает жизнь всех, без них она заглохла бы, прокисла. Мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохлись бы. Они как теин в чаю, букет в благородном вине, от них ее (жизни) аромат, это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земной». «Родился этот тип и быстро расплождается. Через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: спасите нас и что они будут говорить — б у д е т и с п о л н я т ь с я в с е м и ».

Это не собрано на какой-то одной странице, а, прячась от цензуры, раскинуто среди 450 страниц романа. Только тщательно собирая как бы вскользь брошенные замечания, можно понять куда клонит и что проповедует Чернышевский. Ленин, пишет Крупская, очень любил это произведение: «я была удивлена как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в романе, он заметил». Слова Крупской, характеризующие отношение Ленина к «Что делать», до невозможности бесцветны и вялы. Многие непонимавшая в своем муже, несмотря на почти 30 лет знакомства и совместной жизни, она видела маленький огонек, «штрихи» любопытства там,

где бушевало пламя. «Роман Чернышевского меня всего глубоко перепахал. Я просидел над ним не несколько дней, а неделя. Только тогда я понял его глубину. Эта вещь, которая дает заряд на всю жизнь». Заряд и остался. «Что делать» Ленина как бы продолжение «Что делать» Чернышевского¹. С внешней стороны между ними ничего общего. У одного — серо-романизированный трактат, у другого — страстный призыв, революционное поучение. А суть в них одна и та же. Одна и та же забота. Книга Ленина в ее скрытой субстанции насыщена мотивами Чернышевского. Ленин переносит из 60-х годов 19-го столетия в обстановку начала 20-го столетия тезис Чернышевского о «двигателе двигателей», о миссии новых людей, не дающих жизни заглухнуть, умеющих взяться за революционное дело, упорно добивающихся, чтобы их слово «исполнялось всеми». Героев Чернышевского — Рахметова, Кирсанова, Лопухова, Веру Павловну — Ленин облакает в костюм «профессиональных революционеров», единственным занятием которых является «делать революцию». Для этого они должны быть воспитаны в духе наиболее разрушительных идей ортодоксального марксизма. Они должны не с вялостью маленького «кустаря», а со страстью и в широчайшем, «индустриальном», масштабе вести «всенародное обличение», чего всегда и жаждала душа Чернышевского и всей редакции «Современника». «Новые люди», революционеры — по мысли Ленина, идущего за Чернышевским — должны быть вездесущими. Им надлежит идти «во все классы общества в качестве теоретиков, пропагандистов, агитаторов, организаторов». В нужную минуту они должны «продиктовать» (заметьте — « п р о д и к т о в а т ь » !) «программу действий волнующимся студентам, недовольным земцам, возмущенным сектантам, обиженным учителям и прочим и прочим». Они как дух, витающий над бесформенной массой. Они должны быть готовы на всё, в том числе «на назначение и проведение всенародного вооруженного восстания». Ленин вполне согласен с Чернышевским, что без «Рахметовых» шага ступить нельзя. «Без десятка талантливых, а таланты не рождаются сотнями, профессионально подготовленных вождей н е в о з м о ж н а в современном обществе стойкая борьба». «Разве вы

¹ Книга Ленина напечатана в Штутгарте в типографии члена Рейхстага, социал-демократа Диц. В молодости он жил в Петербурге и, работая в типографии «Современника», участвовал в наборе «Что делать» Чернышевского. «Типографская смычка» двух «Что делать»!

не знаете, какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной личности?» Вера Ленина во всеисилье энергично действующего кружка, организации профессиональных революционеров, такова, что он убежденно восклицает: «дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию». Это — героическая концепция истории. В гармонии с нею решается и вопрос об отношениях революционной партии к рабочему классу.

Во всем мире, писал Ленин, «рабочие желают объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных законов». Подобного рода социально-политическую деятельность он называет трэд-юнионизмом и смотрит на нее с великой подозрительностью. Трэд-юнионизм изменяет, постепенно трансформирует капиталистический строй вместо того, чтобы этот строй разрушить, разметать, до тла снести, как этого требует и тому учит социалистическая идеология. Но социалистическое сознание и социалистическую идеологию собственными силами рабочее движение создать не может, не способно. Они приносятся в него «извне» из революционной лаборатории «цвета лучших людей», «соли земной». Собственными силами рабочий класс в его «стихийном движении» может выработать лишь низкокачественное трэд-юнионистическое сознание». Трэд-юнионизм «есть буржуазная политика рабочего класса», неизбежно ведущая к «идейному порабощению рабочих буржуазией», «превращению рабочего движения в о р у ж и е б у р ж у а з н о й д е м о к р а т и и». Если допустить, что это так (этому противоречит появление Бевинов и Беванов, например, из английского трэд-юнионизма!), тогда, чтобы «вытолкнуть» рабочих из капиталистического строя, к которому они «стихийно» приспособляются, от авангарда гегемонов, от тех, кто считает себя «двигателем двигателей», требуются гигантские усилия. Ленин это подтверждает. Он так и пишет: «нужна о т ч а я н н а я борьба со стихийностью». «Нужно с о в л е ч ь рабочее движение со стихийного стремления трэд-юнионизма под крылышко буржуазии». Отношение между совлекаемой массой и ее совлекающими героями, профессиональными революционерами, приобретает здесь вид, отличающийся от доктрины Маркса. Уже нельзя говорить, что рабочему классу не даст освобождения «ни Бог, ни царь, ни герой» и что это дело его собственных рук. Итог «совлечения» в перспективе «Что делать» Ленина зависит только от отчаянной борьбы авангарда, некоей, по французскому вы-

ражению, *minorité agissante*, всеми способами добывающейся, чтобы слово ее «исполнялось всеми». «Масса, писал Чернышевский, — материал для производства дипломатических и политических опытов. Кто взял над нею власть и говорит ей, что она должна делать, то она и делает. Такого взгляда держатся практические государственные люди. Нельзя не признаться, что этот взгляд очень близок к истине». Но чтобы миллионы и миллионы людей, составляющих рабочий класс, «созвлекать» с пути, по которому он стихийно, неудержимо стремится, организация, занимающаяся совлечением, должна, очевидно, обладать особой силой, иметь особое строение, состоять из людей «особой натуры», практиковать особые методы пропаганды, агитации, воздействия на массы. Это не партия как все другие партии, во всяком случае не похожая, например, на немецкую социал-демократическую партию. Это, — пояснял Ленин, — должна быть «могучая, строго-тайная организация, концентрирующая в своих руках все нити деятельности, организация по необходимости централистическая», не выборная, а основанная на «отборе» нужных ей лиц (кто же «отбирает»? Центр в центре — вождь?). Позднее Ленин к этому добавит: организация должна быть построена «на основе железного централизма» и «внутри своих рядов создать железный военный порядок». В ней должна «господствовать железная дисциплина, граничащая с дисциплиной военной», ее центр должен быть «властным авторитетным органом с широкими полномочиями»...

Можно избавить себя от продолжения. Историческая картина лично нам представляется довольно ясной. В начале, в 1864 г., в качестве отправного пункта для развития некоего комплекса революционных идей, — «Что делать» Чернышевского, написанное в камере Петропавловской крепости. У этого отправного пункта есть, конечно, своя предистория, мы ее не коснемся, иначе пришлось бы говорить о печати, наложенной на психику Чернышевского пребыванием в духовной семинарии, с другой стороны, отмечать влияние на него Фурье, Р. Оуэна, Робеспьера, Бабефа, Бланки и др. От «Что делать» направился «заряд» и в 1887-88 г.г. в Кокушкине зажег Ленина. Вдохновляясь им и марксизмом (как видим — весьма перегнутым!), Ленин в 1902 году создал свое «Что делать». На «перегибы» этого произведения тогда же обратили внимание некоторые товарищи Ленина (среди них будущий меньшевик А. Н. Потресов), но истинный дух произведения обнаружен ими лишь много лет позднее. В преобладающей части партии ленинское «Что де-

лать» было встречено восторженно. «В истории предреволюционной эпохи, по словам Каменева, нельзя назвать ни одного произведения, влияние которого мало-мальски приближалось к влиянию этой книги на процесс формирования политических сил в России». Идеями «Что делать» Ленина вдохновлялся созданный им Центральный Комитет партии большевиков и те же идеи стали главенствующими в созданном Лениным в 1919 году Коминтерне. Если-бы между двумя «Что делать» требовалось указать промежуточные звенья развития всё того же революционного императива, надлежало бы вспомнить «Набат» Ткачева (Ленин упоминает о нем в «Что делать») и идеи левого якобинско-террористического крыла Исполнительного Комитета «Народной Воли», на «обаятельность» которых и их влияние на него в молодости указывает Ленин всё в том же «Что делать». А если от Коминтерна Ленина, следуя за «диалектикой» перерождения идей, тронутых гнилью и отмеченных червоточинной, итти дальше — дорога приведет к Кремлю Сталина и его Коминформу.

Многое, что вошло в Ленина от Чернышевского, оседало в виде измененном, переработанном, облицованном марксизмом. Однако, есть вещи от его первоучителя к нему перекочевавшие почти без поправок, ставшие такою же неотъемлемой принадлежностью Ленина, как косящие глаза, татарский облик. В числе этих приобретений на первом плане — глубочайшая, неистовая ненависть к либерализму в самом широком смысле этого понятия. Известно, что Чернышевский следил за либералами от «Кадикса до Кенигсберга, от Калабрии до Нордкапа», можно прибавить «от Санкт-Петербурга до Владивостока», — как жандарм за ворами и злоумышленниками. Боязнь слишком обнаружить революционность своей позиции заставляла его писать о либералах, если не с меньшим презрением, то с меньшей, чем он хотел, жестокостью, и всё-таки никакие прикрытия и заслоны от цензуры не могут скрыть его ненависть и абсолютную нетерпимость к либерализму. Те, «кому нужен энтузиазм, кто жаждет деятельности и блага» должны «в о з н е н а в и д е т ь л и б е р а л и з м». Таково его убеждение, аксиома, заповедь. «Либерализм — превздорное слово, которое порождает столько путаницы в головах, столько глупостей в политической жизни, приносит столько бед народу». Либерализм «у лучших его представителей — легкомысленное заблуждение относительно истинных потребностей нации», у других только «приманка, чтобы привлечь на свою удочку нацию, захватить власть и на-

бить себе карманы». «События обнаружили пустоту и решительную бесполезность либерализма, хлопотавшего только об отвлеченных правах, а не о благе народа, самое понятие о котором ему оставалось чуждым». «Либерализм говорит о свободе, но понимает ее узким чисто формальным образом. Не переставая быть либералом невозможно выйти из узкого понятия о свободе». Либералы пекутся «о свободе печатного слова, о парламентском правлении», но народу «нужна не альпийская роза, а кусок хлеба». «Нужда и невежество отымают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими. Будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?» «Масса народа хочет коренных изменений в своем материальном положении, либерализм забывает об этой потребности». Либерализм «может казаться привлекательным только человеку, избавленному судьбою от материальной нужды». «В отчаянии либерал может становиться радикалом, но такое состояние духа в нем ненатурально, он постоянно будет искать повода избежать надобности в коренных переломах общественного устройства, повести дело путем маленьких исправлений».

Со времени, когда писались эти строки, прошло почти сто лет. Либерализм, с его качествами, по мнению одних, огромными, н е и з л е ч и м ы м и недостатками, по убеждению других, продолжает, хотя измененный давлением времени, быть крупной идейной государственной, политической силою в Европе и Америке. Но Чернышевский еще в половине 19 века считал его мертвой, исторически превзойденной политической формой, обреченной на исчезновение в самое близкое время. «Либерализм всюду обречен на бессилье», «с каждым годом число либералов в Европе уменьшается». Несмотря на его знание исторической науки, взгляды Чернышевского временами базируются на чудовищном антиисторическом подходе к общественным вопросам. Он подменяет анализ обличением и беспощадным приговором. Перестав быть церковно-религиозным, Чернышевский, родившийся к тому же в левитской семье, всё таки всю жизнь не мог стереть с себя черты, привитые пребыванием в духовной семинарии, где мечтал быть пастырем-проповедником. Со страниц «Современника», точно с амвона, он всё время проповедует. Всё время морализирует и наставляет на истинный путь. Некрасов о нем сказал: «его послал Бог гнева и печали царям земли напомнить о Христе». Да, было время, когда Чернышевский носил в душе образ Христа и пи-

сал в своем дневнике: «Христос мил своею личностью, так вливает в душу мне мир, когда подумаешь о нем». От этого Христа он далеко ушел, заменив крест топором. «Ничто, кроме топора, не поможет, — заявлял он Герцену. — Перемените тон и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь». На что Герцен ответил: «Мы никогда не добивались звания архиепископа пропаганды, ни барабанщика восстания». «Топор — *ultima ratio* притесненных».

Произнося беспощадные приговоры, Чернышевский ни минуты не считался с основным правилом диалектики, за которую так распинаялся: «абсолютной истины нет, истина всегда конкретна», всё зависит от обстоятельств места и времени. Он был убежден, что если бы ненавистный ему либерализм не прибегал к помощи реакционных сил, не сопротивлялся желаниям народных масс, были бы возможны всюду «коренные изменения в общественном быту» и строй, в котором нет «нужды и горя», а только «вольный труд, добро и наслаждения». Благоустривающие человечество спекуляции — подобно всем социалистам-утопистам — Чернышевский вел без малейшего серьезного анализа культурной подготовки народных масс, при отсутствии ясного представления об экономическом состоянии обществ, их техники производительных сил, производительности общественного труда. Недаром у Маркса, несмотря на его величайшее уважение к Чернышевскому, при чтении произведений последнего, вырывались замечания (на полях книг): «*stupide!*» «*Blunder!*», — на что Чернышевский, конечно, не обратил бы никакого внимания. О присланной ему в Сибирь работе Маркса «К критике политической экономии» он презрительно заметил: это «революция на розовой воде». До каких антиисторических абсурдов, не считаясь с обстоятельствами времени и места, мог договариваться Чернышевский показывают некоторые его примечания к переводу политической экономии Милля. Благосостояние, писал он, могло быть достигнуто «в обществах не то что цивилизованных, а даже и во всех тех, которые успели выйти хотя бы из грубейшего дикарства». Подчеркивая и развивая эту мысль, он утверждал, что «не только в нынешней Англии или Германии, а даже в Англии IX века, в Германии X века, в нынешних Персии, Малой Азии, труд по степени своей внутренней успешности уже мог содержать общество в благосостоянии». Чернышевский гордился, что превосходит знает А. Смита, Рикардо, Мальтуса, а их троих было бы достаточно, чтобы показать полную абсурдность представле-

ния о возможной успешности общественного труда в X веке. Почему же люди тогда, в этом X веке, не произвели «коренные изменения» и не установили благосостояние и социализм? Человеческая натура, отвечал Чернышевский, здесь невиновата, тут «виноват только недостаток расчета». Под этим он разумел «точный счет общественных сил и потребностей», нечто подобное тому, что ныне называется экономическим дирижизмом, планированием хозяйства.

Всё, что три десятка лет назад, Чернышевский писал о либерализме, Вл. Ульянов в Кокушкине — место его духовного рождения! — впитывал как губка воду. «Проповедь» Чернышевского (Ленин так и писал: проповедь!) его покоряла. Восприятию антилиберализма способствовало и некоторого рода предрасположение. Вл. Ульянов не мог забыть (это было перед окончанием гимназии), что «ни одна либеральная каналья симбирская не отважилась высказать моей матери словечко сочувствия после казни брата. Чтобы не встречаться с нею, эти канальи перебежали на другую сторону улицы». Чернышевский как-то обмолвился, что «нужно остерегаться заражать других своею идеологической язвой». А именно такое заражение он передал Вл. Ульянову. Он «разил его своею непримиримостью в отношении либералов» — правильно заметила Крупская. С бесспорными признаками сильнейшей антилиберальной инфекции мы встречаемся в первом же произведении Ленина «Что такое друзья народа и как они борются с социал-демократами», вчерне набросанном в 1893 году в имении Алакаевка Самарской губернии, потом обработанном в Петербурге в 1894 году и выпущенном на mimeографе. Эти очерки (часть их не найдена) пышат жаром только что усвоенного марксизма. Вл. Ульянов, как молодой петух, задорно кукурекует марксистские формулы и хочет сказать, рассказать в сё, в сё что знает. При внимательном чтении не трудно заметить, что за спиною его марксизма стоят властные назидания и проповеди Чернышевского. Под влиянием последнего редкая страница «Что такое друзья народа» не кричит о ненависти к либералам. О них у Вл. Ульянова нет слов кроме: либеральная грязь, либеральная дребедень, либеральное филистерство, либеральный кретинизм, либеральное штопание, либеральное крохоборство, либеральное пустоболтунство и т. д. «Приспешники буржуазии» — «пустая кишка, полная страха и надежды на начальство». Кого так поносит Ленин? Народников — эпигонов Чер-

нышевского. За что он их так клеймит? За то, что вырвали из рук революционное знамя Чернышевского, «стройную доктрину», «подымавшую крестьян на социалистическую революцию». Во времена Чернышевского была «вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни, отсюда вера в возможность крестьянской социалистической революции — вот что одушевляло и поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством. Я спрашиваю — где теперь эта вера?» Ее утерев, эпигоны Чернышевского превратились в глазах Ленина в мерзких либералов. Значит, они не друзья народа, а его враги. Остервенение, с которым молодой Ленин набрасывается на этих врагов народа, не знает удержа и предела. О вожде легальных народников — редакторе журнала «Русское Богатство» — Н. К. Михайловском, личности благородной и безупречной, он писал: Михайловский всё «извращает и перевирает», он «лает на Маркса из подворотни», он «сел в лужу и прекрасно чувствует себя в этой неособенно чистой позиции, сидит, охорашивается и брызжет кругом грязью». Какие бы разумные реформы, полезные для народа, ни предлагали народники и либералы — Вл. Ульянов всё отвергает. Это либеральное штопание, тогда как нужна революция, работа топором. В 1891 году Ульянов встал даже против кормления голодающих крестьян. Он видел в этом либеральную слащавую сантиментальность, скрывающую низменное желание, подкармливая голодного мужика, отвести его от революции. Мысль Ульянова всё время бродит около идеи «финала», взрыва, экспроприации экспроприаторов, превращения хозяйства в «общинное» (термин Чернышевского) владение. Пусть капитализм давит, увечит, угнетает, разоряет, пролетаризирует народные массы. Не смей какими либо реформами задерживать этот процесс, мешать ходу колесницы Джагернаута! Чем хуже, тем лучше, тем скорее взрыв и финал. Расходясь с действительным положением страны и с воззрением на этот счет Плеханова и Аксельрода — основоположников русского марксизма, Ленин считал, что Россия уже тогда, т. е. в начале 90-х годов, еще при царе Александре III, представляла собою «окончательно сложившееся буржуазное общество». Буржуазия давит на правительство, «порождая, вынуждая, определяя буржуазный характер его политики». Русское государство «есть не что иное как орган господства этой буржуазии». Она превратила царское правительство в «своего лакея». При абсурдном убеждении в, якобы, полной социально-политической слитности самодержавного правительства и ка-

питалистической буржуазии, свержение царизма, в представлении молодого Ленина, должно было подсознательно очень крепко ассоциироваться с мыслью об одновременном низвержении капитализма и буржуазии. «Свалив абсолютизм, русский рабочий пойдет прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции». Совершенно ясно, что разжигаемый такой идеей Вл. Ульянов ненавидел «либеральное штопание» и либералов; это логично для человека, перепаханного Чернышевским. Когда Каменев находился еще на советском Олимпе и держал в своих руках такое важное дело как редактирование сочинений Ленина, он, в предисловии к их I-ому тому, назвал «Что такое друзья народа» вещь «пророческой», «предвосхищающей позицию большевиков в грядущих десятилетиях». «Кто хочет понять корни революционной программы 1905 и 1917 г.г., тот должен изучить данную работу». Ни запись Воровского, ни многое другое не были известны или не привлекли внимания Каменева, поэтому, он так и не узнал, кем была вдохновлена «пророческая» работа молодого Ленина и где ее корни.

Н. Валентинов.

ИЗРАИЛЬ

(ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ)

«Понять судьбу Израиля значит понять судьбу человечества, значит понять судьбу человека».

Владимир Соловьев.

Израиль — невелик и необилен, но порядок в нем есть. Это первое, что бросается в глаза и поражает особенно сильно, может быть, только русского туриста. Кто помнит 17-ый год, не может не провести параллели между тем, что стало за один тот «безумный» год с великой, не пространством только, обильной и могучей Россией, и что удалось создать на крохотной, запущенной, со всех сторон незащищенной части Палестины. Строить приходилось на пустом месте, часто — из ничего. Уходившая из Палестины английская администрация не только не оставила ничего, что могло бы пойти на пользу ее преемникам, — она умышленно разрушала необходимое для сохранения порядка, подрывала и осложняла возможность образования нового правопорядка. И тем не менее он создан и существует. Это было едва ли не самым трудным. Это, может быть, и самое значительное из многих достижений молодого, насчитывающего всего три года государства.

Как только вы ступаете на почву Израиля, вы ощущаете, что жизнь там налажена и организована. Страна, как все страны новейшей цивилизации, — под контролем государственной власти, с таможенными чиновниками, налоговым аппаратом, органами здравоохранения, полицией и проч. В Израиле действует англо-саксонская система суда и права, с *Habeas Corpus*, публичным разбирательством, состязательным процессом и прочими гарантиями личной свободы.

Там действует и за два года успела на свой лад сложиться и английская парламентарная система с поправкой на всем из-

вестные недостатки многофракционного французского парламентаризма. Израильский парламент — Кнесет — состоит из одной палаты, избранной на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования с соблюдением всех демократических требований. Кнесет — средоточие всей власти государства и вместе с тем клуб, или место встречи и общения представителей израильской политики, религии, просвещения, рабочего движения.

Для Кнесет строят в спешном порядке — в Израиле всё делают в порядке спешности — специальное здание. Пока что он занимает помещение, предназначавшееся для банка и наскоро приспособленное для нужд народного представительства. На галерее места для публики и прессы. Внизу в сравнительно большом зале, на некотором возвышении, трибуна председателя. За его спиной на стене огромный портрет Герцля. Тут же секретари, а в углу за стеклом переводчик с микрофоном, по которому он передает с арабского и на арабский язык речи тех двух — из трех — депутатов-арабов, которые не знают иврит (еврейский язык). Спикер вооружен молоточком, на американский образец. Перед ним аппарат для сигнализации светом и звуком — о том, что время оратора, справа от него, истекает или что предстоит голосование. В середине зала за прямоугольным столом размещены 120 депутатов в порядке численности групп, к которым они принадлежат. На крайней левой — от председателя — наиболее многочисленная партия труда, Мапай, партия Бен-Гуриона (46 депутатов); затем 19 членов Мапам (советофильская партия); за ними депутаты религиозного блока (16); группа Хейрут (бывш. Иргун; 14); так называемые, Общие Сионисты (7); прогрессисты (5); сефардим (4); коммунисты (4) и другие.

Когда в январе 1949 г. происходили выборы в первый Кнесет, только что закончивший свое существование, население Израиля исчислялось в 867 тысяч. Избирательный корпус состоял из 506,567 человек, а приняли участие в выборах всего 440,095, разделившиеся на 21 партию и группу. Это превзошло худшие образцы предвоенной европейской демократии — Франции, Чехословакии, Латвии. Даже в только что закончившихся выборах Франции с 40-миллионным населением приняли участие «всего» 15 политических партий и группировок. Избыточность политических группировок или, общее говоря, возникновение политики и партийности во все недра и щели госу-

дарственной и бытовой жизни является одним из главных недостатков, я бы сказал даже «бичем», в общем хорошо налаженной демократической государственности.

Как и многие другие страны, Израиль поражает своими резкими контрастами. И не только физическими: море и горы, пустыня и оазисы, дюны и камни, апельсиновые рощи и болота. На небольшом расстоянии здесь можно встретить и двугорбого верблюда и роскошные Кадиллаки, здания в новейшем архитектурном стиле и тысячи самых примитивных палаток, черного и коричнево-бурого цвета, разбросанных на пригорках и по долинам: в них долгие месяцы вынуждены не жить, а ютиться новоселы, прибывающие с разных концов света. Рядом с шегольским костюмом от Диора или Фата арабская абайя (род халата) и кефия с агалом (головной убор из платка, спускающегося на плечи, со шнуром с перехватами на платке) или — лоснящиеся длиннополые куртки и отороченные мехом круглополые шляпы. «Столичная штучка» и — выходцы из средневекового гетто с закрученными, почти до плеч спадающими пейсами, европейцы и африканцы из Марокко и Киренаики или азиаты из Йемена, Ирака, Курдистана, не знающие, что такое платье и белье, как умываться и как укладываться спать на кровать, не видавшие никогда электричества, канализации, водопровода. Контрасты идут и дальше. Наряду с проявлением энтузиазма, жертвенности и героизма, — бюрократизм, nepoтизм, кумовство, корысть и спекуляция.

Кто знал евреев былой черты оседлости, не может не удивиться внешней перемене. Те же евреи и в то же время иные: менее суетливые, более опрятные и, что особенно бросается в глаза, — более дисциплинированные. Соблюдают очередь в ожидании автобуса и даже внутри автобуса, обычно битком набитого, стараются не толкаться и быть предупредительными. Бывает даже, — пожилым или женщинам уступают добровольно места.

Молодежь и здесь, как везде, производит впечатление избалованной, своенравной, иногда даже грубой до агрессивности. Как правило, она ни во что и ни в кого, кроме себя, не верит. И не она только считает себя солью земли. Так же смотрят на нее и со стороны, ибо всякий знает и помнит, что главным образом ей страна и люди обязаны своим спасением — она отстояла их почти голыми руками.

Люди в Израиле, конечно, не переродились, — к счастью, никто не пытался их и «перековать» насильственно. Но они из-

менились и, в общем, — к лучшему. Этого не следует преувеличивать, но не следует этого и упускать. В прошлом характерным для евреев был их «инфериорити комплекс» — сознание приниженности и забитости. Еврей в Израиле поражает — порою и возмущает — своим новым «супериорити» комплексом: чувство справедливой национальной гордости окрашено горделивым самомнением, что Израиль всё способен осилить и всё преодолеть — никто ему не указчик и не советник. Превращение одного ощущения в другое легко объяснить. Комплекс превосходства — вариант того же ветхозаветного богоизбранничества еврейского народа, которое в других формулировках овладевало раньше или позже воображением многих «исторических» народов. Как бы то ни было, возникновение нового комплекса среди евреев Израиля неоспоримо и, может быть, находится в какой-то связи с тем, что одним из часто употребляемых там слов оказывается «чудо». При этом речь обыкновенно идет не о религиозных чудесах, о которых говорится в священном писании, — не о приостановке движения солнца или насыщении тысяч пятью хлебами и двумя рыбами. Имеются в виду чудеса социально-политические и военные, очевидцами коих были сами рассказчики.

Успешное сопротивление и конечная победа иногда десятков невооруженных и необученных евреев над — трудно поверить — тысячами наседавших на них арабов иначе как чудом, невероятным и для всех неожиданным, никто объяснить себе и другим не в состоянии. Так было и на египетской границе, и на сирийской, и на ливанской, и в Иерусалиме. Может быть, решающим часто бывало не столько отчаянное мужество евреев, которым отступать было некуда, кроме как в море, сколько растерянность и несогласованность в действиях противника. Может быть, камуфляж, блеф и разведка в данной кампании играли более значительную роль, чем обычно. Во всяком случае «чудо», закономерно повторявшееся, уже переставало быть счастливой случайностью, а свидетельствовало о наличии и кой-чего другого, кроме отваги, — скажем, и некоторого «умения».

Новейшие чудеса и сейчас волнуют сердца живущих в Израиле. И эти чудеса затмевают собой другие — более давнего происхождения, которые может наблюдать и приезжий. Всякий своими глазами может видеть, что «преобразование природы», которое советская пропаганда выдает за свою исключительную монополию, является в Израиле не мифом, а реаль-

ностью. И невооруженный глаз может сравнить то, что стало, с тем, что совсем недавно было. Буквально рядом непроходимые песчаные дюны, болота или камни и скалы, еще ждущие своего «преобразования», — и тут же города с огромными зданиями и парками, водопроводные трубы, превосходные шоссе с выстроенными местами шпалерами древесными насаждениями для защиты от песка, фруктовые деревья, цветники и т. д.

Преобразование палестинской природы свободной волей человека, его трудом и энтузиазмом, длится уже 70 лет, — с того времени, когда преследуемые самодержавной властью евреи стали уходить из России и Польши в Палестину. В поисках лучшей и более праведной жизни, уходившие рвали не только со своей родиной, но и с привычным для них жизненным укладом. Следуя заветам раннего русского народничества, Льва Толстого и Генри Джорджа, они бросали городскую жизнь и садились на землю, чтобы вместе с природой преобразовать и свои отношения с окружающей их средой.

Неподалеку от Генисаретского озера, в поселке Кфар Иехезкел, я встретил участника и создателя сельскохозяйственного кооператива, который попал в Палестину еще в 1904-м году, после погромов в Кишиневе и Гомеле. Тогда не было только автобусного сообщения, но даже шоссе, и всю страну он прошел по способу пешего хождения с котомкой за плечами. Пальцы его закорузли от многолетней тяжелой работы на земле. Но он продолжает считать труд не проклятием, а благословением. Он решительно отказался от предложенной ему папиросы:

— Не курю. Считаю излишеством... Надо жить проще, сокращать свои потребности... Смысл жизни в труде...

В другом поселке, Даганья Б., хозяйство ведется на коллективных началах. Имеются самые последние технические и социальные усовершенствования, — в частности замечательный дом для грудных и малолетних. И вместе с тем чрезвычайно ограниченное пользование вошедшей в культуру всех народов финикийской выдумкой — денежными знаками. Члены коллектива работают на земле, разводят молочное и куриное хозяйство, рыб в искусственных прудах, продают продукты своего труда, но выручка поступает не к ним, а в кассу коллектива. Избираемое правление снабжает всем необходимым — одеждой, посудой, обстановкой, которые получают «в натуре» и в стандартизованном виде. Только в порядке исключения выдают деньги на руки на мелкие расходы, для поездки в город и т. п. Пи-

таются сообща в громадной столовке. И редко кто имеет «свою» квартиру или даже отдельную комнату.

Это примитив? Конечно. Но люди живут так годами и десятилетиями и не жалуются. А кому не нравится, выходит из коллектива и находит более подходящий уклад жизни. Существуют разные типы сельско-хозяйственных кооперативов и коллективов, с большим и меньшим преобладанием коллективного начала над индивидуальным. Существуют квуцы (посёлки не больше 500 человек, без частной собственности на средства производства с коммунальным потреблением) и кibuцы (те же квуцы, но более крупных размеров — в несколько тысяч сочленов), которые ведутся с соблюдением всех предписаний религиозного ритуала, и такие, которые ритуалу не следуют. Как тенденцию последнего времени, можно отметить, что преобладание коллективного начала не встречает сочувствия среди новоселов последних лет, особенно среди прибывших и прибывающих из Европы. Краса же и гордость былых палестинских пионеров — кibuцы — явно на ущербе по причинам социальным и партийно-политическим.

**
*

Внутренняя жизнь Израиля отягчена тремя мучительными проблемами: как наладить экономику, как организовать иммиграцию и как установить отношения между государством и религией?

Общеизвестно, что экономика одно из наиболее «узких» мест Израиля. Страна нуждается во всем: от продовольствия и сырья до всяческих фабрикатов и машин. Она ввозит на 102 миллиона фунтов, а вывозит всего на 17. Карточная система охватывает множество предметов первой необходимости, — в частности, пищу, одежду, обувь. Население не голодает, как в Индии, но питается чрезвычайно скудно и однообразно. Хлеба достаточно, но жиров и мяса не хватает, и они второстепенного качества. Многих спасает от голода лишь помощь со стороны — от зарубежных друзей, родных, сочувствующих. Помощь денежная, как правило, не достигает цели из-за принудительного курса, который правительство поддерживает на ни с чем несообразном высоком уровне. За израильский фунт взимают 2 доллара 80 центов, тогда как реальная его цена не превышает и 80 центов, то-есть ниже 30% номинала. Поэтому, наряду с натуральным обменом городских товаров на деревенские продук-

ты, существует неофициальный курс, приравнивающий фунт к доллару и почти узаконенный общественным мнением.

Питание — одна из главнейших забот и, увы, тем в Израиле. Рационирование и распределение продуктов по карточкам не предотвратило появления черного рынка. Черный рынок вызвал усиление продовольственного контроля — машины, направляющиеся в Тель-Авив, подвергаются осмотру и обнаруженные в них мясо, рыба, куры, яйца, сметана, творог подвергаются немедленной конфискации. Это увеличило риск спекуляции, но не упразднило ни черного рынка, ни спекуляции. К черному рынку прибегают самые широкие, патриотически настроенные круги населения. Недостача всего — бумаги, льда, гвоздей, ниток, чашек — вызвала дороговизну, инфляцию и спекуляцию, питающие недовольство и нарекания со стороны не только политических противников и зоилов. Редко кто отрицает, что люди, которые возглавляют Израиль, хорошие люди, бескорыстные, исполненные самых лучших намерений. Но режим, ими созданный, по мнению оппонентов, негоден — обрекает страну на постоянный и безысходный кризис.

При англичанах не хватало земли для желающих ее обрабатывать евреев. Теперь не хватает евреев, которые могли бы землю обрабатывать. Почему? Потому, что нет капиталов, которые оплодотворили бы страну, если бы их не пугала правительственная политика планирования и регулирования. Опасаются инвестировать капитал не только крупные богачи, но и среднего достатка люди. Если считать еврейский капитал во всем мире равным 15 миллиардам долларов, достаточно, чтобы десятая его доля была вложена в Израиль, и страна стала бы экономически на свои ноги и даже процвела. Так уверяют себя и других принципиальные противники планированного хозяйства, даже для такого государства, как Израиль.

Нам представляется, что причину перманентного хозяйственного кризиса надлежит искать вовсе не в системе хозяйствования, а в экономической географии Израиля, в течение тысячелетий отданного на волю ветров пустыни, песку и камню. Автаркия для Израиля исключена. Он не может экономически существовать сам по себе, индустриализироваться собственными средствами, — разве только там обнаружатся уран, забьет нефть, или откроются залежи железа или меди. Реальная политика вряд ли может делать ставку на это. Ни текстиль, ни выделка искусственных зубов или шлифовка бриллиантов в придачу к экспорту апельсинов и грейп-фрутов не могут обеспечить

экономического существования населения, растущего с исключительной быстротой. Сейчас страна существует благодаря добротным даяниям со стороны. Но в качестве постоянного источника дохода на это рассчитывать нельзя. Это сознают и в Израиле. Еврейский сарказм, не щадящий и евреев, придумал анекдот. Туриста из Америки спрашивают, как ему понравился Израиль?

— Ничего, всё хорошо. Я опасаясь только одного: если израильское государство просуществует еще пять лет, Америка может обанкротиться...

Экономическое существование Израиля неразрывно связано с Ближним Востоком — с ролью, которую Израиль может играть в качестве проводника технического, экономического, культурного прогресса. Что это зависит не от одного доброго желания Израиля, об этом с трагической убедительностью свидетельствуют отношения, сложившиеся между Израилем и окружающими его арабскими странами. Для оптимистических прогнозов оснований мало. Если после первой мировой войны разрыв экономических и прочих отношений между Польшей и Литвой, и не между ними одними, мог длиться два десятилетия, почему полагать, что «холодная война» на Ближнем Востоке скоро прекратится?

С возможностью новой грозы и бури находится в прямой связи и иммиграционная политика Израиля. За трехлетнее существование население Израиля увеличилось вдвое — вещь непосильная и для долго и прочно существующей государственности. Достаточно сказать, что, в несравнимых с Израилем по масштабу, Соединенных Штатах Америки удвоение населения потребовало двадцати лет. Такой же срок в 20 лет понадобится Соединенным Штатам для поглощения новых 10 миллионов иммигрантов, — доказывают сейчас сторонники расширения иммиграции в США. Можно себе представить, каким бременем лег громадный прирост населения на только что возникшее, крошечное государство, не перестающее отбиваться от нападающего на него с шести сторон противника. Перед правительством стоял — и продолжает стоять — мучительный вопрос: продолжать ли иммиграцию на былых началах, т. е. путем о т б о р а годного и нужного стране материала, допускаемого в страну лишь после предварительной подготовки, или открыть страну в с е м евреям, безотносительно к их физическому состоянию, профессиональному и имущественному положению

Предстояло выбирать между «любовью к ближнему», которому угрожает смертельная опасность, и между «любовью к дальнему», — к тому, как мыслилось воссоздание еврейского государства его творцами. Правительство избрало первый путь — человеколюбия — и везет в Израиль всех, всех, всех: уцелевших в немецких лагерях инвалидов и стариков, которых не допускают к себе все другие страны; полуголых и нищих из Йемена и Ирака, Индии и Марокко, Румынии, Болгарии, Венгрии — отовсюду, всех желающих. Это гуманное и мужественное решение подсказано не только принципиальными мотивами — каждый еврей имеет неотчуждаемое и равное с другими право на страну своих предков, — но и практическими нуждами, необходимостью увеличить численность обороняющегося населения. Вместе с тем продолжение неограниченной иммиграции не перестает быть решением рискованным, от которого может зависеть не только быть ли еврейскому государству таким, каким его задумали, но и быть или не быть ему вообще. Бен Гурион может доказывать, что «неограниченная иммиграция окажется экономическим приобретением». Но это — музыка будущего, может произойти лишь позднее. Сейчас же за принятое решение приходится расплачиваться нынешнему поколению. Характер и размеры иммиграции определяют собой всю экономику страны: бюджет, продовольствие, домостроительство, культурные начинания*.

С этим невралгическим пунктом связан и другой. Социально-экономические конфликты и противоречия между интересами предпринимателей и трудящихся, владеющих и неимущих, присущи, конечно, и Израилю. Но они ничто или носят второстепенный характер по сравнению с теми, которые дают себя знать в сфере духовной — между большими и меньшими приверженцами еврейской веры и к ней совершенно равнодушными.

Политически Израиль страна передовая, демократия в ней полностью признана и господствует иногда даже с чрезмерной страстностью. Однако, до Франции 1905-го года и отделения государства от религии Израилю еще очень и очень далеко: государство не секуляризовано и во многом, слишком многом

* Лондонский «Экономист» от 12 мая с. г. цитирует документ Еврейского Агентства, в котором заявляется: «пока иммиграция из Ирака протекает ускоренным темпом, Еврейское Агентство будет вынуждено сократить временно иммиграцию из других стран». Таким образом, фактически сокращение иммиграции всё-таки произошло.

всё еще вынуждено считаться с раввинатом и старозаветным укладом жизни. Немного можно насчитать народов в истории, которые были бы связаны с религией так интимно, как евреи. Самое сохранение еврейства на протяжении тысячелетий истории относят на счет связанности народа с религией предков, дававшей людям внутреннюю силу выстоять все мучения и невзгоды. И по сей день Библия, пророки и Писания почитаются в Израиле одними как богооткровение, а другими как национальный фольклор и путеводитель по географии, истории, этике.

Правила парламентарной игры заставили партию Мапай вступить в коалицию с религиозным блоком. Чтобы иметь большинство в Кнесет для образования правительства, пришлось выбирать между религиозным блоком или советофильской партией Мапам. Мапай, возглавляемый Бен Гурионом, предпочел религиозный блок. Кто его за это осудит? Но пойдя на соглашение. Мапай вынужден был пойти и на уступки религиозному блоку, в который входили, наряду с более прогрессивными группировками религиозно настроенных рабочих, и ортодоксы консерваторы. Самая серьезная уступка состояла в сохранении за религиозными судами той же компетенции, которую при режиме мандата признавала за ними английская администрация. Это означало, что брак и развод, дела по наследованию и алиментам подлежат ведению раввинов и женщина ограничена в гражданских правах.

По сравнению с этой уступкой другие три носят второстепенный характер. Раввинат и религиозные учреждения приобретали значение публичной службы и субсидировались частично из средств государства. Публичный транспорт в субботние и праздничные дни подлежал запрету. И продовольствование армии и государственных учреждений должно было происходить с соблюдением религиозных предписаний — быть кошерным (чистым).

Коалиция оказалась непрочной. Она потерпела крушение на споре о том, в каких школах должны получать первоначальное образование и воспитание дети вновь прибывающих иммигрантов. Унаследованная со времен мандата система предусматривала четыре разряда школ, организуемых и руководимых четырьмя различными политическими группами, религиозными и светскими. На борьбе за души будущих граждан и строителей Израиля, ребят из Северной Африки и Малой Азии, и разразились два правительственных кризиса, в октябре прош-

лого и в феврале нынешнего года. Последний кризис осложнился еще правительственным проектом призвать к несению воинской повинности молодежь обоего пола. Религиозные ортодоксы нашли, что мобилизация женщин противоречит духу и букве Моисеева учения. Правительство соглашалось предоставить набожным девицам, после усвоения ими искусства владеть оружием, отбывать двухлетнюю службу государству не в казарме, а дома или на сельско-хозяйственной работе в коллективе религиозной группы; на службе в военном госпитале или канцелярии; наконец, — по обслуживанию новосёлов. Однако, и это не удовлетворяло руководителей религиозного блока. Нарушение предписаний Торы и соблазн усматривался в ношении военной формы или хотя бы отличительного военного значка или нашивки на рукаве.

Конфликт между религиозным началом и государственным разъедает Израиль изнутри и, как можно опасаться, представляет и в будущем чрезвычайно серьезную угрозу. Конечно, Израиль — не теократия: нет единого главы религии, да и религиозных групп не одна, а несколько, оспаривающих друг у друга монополию на правоверие. Тем не менее никак нельзя согласиться с утверждением израильского посла в Вашингтоне Абба Ибэн, когда он в апрельской книжке «Форень Афферс» пишет: «Государство не налагает никакого рода религиозных обязательств. Оно с полной терпимостью относится к соблюдению религии, к агностицизму и атеизму». Нет, и фактически, и формально религия вторгается глубоко в жизнь каждого в Израиле — верующего и неверующего. Мы уже упоминали, что брак, развод, наследование, алименты, образование, питание, сообщение — всё в той или иной мере вынуждено считаться с приказами и запретами религиозных учреждений*. Такие факты, как формальное запрещение ловить «нечистую» морскую рыбу или приказ о потоплении в море, прибывшей из заграницы свинины, не могут не вызывать раздражения или даже возмущения со стороны той части скудно питающегося населения, которая чужда или равнодушна к ритуалу моисеева законодательства.

В защиту правительства можно, однако, сказать, что ему приходится обслуживать людей самой различной культуры, в

* 17 июля, почти накануне истечения полномочий первого Кнесета и выборов во 2-ой, Кнесет расширил права еврейской женщины. За ней, в частности, признано право свидетельствовать в раввинских судах, быть опекуном, расширены права наследования.

том числе и фанатических приверженцев унаследованных обычаев и предубеждений. В качестве иллюстрации приведу эпизод, который можно было наблюдать даже не в богобоязненном Иерусалиме, а в «свободомыслящем» Тель Авиве. Освободившееся место в автобусе заняла женщина, соседом которой оказался молодой, средневековой внешности еврей. Он тут же вскочил как ужаленный и забился в угол автобуса — подальше от чужой женщины, самое прикосновение к которой греховно, нарушает Законы и Пророки...

В новом Иерусалиме имеется целый квартал «Сто ворот», войти в который равносильно погружению в средневековую Польшу и Литву. Здесь и базар, где продается все: от баранок и селедок до подержанных книг, в том числе французских и английских. Здесь и учат и учатся еврейской мудрости молодые и старые, своеобразной внешности, в пейзажах и ермолках, неряшливые и грязные. Из этих людей и их единомышленников за стенами квартала образуются те банды фанатиков, которые именуют себя «Стражами града» и швыряют камни, а то и жестоко избивают рискующих в день священного субботнего отдыха проехать мимо них или закурить папиросу. Еврей и вообще человек для них лишь тот, кто слепо следует установленному в средние века ритуалу, а еврейское государство, признающее это не в полной мере, самым фактом своего существования святотатственно противоречит возвешенному в Писании приходу Мессии и освобождению через Мессию, а потому оно — беспорное зло и наваждение.

Не будем ни драматизировать, ни идеализировать. Израиль во многих отношениях бессилён быть полновластным вершителем своих судеб. Он жертва бедной природы и общего хаотического положения в мире и на Ближнем Востоке. Его разъедает избыточность партийно-политического подхода и глубокие противоречия между требованиями жизни и обветшалыми нормами. Тем не менее Израиль живет живой жизнью — трудной, несколько провинциальной, но напряженной и творческой.

В речи перед своими единомышленниками, на конференции Мапай 31 марта, Бен Гурион откровенно признал: «мы пока что еще не государство и не нация, а группа в переходном состоянии... Мы государство в первоначальной стадии... И невозможно сейчас определить конечную цель государства. Может быть, и не будет никогда конечной цели. Это должны решить будущие поколения».

Однако, и нынешнее поколение, терпя лишения, считает, — может быть, ему так кажется, — что оно живет не зря. Оно видит плоды своих рук — пота, слез и крови, пролитых им самим, ближними и предшественниками, — и надеется, что плоды эти будут расти и множиться, и в том убедятся их дети или дети детей. Что это не совсем праздная надежда и мечта, можно судить по радостным лицам и беззаботному смеху детворы и подростков, которых на переполненных до отказа грузовиках почти ежедневно возят «осваивать» исторические, религиозные и героические достопримечательности страны.

**
*

Я умышленно не искал встречи с членами правительства, чтобы быть более свободным в публичных высказываниях. Но я беседовал со многими весьма осведомленными и авторитетными лицами — депутатами, руководителями политических, профессиональных, религиозных и других групп, с редакторами, писателями, журналистами. Почти каждый разговор на внешнеполитические темы начинался с интересовавшего меня вопроса:

— Для чего надо было Израилю так спешить с официальным признанием Мао Дзэ-дуна?.. Можно понять, почему это нужно было Индии с Пакистаном; соседней с Советским Союзом Швеции или Англии, оберегающей свой Гонконг. Но какой Гонконг побуждал Израиль гнаться в спешном порядке за благоволением красного Китая?..

Мне отвечали:

— В Гонконге у Израиля специальных интересов, конечно, нет. Но пример Англии для Израиля очень убедителен и заразителен. Для всего Ближнего Востока Англия — старый знакомый. С английской внешней и колониальной политикой судьба Ближнего Востока связана гораздо интимнее, чем с политикой недавнего туда пришельца, Соединенных Штатов. Даже во время вооруженной борьбы против английской администрации и политики Бевина евреи в Палестине оглядывались на Лондон и ждали помощи оттуда, от английских друзей.

Звучит парадоксом, но самая борьба против англичан мотивировалась многими преданностью английским учреждениям и традициям, верой в английский правопорядок. Евреи-англофилы доказывали, что англичане ниоткуда не уходили добровольно. Отовсюду — из Америки, Южной Африки, Ирландии, Индии

— их вынуждали уйти. А после этого с Англией устанавливались самые дружественные отношения. Так должно случиться и с Израилем. И на самом деле, отношения с Англией у Израиля значительно улучшились.

Скоропалительное признание режима Мао объясняется, конечно, не одним только подражанием примеру Англии. Было и другое.

Остро пережив свое собственное непризнание со стороны большинства государств, Израиль на отношении к Мао спешил дать урок всему миру, как надлежит относиться к этому вопросу. При этом следует иметь в виду, что в начале 50-го года отношение к красному Китаю со стороны других государств, в том числе и Соединенных Штатов, было далеко не тем, каким стало с 25 июня 1950 года, после нападения на Южную Корею. Приходилось правительству Израиля считаться и с настроениями в стране, не изжившими еще иллюзий своего «не-отождествления» ни с Западом, ни с Востоком и мнимой возможности сохранить «нейтралитет» на швейцарский образец. С другой стороны, внутрипартийная стратегия диктовала примирительную политику в отношении к «рабоче-крестьянской» партии Мапам, которая настаивала на признании Мао: соглашение с Мапам избавляло партию Бен Гуриона от протivoестественной коалиции с правым религиозным блоком.

К коммунизму правящая партия непримирима — идеологически и политически. Она знает, что торжество коммунизма означает конец еврейской государственности, если и не сразу, то в очень короткий срок. Другое дело — отношение Израиля к Советской России и советской внешней политике. Тут имеются сложные и разнородные мотивы.

Многие выходцы из России — а из России вышли президент Израиля, его премьер, большинство членов правительства, спикер и др. — сохранили чувство привязанности к бывшей родине, ее языку, литературе, музыке. В буфете Кнесет можно было встретить множество депутатов, понимавших, а то и превосходно говоривших по-русски. Один восторгался письмами Чехова, которые он как раз теперь читает; другой — Пушкиным; третий цитировал Тютчева; четвертый сетовал, что не может достать «Новый Журнал», так как затруднен перевод денег. Если бы Кнесет делился не на партии, а на землячества, российское землячество получило бы абсолютное большинство.

Чувство привязанности к бывшей России не только в правительственных, а в самых широких кругах населения, связано с

чувством глубочайшей признательности к Советской России: за Сталинград; за разрешение, данное Чехословакии продать Израилю оружие и аэропланы в самые критические дни борьбы с арабами; за поддержку в ООН плана раздела Палестины; за немедленное признание правительства Израиля *de jure*. Подсознательно, может быть, играло некоторую роль и убеждение, что, как ни гнусен и жесток советский режим, всё же по целям своим он родственного, освободительного духа. Ведь была пора, когда даже бесстрашный Бен Гурион не решался выступать с публичной защитой демократического социализма. Ибо живым олицетворением последнего считался британский социализм с враждебной еврейской государственности политикой Бевина, получившего одобрение английской рабочей партии. Если британский социализм образец и норма для всякого демократического социализма, стоит ли ради него подвергать себя и других риску отрицания и борьбы с режимом, выдающим себя тоже за социализм и кое-что осуществившим? «Нейтральное» отношение к Советам диктовалось израильской дипломатии еще другим обстоятельством, представляющим специальный интерес для русского читателя.

Израиль кровно заинтересован в притоке иммигрантов из Советского Союза. Помимо прочего, иммиграция из этого двухмиллионного резервуара уравновесила бы потоки африканской и азиатской иммиграции и подняла бы тем самым общий уровень цивилизации и культуры страны. Расчет и надежды строились на том, что, начиная с 1943-44 г.г. существенно изменилась психология нового поколения евреев в СССР. Изменилось и отношение к евреям со стороны советской власти.

Преследуя в рядах советской армии отступавших немцев, евреи возвращались на родные места в Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Бессарабии. Если они находили своих близких и родных, то — на кладбищах, а имущество их — уничтоженным или в чужих руках. Земляки тоже понесли тяжкие жертвы, но гибли всё же не поголовно и не так, как евреи. С удивлением, смешанным с негодованием, бойцы-евреи иногда дознавались, что к ограблению и даже умерщвлению в ряде случаев приложили руку соседи и односельчане, советские сограждане. Этот факт поразил воображение еврейской молодежи, внес смущение, заставил задуматься над тем, к чему привели 30 лет советского сосуществования, учебы и пропаганды. 30 лет твердили, что в Советской России, и только в ней одной, еврейский вопрос разрешен окончательно и бесповоротно, что никакого

антисемитизма там нет и, по уничтожении старых классов, быть не может, что сталинская конституция, не существующая нигде в мире, кроме России, обеспечивает культуру — национальную, лишь по форме, а по существу социалистическую. И вдруг — поголовное истребление и ограбление евреев не без содействия советских выучеников!*

Вторым фактором, углубившим национальное самосознание еврейской молодежи, явилась советская пропаганда против английского империализма в Палестине. Отмечая неудачи и поражения, которые терпела английская власть со стороны еврейской самообороны в Палестине и которые вынудили Англию, в конце концов, покинуть Палестину и отказаться от своего мандата, советская печать невольно вызывала в душах советских читателей симпатии к победителям, укрепляла и углубляла самосознание советских евреев. Еще большее впечатление произвел факт поддержки Советами раздела Палестины и немедленное признание Израиля. Это как бы официально легализовало положительное отношение к факту образования самостоятельной еврейской государственности. И когда в Москве появилось дипломатическое представительство Израиля, возглавленное Гольдой Меерсон, впервые за 30 лет стихийно возникла уличная демонстрация: многотысячные толпы евреев торжественно сопровождали членов израильской делегации до синагоги — от бывшего Охотного ряда до Спасо-Голенищевского переулка на Маросейке.

Эти факты заставили задуматься и советскую власть. В годы образования Советов евреи превосходили пропорционально почти все другие народности в поддержке советской власти и активным участием, часто на командных постах, в аппарате управления, в планировании хозяйства и т. д. Теперь те же евреи, — уже не крымские татары, чеченцы и калмыки, неблагодарные и несознательные, — обнаруживают недостаточную лояльность. И не евреи из Польши, массами бежавшие из «отечества всех трудящихся» при первой к тому возможности, а

* Только что вышла на английском языке обширная и поучительная работа С. М. Шварца: «Евреи в Советской России». В ней «кризис» в чувствах и мыслях евреев в СССР и возрождение еврейского самосознания отнесены ко второй половине 1941 г. — вслед за безразличным отношением советской власти к судьбе евреев при вторжении немецких орд в Россию.

«свои», советские евреи глядят в сторону не только Москвы, но и Тель Авива и Иерусалима!.. Особую национальность евреев Сталин, вслед за Лениным, отказался признать еще в своей «исторической» брошюре, которую он написал в 1913 г. Еврейской национальности не признает и сталинская конституция. И вот, вопреки этому евреи неожиданно обнаружили национальную солидарность, ощутили себя частью некоего национального единства, несмотря на рассеяние по всему миру и даже на территории Советского Союза.

Вместе с «идеологией» здесь терпело крах и политическое руководство ВКП(б). Снова выступал на сцену проклятый еврейский вопрос и в довольно непривлекательной постановке. Как быть? Нажать ту же пресс ассимилирования, не давший нужного результата за 34 года? Или свезти всех советских евреев в одно место, создав для них новую, советского типа черту оседлости? Или, в отступление от советской теории и практики, приоткрыть чуть-чуть клапан и выкинуть из советского рая недостойных его, испорченные элементы, — допустить частичную эмиграцию из СССР?

Неизвестно, на чем порешит Политбюро. Но вопрос этот навис над ним и ждет ответа. В некоторых кругах Израиля не изжита еще окончательно надежда, что при некоторых условиях, в частности при международном замирении, третье решение не безнадежно. А что надежды в действительности нет никакой можно судить по словам, обращенным недавно Бен Гурионом к советскому фараону и повторявшим слова Моисея и Аарона, сказанные фараону египетскому: «отпусти народ мой!...»

Ошибочность многих предпосылок, на которых строилась внешняя политика Израиля, очевидна. Большинство этих предпосылок отошли — или отходят — в прошлое. Изменение общей международной обстановки и свирепые личные нападки советской печати на Бен Гуриона, Шарета и других действуют убедительнее логических аргументов.

«Народ Книги» уважает и любит учение и на своем опыте учится новому для него искусству управления. Не всё во внешней и внутренней политике Израиля заслуживает одобрения. И характерно, что это осознано и признано. В таких случаях говорят: «Эйн брейра» — нет или не было выбора. Это выражение часто приходится слышать, когда обсуждается арабская

проблема. «Эйн брейра» свидетельствует, что политическая совесть наиболее вдумчивых и ответственных руководителей судьбами Израиля не вполне свободна от внутренних сомнений — чужда самодовольной уверенности в собственной непогрешимости.

Каково будущее Израиля? Прочно ли новое государство? Ответить на это трудно. Множество опасностей подстерегают его. Многое зависит даже не от самого Израиля, а от вне его лежащих факторов. Не Израиль один, а весь мир пребывает в мире неясного и нерешенного. И самые преданные новой государственности люди не вполне спокойны за его будущее. Но все опасения и сомнения со стороны отводятся ссылкой: а вы верили в возможность создания еврейского государства?.. Мы, сионисты, сами не верили, что это случится в наши дни... А вы верили, что удастся отбиться от арабов?.. Мы сами в этом были далеко не уверены. Если могли случиться «чудеса» в прошлом, почему им не повториться и в будущем? — Против такой веры возражения бессильны. Во всяком случае только изуверы-фанатики из иерусалимских «Стражей града» могут возносить молитвы об исчезновении израильского государства на том основании, что «абсурдно верить в то, что мы две тысячи лет так мучительно страдали и с таким упоением молились для того, чтобы в конечном счете занять место вроде Албании или Гондураса или спастись благодаря щедрому займу Америки», — как заявил корреспонденту нью-йоркского «Таймза» раввин Исаак Домб.

К сожалению, не одни только религиозные фанатики отрицают Израиль. Его роль и значение умаляют и их антиподы — неверующие бундисты, бессильные изжить предубеждения, сложившиеся пятьдесят с лишним лет тому назад, в совершенно иной исторической обстановке. Один из немногих оставшихся у Бунда идеологов, швейцарский профессор Л. Герш, доказывает, что милитаризм и государственное вооружение противоречат «тысячелетним традициям, составляющим существо и честолюбие еврейского народа». Древняя история евреев эпохи разрушения обоих храмов, убедительно, по мнению проф. Герша, доказывает, как губительно создание независимого еврейского государства в Палестине. «Пока мир управляется силой, только (!) рассеяние евреев направлено на спасение их от физического уничтожения, поскольку невероятно, чтобы враждебные

им силы поднялись одновременно во всех странах, где они живут».

Такой предельно-пессимистический взгляд на судьбы еврейского народа странным образом уживается рядом с крайним до наивности оптимизмом. Тот же Бунд, напоминая о своей принадлежности к «анти-сионистскому лагерю» и отказываясь приветствовать Бен Гуриона по случаю его приезда в Соединенные Штаты, счел нужным подчеркнуть, что «еврейская ветвь националистических вожелений — сионизм — не представляет решения еврейской проблемы и лишь универсальная победа освободительного социализма раз и навсегда разрешит наши проблемы и создаст условия для мирного сосуществования и культурного продвижения евреев как национального целого среди других народов». (См. «The Jewish Labor Bund Bulletin» No.No. 7-12, 1950 и No.No. 3-5, 1951).

Для раввина Домба история остановилась на разрушении второго храма в 70 г. христианской эры. Для проф. Герша — на 1897 году. Староверами могут быть и считающие себя самыми передовыми борцами и просветителями.

**
*

Я не коснулся многих сторон жизни Израиля. И о тех, которых касался, не говорил с той подробностью, которой они заслуживают. Многого за четыре недели своего пребывания в стране я, конечно, не видел и не мог видеть. Не уверен, что и сказанное выше адекватно действительности. Не будучи ни английским антропологом Горером, ни американским журналистом, я и не пытался истолковывать характер или судьбы еврейского народа, исходя из системы пеленания израильских младенцев.

Тем не менее я считаю своим правом и даже долгом свидетельствовать в меру моего разумения в пользу Израиля и сказать, что дело, которое творится в Израиле, большое и положительное дело. Никогда не принадлежа к сионистскому движению, я не стал сионистом и после посещения Израиля. Но я убежден, что в с я к и й человеколюбец, иудей или эллин и, тем более, преданный свободе, демократии и социализму, не может не сочувствовать Израилю, морально-политически о б я з а н желать ему всякого успеха.

Большевизм и нацизм наглядно показали, что история способна на долгие годы мириться с непредвидимым и бессмысленным анти-историзмом. Ленин считал необъяснимым «чудом», что с самого начала «так-таки и не нашлось никого, кто немедленно выкатил бы нас на тачке»; «советской власти помогает чудо. Чудо — октябрьский переворот. Чудо — польская война. Чудо — трехлетняя выносливость русского мужика и рабочего». То же отмечал и Троцкий: «Что советская Россия в состоянии бороться на всех фронтах и даже просто жить, этот факт есть величайшее историческое чудо».

В отличие от этих отрицательного порядка анти-исторических «чудес», Израиль явил миру положительное «чудо»: что Израиль в состоянии бороться на шести фронтах и даже просто жить, этот факт есть величайшее историческое чудо!.. И, вопреки неверию, будем верить, что это «чудо» пребудет.

Марк Вишняк.

30.VI.51.

“ВЕЛИКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДЕРЖАВА”

О советском транспорте имеется довольно большая литература, которая, впрочем, избегает одного из основных вопросов эксплуатации железных дорог — износа подвижного состава и пути, железнодорожных крушений и так называемых пробок (заторы в грузовых потоках). После затяжного кризиса на железных дорогах, сопровождавшегося чистками среди железнодорожников, экономистов и других служащих, проводивших в жизнь европейско-американские методы организации труда и эксплуатации, Сталин на «приеме» железнодорожников в 1935 году заявил: «Наша страна является великой железнодорожной державой». Одной из основных причин устройства этого «приема» было то, что Сталин назначил своего шурина Л. Кагановича реорганизатором транспорта и хотел поддержать его престиж. Реорганизация транспортного хозяйства «великой железнодорожной державы» состояла, кроме усиления оборудования и технического увеличения пропускной способности дорог, во внедрении «стахановщины» в эксплуатационные методы.

Несмотря на это, железнодорожный кризис в СССР не разрешен и по настоящее время. Коренное разрешение его лежит не только в переоборудовании железнодорожного хозяйства по американскому типу и не только в подтягивании и устрашении служащих, а в экономическом и географическом его разрешении путем срочной постройки не менее 200 тысяч километров новых линий.

Кризис железнодорожного транспорта начался еще в начале столетия при старом режиме и тогда, как и теперь, состоял в несоответствии между транспортом вообще (железные дороги, водные пути, местные пути — об автомобилях тогда не думали, воздушного транспорта не знали) и нараставшим экономическим подъемом России.

Для развития экономических сил страны было необходимо построить большую охватывающую и пересекающую Россию (в Европе и в Азии) железнодорожную сеть, создать водную

транспортную систему для массовых дешевых грузов, и начать строить дороги местного транспорта.

Примерно со времени революции 1905 года количество грузов, предъявляемых железным дорогам для перевозок, возросло ежегодно на семь процентов. При советской форсированной индустриализации, создании новых промышленных районов и урбанизации, рост грузовых потоков значительно выше. Поглотить этот рост — особенно при продвижении населения в мало населенные местности (концентрационные лагеря, принуждение, естественное желание уйти с глаз долой от центральной власти и т. д.) — можно в первую очередь путем прироста транспортных линий. При советских условиях это должно бы было выразиться в течение ряда пятилеток постройкой ежегодно около десяти тысяч километров железной дороги, с соответственным расходом металла в этой области народного хозяйства. Это не делается, и приводимые ниже округленные цифры вполне обрисовывают сталинскую железнодорожную политику.

Для того, чтобы СССР достиг развития железнодорожной сети больших государств Европы, Советский Союз должен удлинить свою сеть в европейской части в 4-5 раз, в азиатской — в 20 раз. Для того, чтобы догнать и перегнать Америку, Советский Союз должен дополнительно построить около полумиллиона километров железных дорог, снабдив их тем сложным и мощным оборудованием и подвижным составом, который имеется на железных дорогах Соединенных Штатов. Сейчас в 1951 году Советский Союз по показателю обслуживания населения транспортными средствами стоит примерно на уровне Манчжурии или Индии. Если сравнить плановое хозяйство (а железнодорожное хозяйство всюду плановое, независимо от государственного строя или права владения) двух режимов — советского и царского, то мы имеем следующие цифры. За 23 года своего существования, т. е. к середине 1941 года, советская власть построила около 19-20 тысяч километров новых дорог. Старый режим за последние 23 года своего существования построил около 45 тысяч километров и оставил советскому начатых в разных стадиях выполнения около 15 тысяч. Следовательно, средняя годовая постройка СССР составляет около 800 километров в год, дореволюционной России — около 2.000 километров в год. Если сравнить количество построенных километров железных дорог во время наибольшего напряжения государственных сил, т. е. во время

войны, то преимущество тоже остается за дореволюционным периодом: во время войны 1914-17 Россия строила в год около 2½ тысяч километров, СССР (1941-45) — около 1.300 километров в год. Даже в последнюю пятилетку (1946-1950), когда выяснилась недостаточность построенной сети новых железных дорог, советский план предусматривал постройку около 1.400 километров в год. (7.230 клм. в 5 лет). Насколько этот план выполнен, мы еще не знаем. Советская литература и некритически относящаяся к ней иностранная (что часто означает, что она попутническая) подчеркивает, что взамен удлинения сети пропускная способность дорог увеличивается тем, что в СССР укладываются вторые пути в большем количестве, чем при старом режиме. Это не так. Советские источники показывают, что при старом режиме вторые пути на территории в границах 1939 года составляли 26% от основных путей. К 1951 году СССР предполагает довести длину вторых путей до 33,3 тысяч километров, что составит 27% от общей длины.

Посмотрим теперь, как подходили в планах оба режима к постройке политике. В 1912 году М. П. С. в лице члена Госуд. Совета Петрова составило план железнодорожного строительства, покрывавший 6 пятилеток вперед. По этому плану к 1943 году Россия должна была получить около 70 тысяч километров новых дорог, т. е. примерно в два раза больше, чем СССР построил к этому году. Петров, исходя из общей нормы Европы — 9 километров на 10.000 жителей, считал, что Европейская Россия должна иметь около 196 тысяч километров. По настоянию Государственной Думы 3-го созыва, т. е. Думы с урезанным избирательным и законодательным правами по сравнению с первой и второй, М. П. С. составило в 1917 году план железнодорожного строительства на два будущих пятилетия. Этот план известен, как план особого междуведомственного совещания под председательством тов. министра путей сообщения Борисова. План этот, помимо чисто междуведомственного обсуждения, рассматривался в различных общественных организациях — Московский Областной Военно-Промышленный Комитет, Центральный Военно-Промышленный Комитет, различные земства и города, Сибирский съезд 1917-го года и т. п. Основным решением правительства, внесшего этот проект в 1917 году на утверждение Государственной Думы, являлась предположенная постройка до 6.000 километров в год, а всего 30.000 километров в пять

лет, что дало бы России в 1927 году сеть около 138.000 километров. Как увидим ниже, СССР к 1951 году отстал от плана старого режима на 24 года, построив сеть на 15-20.000 км. меньшего протяжения. План Борисова (1917 г.) состоял не только в постройке 85 новых железнодорожных линий. Кроме этого расширения сети, он предусматривал необходимость создания металлургической базы для снабжения новой стройки и нового подвижного состава своим русским металлом. До 1917 года новые постройки (подвижной состав и пути) пользовались по большей части иностранным металлом. План предусматривал создание сталепрокатных заводов на юге, на Нижней Волге, Урале и Алтае с общей годовой производительностью до 3 миллионов тонн стали. В виду недостатка технических сил план предусматривал необходимость создания двух новых институтов путей сообщения и нескольких школ среднего технического образования. Одновременно с этим Отдел Военных Сообщений при Ставке составил план на 7.000 км. стратегически необходимых железных дорог. Как увидим, советская власть не построила почти никаких дорог, указанных в плане Ставки. Насколько старый режим придавал значение развитию Сибири, видно из следующего: из 30 тысяч километров на первую пятилетку (1917-22 г.) 6 тысяч предположено было строить в Сибири. Сибирские дороги предполагались: две разгружающие западную часть сибирской магистрали, одна дорога, соединяющая Туркестан с Алтаем (начата она была при старом режиме, выполнена, как Турксиб, при советском), несколько подъездных дорог к основной сибирской магистрали (вдоль Урала, в Кузнецком бассейне, дорога на р. Лену и дорога в Монголию). Тут интересно заметить, что в 1917 году, по настоянию Государственной Думы, Управление Внутренних Водных Путей составило семилетний план постройки водных путей. По нему вывоз кузнецкого угля предполагался по шлюзованной реке Томи и далее по водным артериям на Урал.

Чтобы покончить с планами старого режима, следует напомнить, что, кроме пятилетних планов железнодорожного строительства, семилетних планов водного строительства, Академия Наук в лице академика-геолога В. И. Вернадского составила «Учет производительных сил России», использованный советским режимом при составлении своих планов. Всё это показывает, что идея планового переустройства экономики России имеет начало еще в дореволюционном режиме, а не была изобретением мудрости Ленина.

Уже в первые годы (1918) советского режима профессор Гриневицкий указывал на необходимость большого железнодорожного строительства в своем плане, составленном для центрального союза потребительских обществ. По его подсчетам, коэффициент густоты сети (средняя пропорция между числом километров на одну тысячу жителей) составляет в Европейской России 2, в Великобритании — 10,4, в Германии — 10,7, в США — 14,7, в Бельгии — 18,3. Приведу заключение его записки по будущей железнодорожной экономике: «Не будет преувеличением считать, что к 1950 году рельсовая сеть Европейской и Азиатской России должна получить прирост по крайней мере в 250-300.000 километров, т. е. необходимо строить от 8-ми до 10-ти тысяч километров в год». Такой оптимистический прогноз Гриневицкого не осуществлен в СССР. Если $7\frac{1}{4}$ тысяч километров новых железных дорог закончены к 1951 году, то сейчас на территории СССР (с «трофейными» присоединениями и воссоединениями в Прибалтике, Галиции, Прикарпаты и Бессарабии) имеется 120-121 тысяч километров. Эта цифра составляется так: от старого режима СССР получил 71 тысячу километров (в границах 1938 г.), $18\frac{3}{4}$ сдано в эксплуатацию до 1941 года, $16\frac{1}{2}$ тысяч присоединено в 1939 и 40 годах, построено во время войны около 7 тысяч и построено во время последней пятилетки $7\frac{1}{4}$ тысяч километров.

Медленное строительство, а значит и медленное изжитие транспортного кризиса, в СССР может себе найти частичное объяснение в следующем. В 1920 году ГОЭЛРО (Государственный План по Электрификации России) наметил, между прочим, план развития железнодорожного хозяйства. Концепция ГОЭЛРО была воспринята при составлении первого и последующих пятилетних планов. В основу технического развития железных дорог СССР было положено решение о концентрации грузовых потоков на важнейших направлениях и на оборудовании этих направлений мощным подвижным составом, мощным верхним строением (рельсы, шпалы и пр.) и мощными установками и машинами для погрузок, т. е. всемерным усилением существующей сети. Новые постройки, по этой концепции, конечно, допускались, но они как бы дополняли существующую сеть. По советской терминологии это являлось интенсивным путем реконструкции. В противоположность ему советские вершители судеб СССР определили плановое решение старого режима как путь экстенсивный, состоявший в по-

стройке большой по протяжению железнодорожной сети, по которой двигались бы потоки грузов меньшей мощности. При этом ГОЭЛРО считало (или приспособлялось к близорукости или просто непониманию вопроса вершителей судеб, считавших, что главное это «электрофикация»), что планы старого режима предполагали строить дороги существующего или даже облегченного типа (легкие рельсы, большие уклоны и т. д.). Это, конечно, было не так. Русская техника внимательно следила за развитием мировой техники и старалась при новых постройках применять последние достижения. Железные дороги облегченного типа строились только там, где предполагались легкие грузовые потоки или в местах малозаселенных. Такие дороги назывались пионерскими, переселенческими и лесными. Сибирская дорога была построена первоначально с легкими рельсами, так как предполагалось, что движение на ней будет очень малое. Мурманская строилась узкой колеей и т. д. Насколько известно, Печорская дорога СССР тоже строилась первоначально легкого типа.

Чтобы оценить нищету плановой мысли советского режима, достаточно остановиться на истории сибирской магистрали при советах. Тут полезно указать, что Соединенные Штаты имеют пять трансконтинентальных пересечений. СССР имеет одно, построенное около 50 лет тому назад. ГОЭЛРО обсуждал план Борисова, предполагавшего построить в дополнение к Сибирской дороге еще две разгружающих линии в западной половине Сибири. Северо-Сибирская магистраль намечалась от Архангельска и шла в Тобольск и на Лену. Южно-Сибирская линия предполагалась к постройке в 1917 году. В некоторых местах она была начата еще до 1917 года. ГОЭЛРО отвергло Северную дорогу совершенно, а Южно-Сибирскую признало несвоевременной. Вместо этого решено было создать сверхмагистраль путем укладки второго пути вдоль существующей трассы. Средний участок ее от Красноярска до Мариинска был перетрассирован и переустроен еще до 1910 года. Эта работа, известная как «смягчение уклонов» средне-сибирской железной дороги, была типа постройки новой дороги на новых технических условиях. Решение ГОЭЛРО пропускать грузы с Урала в Кузнецкий бассейн только по старому направлению было ошибочно, ибо металл в Кузбас с Урала (Магнитогорск) и уголь из Кузбаса в Магнитогорск в течение 15-20 лет делали почти тысячу километров лишнего пробега. Сейчас это признано и советским правительством. По этому поводу проф.

Хачатуров в 1946 году писал: «Сейчас признано недостаточным иметь только одну железнодорожную магистраль между Кузбасом и Уралом, на которой концентрируется весь грузопоток между этими районами. Третий пятилетний план предусматривает постройку Южно-Сибирской магистрали». Эта магистраль должна быть в средней части закончена к 1951 году, а ее восточная и западная смычки с основной старой системой будут построены в пятую пятилетку. Война 1941 года, как мы увидим ниже, доказала советским планировщикам, что то, что считалось первоочередным в 1917 году, опоздало при советах больше, чем на 30 лет.

Другой пример плановой неразберихи виден из истории Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Эта магистраль должна была начаться от станции Тайшет Сибирской дороги и идти до Лены (Усть Кут) и далее через Бодайбо, с мостами через реки Витим и Олекму (правобережные притоки реки Лены) на верхнюю часть Алдана. С Алдана, где при советском режиме было открыто золото в новых районах, дорога должна была перевалить Становой хребет в районе Зеи и отсюда выйти к Комсомольску — новому городу на нижнем Амуре. Комсомольск, где имеются металлургические заводы, соединен железной дорогой с Хабаровском, а во время последней войны соединен железной дорогой с Советской (бывшей Императорской) гаванью на Тихом океане (Японское море). Пересечение Байкало-Амурской магистралью реки Лены в Усть Куте решено потому, что от него, по моим изысканиям 1911-14 годов, начинается безусловно судоходная часть реки. Район Витима и Олекмы впервые описан Кропоткиным. Это самое суровое место из всего, что я видел на Дальнем Востоке. Возможно, что одновременно с выходом на Амур советские планы совпадали с нашими, т. е. предполагали вывезти дорогу и на Охотское море. По свидетельству одного из ссыльных, работавших там, она именовалась БАМ. Известно, что ссыльные с Беломорского и Московского каналов были переведены в район управления БАМ — город Свободный (бывший Алексеевск) на пересечении р. Зеи. Они работали по укладке (возможно и перетрассировке) второго пути Амурской дороги (постройка 1908-1916 годов). Несмотря на включение БАМ еще во вторую и третью пятилетку, эта магистраль не только не построена, а возможно — отменена совсем или отложена до «греческих календ». В издании географии Баранского 1949 года читаем: «Теперь перешита железнодородная магистраль (Амурская дорога) на

две колен и строится БАМ (Байкало-Амурская магистраль)». Я думаю, если стратегические соображения требуют того, советская власть строит по трассе БАМ-а автомобильную дорогу по техническим условиям постройки полотна железной дороги, т. е. такую дорогу, которая легко может быть обращена в железнодорожную линию. Лучший знаток транспортного дела в СССР проф. Хачатуров указывает, что участок дороги от ст. Тайшет до р. Ангары построен в виде дороги для автомобильного транспорта (вероятнее всего по техническим условиям железных дорог, что дает в дальнейшем возможность уложить рельсы и шпалы). Этот участок является начальным участком БАМ-а.

Из примера неосуществленной постройки БАМ-а видно, как при советском режиме где-то в тайниках правительства, вне общественного контроля, решаются и отменяются планы построек величайшей государственной важности. В контраст этому посмотрим на историю Амурской дороги и увидим, какая практика стала устанавливаться при прохождении законов о железнодорожном строительстве до Октября. История постройки Амурской дороги такова: после поражения на полях Манчжурии (мало зависевшего от состояния транспорта) перед правительством возник вопрос о том, что же делать с нашим Дальним Востоком? Вопрос этот занимал и земские круги, которые в общем были настроены «анти-колониально». Обще-земская организация возглавлялась будущим главой первого Временного Правительства кн. Львовым и издала прекрасное описание Дальнего Востока под заглавием «Приамурье». Правительство решило построить железнодорожную линию по нашей стороне Амура, т. е. осуществить проект Витте. Столыпин внес во Вторую Думу в мае 1907 года соответствующий законопроект. Дума была распущена в июне 1907 года и постройка началась в порядке статьи 87-ой. Законопроект о дороге начат обсуждением в декабре 1907 г. уже в Третьей Думе. Вся оппозиция (кадеты, трудовики, социалдемократы), кроме сибирских депутатов, была против утверждения этого проекта, зная, впрочем, что октябристы и правые его проведут всё равно. Шингарев (к. д.) нападал, главным образом, на применение Столыпиным статьи 87-ой, т. е. борьба переводилась на конституционную плоскость. Характерны цифры голосования, утвердившего постройку 1 апреля 1908 года: 213 голосов за, 101 против, 119 членов Думы отсутствовали. Таким образом за постройку, даже в Третьей (куцой) Думе, было всего 213 че-

ловек... Невольно напрашивается вопрос, что стало бы с членами Верховного Совета СССР (или членами ГОЭЛРО), если бы они осмелились выступить против Сталина? Вероятнее всего они превратились бы в лучшем случае в ссыльных в исправительных лагерях БАМ-а. Я остановился на этом инциденте не столько для того, чтобы сравнивать законодательную практику двух режимов, сколько для того, чтобы частично проследить генезис геополитической мысли членов ГОЭЛРО, а затем и Госплана. Несомненно, что они, как и большинство оппозиции в Думе в 1908 году, не изжили еще «анти-железнодорожных» и «анти-колониальных» настроений предыдущих десятилетий. Может быть, лучше всего эти настроения выражены были в 70-х годах Некрасовым, а затем Щедриным. Анти-железнодорожные настроения всего сильнее были в народнических кругах, читавших «Русское Богатство». Насколько и марксисты мало интересовались этими вопросами, видно хотя бы из того, что четырехтомное «Общественное движение в России» (1907 г.) под редакцией П. Маслова, Мартова и Потрессова, в статье Мукосеева, посвященной экономике, совсем не касается железных дорог. Другим истоком мыслей ГОЭЛРО было, конечно, даже в самом начале режима, подчинение указаниям Ленина, что электрификация — это главное. Железнодорожные нити превратились у них в какие-то провода, по которым идут токи высоковольтных напряжений... Сыграло свою роль и пренебрежение стратегическим значением железных дорог. Тут иностранная и «интернационалистическая» политика Ленина и Сталина выявила себя во всю. Только политическими соображениями может быть объяснен отказ от развития железнодорожной сети, подходящей к границам Германии и ее сателлитов. На Западе положение русской сети в 1914 году было следующее: со стороны тогдашней России к западным границам, т. е. от Балтийского до Черного моря подходило 13 линий с 21 колеей. Германия, Австрия и Румыния могли подвозить войска к русской границе по 32 линиям с 46 колеей. Это соотношение, сыгравшее, конечно, большую роль в истории самодержавия и войны 14-го года, осталось при советском режиме н е и з м е н н ы м — и даже с отходом Польши ухудшилось. Сталин не сделал ничего, чтобы изменить это соотношение. В то же время Госплан имел в своем распоряжении построечные изыскания двух линий, разгружавших московский, харьковский и киевский узлы. По «большому плану» Генерального Штаба Империи Четвертая Дума утвердила в 1914 году магистральную стратегическую линию Рязань-

Тула-Рославль-Барановичи-Варшава и рассматривала линию из Донбаса Гришино-Ковель-Сарны и сеть двух и даже четырехпутных рокадных* линий. Старый режим не успел, а новый не захотел, выполнить этот или аналогичный стратегический план железнодорожных построек и заплатил за это: 1) сдачей в плен свыше миллиона солдат в трех сражениях (Минск, Смоленск и Киев), 2) недостаточным вывозом еврейского и западноукраинского населения на Восток. То же, вероятно, случилось и с эвакуацией индустриального оборудования. Это пренебрежение стратегической оценкой железнодорожной системы СССР объясняется неизменной прогерманской политикой Ленина-Сталина. Дружба, начатая в 1917 году Людендорфом, проявившая себя в соглашении с Германией в Рапалло, перешла в «кровью спаянный» союз Сталина и Гитлера и продолжается и сейчас симбиозом Коминформа и фон Зейдлица... Во всяком случае, солдаты и офицеры Красной Армии, доблестно защищавшие Ленинград, Москву и Сталинград, не знали, что их товарищи, так же доблестно и упорно удерживавшие врага на Западе, попали в ловушку благодаря близорукости Госплана и маршала Сталина... Тут следует указать, что старый режим построил в начале столетия две больших стратегических дороги Бологое-Плоцк-Седлец и Киев-Ковель и что тогда считалось, что пинские болота представляют естественную защиту от нашествия — этим отчасти и объясняется, что их не осушали. Советы хвастаются, что они построили несколько рокадных дорог — как курьез укажу, что приписываемая ими себе линия Орша-Унеги-Ворожба была почти закончена нами во время войны 14-го года. Главным образом она строилась для подвоза угля из Донбаса в Петроград. Я лично заведывал постройкой мостов на части этой линии и они были закончены еще в 1916 году.

Помимо ложных стратегических соображений, малое и ограниченное развитие постройки новых железнодорожных линий видно и из ограниченности бюджетных ассигнований на постройки в СССР. Согласно авторитетному сообщению проф. Хачатурова (1946 г.), за 7-8 лет, предшествовавших войне с Германией, СССР вложил в постройки от 6 до 9 миллиардов рублей, всего же, включая военный и послевоенный период, до 1951 г. в постройки железных дорог, по моим подсчетам, вложено около

*) Рокадными дорогами называются на военном языке дороги соединяющие поперечно основные направления.

20 миллиардов. Стоимость постройки километра железной дороги, по Хачатурову, обходится в среднем около 700.000 руб. с километра, при старом режиме в среднем около 50.000 (Кругобайкальская, Амурская, Восточно-Китайская — не в счет; на Амурскую Столыпин испрашивал утверждение 2.000 километров за 360 миллионов золотых рублей). Гриневицкий в 1922 году считал, что на постройку железных дорог в год — 10 тысяч километров — в первое десятилетие надо вложить 9 миллиардов золотом, что, вероятно, сейчас составляет не меньше 130-150 миллиардов советской валюты. Недостаточность вложения подтверждается Хачатуровым: «Затраты на новое строительство должны быть значительно повышены, с тем чтобы привести объем постройки новых железных дорог в соответствие с географическими масштабами нашей страны, высоким уровнем и темпами развития производства. Нужно учесть огромное влияние, которое может оказать широкий размах железнодорожного строительства на общий подъем экономики страны, развитие новых районов, использование неисчислимых богатств». Как близко подходит это к идеям Петрова, Борисова и Гриневицкого, оставляю судить читателю.

Недостаточность длины железнодорожной сети объясняется и недостаточностью вкладывания металла. В истории развития металлургии всех стран (США, Германия и др.) известно, что в начале основным потребителем металла были железные дороги. Не подлежит сомнению, что даже теперь, когда стальная продукция в СССР достигла 25 миллионов тонн в год, основным потребителем металла в СССР является военное дело. За последние три года войны СССР выпускал в год 30.000 танков, 120.000 орудий, 450.000 пулеметов, 5 миллионов винтовок, 240 миллионов снарядов* — металл одних 30.000 танков, не считая станков для их изготовления, по весу равен примерно 2.000 километрам новых дорог.

Прежде, чем перейти к техническим недостаткам, обнаруженным во время войны, следует остановиться на том, как война повлияла на советское железнодорожное хозяйство. Гитлеровское командование, дойдя до линии Нева-Москва-Сталинград-предгорье Кавказа, захватило около 40% всей железнодорожной сети СССР. Отступая от этой линии (немецкое поражение во многом объясняется растянутостью их сообщений и недостатком числа танков), немцы, а также наступающая

*) Цифры даны в законе о плане 1946-50 гг.

советская армия произвели огромные разрушения на дорогах. Проверить, кто их произвел, а также подтвердить советские цифры разрушений, конечно, невозможно. Можно только сказать, что поддержка, оказанная Соединенными Штатами в виде лэнд-лиза, во многом восполнила эти потери. СССР получил, между прочим, 51.000 танков, 376.000 грузовиков, 8.000 тракторов, 1.980 локомотивов, 11.000 вагонов (четырёхосных) и 2.800.000 тонн стали. СССР к началу войны имел от 20 до 25 тысяч хороших паровозов (я откидываю старые локомотивы, построенные до октября 17-го года, т. е. построенные 30-40 лет тому назад, ибо они годны только как маневренные и запасные на очень слабых линиях). Внезапно исчезнувший с советского Олимпа глава Госплана Вознесенский дал цифру потери локомотивов, равную 15%. Если считать, что все эти потери пали на локомотивы, построенные при советском режиме (13.000), то Соединенные Штаты возместили все эти потери. На один километр железнодорожной советской новой постройки надо иметь от 100 до 120 тонн металла. Если из почти трех миллионов тонн американского проката пошла на верхнее строение (рельсы и прочее) половина этого количества, то СССР мог восстановить почти все рельсы на станциях и на разрушенных участках — сталью, полученной бесплатно из Соединенных Штатов. Принимая во внимание, что война разрушила мосты, станции и другое железнодорожное хозяйство, наверное М. П. С. восстановило их, в конечной стадии восстановления — по последним требованиям техники. Это значит, что в районе СССР, захваченном Гитлером, сейчас имеется технически лучшая сеть, чем ранее.

Технические недостатки и затруднения, которые выявились в период испытания огнем и мечом, т. е. во время великой отечественной войны, сформулированы одним советским источником так: «Несмотря на коренные изменения, внесенные в железнодорожный транспорт в годы сталинских пятилеток и достигнутое увеличение его мощности более, чем в 6 раз против уровня 1913 года, всё же развитие железнодорожного транспорта отставало от темпов развития социалистической промышленности».

Недостатки и задержки на сети советских дорог характеризуются так: 1) С начала советского режима до гитлеровского похода против СССР вес рельс в пути возрос всего на 8%, в то время как введенный более тяжелый и мощный подвижной состав (что, конечно, правильно и независимо от государствен-

ного или социального устройства) сопровождается увеличением давления на ось локомотива на 30%, давление на ось вагонов на 70%. Это в свою очередь вызывает более быстрый износ рельс, расстройство пути, перенапряжение мостов и сокращает возможные скорости движения. По сравнению с 1913 годом технические скорости увеличились вдвое, а грузонапряженность — втрое.

2) Военные перевозки, а также снабжение Англией и Америкой, во многом зависели от пропускной способности дорог от Белого моря, от Каспия и Сибирской дороги. Выполнение перевозок показало несоответствие развития многих участков всей сети и особенно дорог Урала и всего кузбасовского выхода в центр. Война показала, что при среднесетевой грузонапряженности в 4 миллиона тонн-километров в 1940 году средне-годовая густота перевозки во время войны на дорогах Урала и Сибири достигла 6,3 миллионов тонн-километров. Тут также следует отметить, что стоимость постоянных устройств на этих направлениях была на 10% ниже стоимости на общей сети. Так решение ГОЭЛРО о несвоевременности Южно-сибирской магистрали было разрушено военным испытанием.

3) Недостаточное развитие узлов и станций. Упомянутый выше Вознесенский указал, что во время войны пришлось срочно увеличивать примерно в полтора раза пропускную способность выходов из Западной Сибири на Урал (станция Чулымская, Вагай и Синарская), выходов из Южного в Северный Урал через станцию Уктус, выходов с Южного Урала в район Центра и Поволжья (узлы Корпачево и Киров), из Средней Азии в европейскую часть СССР всей дороги от Красноводска через Арысь и Андырля (по этому направлению, вероятно, шли грузы лэнд-лиз, доставленные через Иран).

4) Необходимость создать рокадные и укорачивающие поперечные соединительные участки железных дорог. Я указал выше, что советские стратеги и плановики не думали об этом в течение почти 25 лет. Основной рокадной линией, построенной во время войны для временной эксплуатации, была линия Свяжск (Казань)-Улановск-Саратов-Сталинград, линия Сталинград-Владимировка (от Астраханской дороги — я был на ее изысканиях еще в 1908 году), линия Кизляр-Астрахань (переброска нефти и грузов из Грозненского и Майкопского районов на железную дорогу от Астрахани), Московская большая окружная, линия Акмолинск-Карталы (уголь из Караган-

ды на Урал), линия Орск-Гурьевск (тоже ленд-лиз через Иран) и, наконец, Комсомольск-Советская гавань на Японское море.

Из этих перечислений для всех, знающих географию транспорта России, ясно, что советское правительство не подготовило свою сеть для массовых военных перевозок. При возрастающей тонно-километровой работе железных дорог (1928-1941) более, чем в четыре раза протяжение станционных путей возросло всего на 36%. В это же время вес грузовых поездов увеличился почти на 60%, а средняя длина приемо-отправных путей только на 20%.

5) Несоответствие между отдельными участками (даже на сквозных железнодорожных линиях на нескольких десятках тысяч километров) в смысле разнообразия технических условий верхнего строения (рельсы и пр.) вызывает то, что вместо допускаемых по типу локомотивов скоростей в 65-85 километров в час скорости снижаются до 30-35 клм. или даже до 20 клм. в час.

**
*

Кроме этих важнейших неустройств «великой железнодорожной державы» Сталина имеются еще многие детали, представляющие интерес только для техников транспорта. Но из предыдущих страниц ясно, что государство, покрывающее одну шестую земной суши, имеющее 200 миллионов жителей, не может без ущерба для себя ограничиться сетью длиной равной, примерно, длине сети железных дорог той части Азии, которая не входит в СССР. В этой статье я только попутно касался «эксплоатационных коэффициентов»* советской железнодорожной сети. Разбор их представляет интерес для экономистов транспорта. Они доказывают, что вся система железных дорог СССР перегружена, что вызывает ее более быстрый износ, и что эта перегрузка возможна только при той непрерывной и многолетней потогонной системе милитаризованного труда, которым характеризуется советский тоталитарный режим. Как долго такая, по сути мало производительная, система труда может продолжаться вообще в СССР

*) «Эксплоатационными коэффициентами» называются цифровые соотношения, указывающие работу дорог, среднюю длину пробега подвижного состава, среднюю дневную нагрузку вагонов и т. д. — они дают возможность оценить эксплуатацию дорог СССР по сравнению с данными других государств.

и особенно на его транспорте, зависит не от железнодорожного хозяйства. Пример войны 1914 года и февральской революции очень поучителен. Тут категорически надо опровергнуть легенду, созданную большевиками, о том, что железнодорожный транспорт развалился в результате войны. Что железнодорожный транспорт старого режима был напряжен чрезвычайно, это верно. Но железные дороги работали почти нормально для военного времени еще и при Временном Правительстве. Развал железнодорожного хозяйства начался, когда Людендорф помог транспортному предприятию другого типа: снаряжению и пропуску знаменитого запломбированного немецкого вагона, в котором прибыл Ленин. Продолжал транспорт разваливаться при захвате государственных функций Викжелем* (на юге Румчеродом). Окончательный развал дорог был результатом гражданской войны, когда одно время работало всего около 12.000 километров и когда, например, почти все большие мосты были взорваны (Казанский и Сызранский мосты, через Волгу и Днепровские мосты в Киеве, мосты на Южном Буге, Иртышский мост в Сибири и т. д.).

Опыт войны 1941 года показал, что транспорт СССР не развалился вопреки тому, что реконструкция его была близорука, ограничена и в основном построена на ложной геополитической и экономической доктрине, которую я пытался обрисовать на предыдущих страницах. Не развалился он благодаря общей мировой ситуации, помощи союзников советскому хозяйству, тактическим и стратегическим ошибкам Гитлера, а, главное, благодаря героизму населения России и борцов Советской Армии, считавших, что они сражаются за свою свободу против немцев и против диктатуры властителя «великой железнодорожной державы».

С. Васильев.

*) Большевики потом разогнали Викжель и заменили его Викжедором.

ПАМЯТИ Б. А. БАХМЕТЕВА

В скончавшемся 21 июля с. г. Борисе Александровиче Бахметева русская эмиграция потеряла одного из выдающихся своих представителей.

Инженер-гидравлик по специальности, Б. А. Бахметев был крупным ученым с международным именем. Превосходный преподаватель (в России до революции он был профессором в Институте Путей Сообщения и в Петербургском Политехникуме, а в Америке — в Колумбийском университете), он и там и здесь оставил после себя школу гидравликов, воспитанных на его идеях и усвоивших его методы. Инженер-практик большого размаха и большого опыта, он оказал значительное влияние на разработку и осуществление гидравлических проектов, как в России, так и в Америке. Уже одной его научной, преподавательской и инженерной деятельности было бы достаточно, чтобы обеспечить ему признание со стороны его соотечественников.

Но Б. А. Бахметев был еще и одним из крупных русских общественных деятелей нашей эпохи. После кратковременного периода активной политической деятельности (в молодости Б. А. был с.-д. меньшевиком) он нашел применение своей энергии и организаторских способностей в работе для Военно-Промышленного комитета, созданного во время первой мировой войны с целью способствовать надлежащему снабжению русской армии. Как известно, в русских условиях того времени деятельность этого комитета, как и других аналогичных общественных организаций, неизбежно принимала оппозиционную политическую окраску, но Б. А. несомненно привлекала в ней прежде всего возможность положительной работы в области национальной обороны. После падения царского режима, Б. А. был назначен Временным Правительством на должность товарища министра торговли и промышленности, а через несколько месяцев ему был предложен пост российского посла в Вашингтоне.

Выбор Б. А. Бахметева в качестве первого представителя демократической России в Америке не был случайным. В совер-

шенстве владея английским языком, Б. А. знал и любил Америку, еще с тех пор, как в ранней молодости приезжал сюда на «практические работы» по гидравлике. Во время первой мировой войны он опять провел некоторое время в Америке, как представитель Военно-Промышленного комитета и на этот раз завел обширные связи с американскими общественными кругами. В России он был одним из сравнительно немногих общественных деятелей, не только понимавших важность русско-американского сближения, но и обладавших достаточным знанием Америки.

О посольской деятельности Б. А. когда-нибудь будет рассказано подробно, на основании документального материала. Это будет интересная и поучительная страница из истории русской дипломатии. Пославшее Б. А. в Америку правительство было свергнуто большевиками всего четыре месяца после приезда его в Вашингтон. Признать большевиков Б. А. отказался без колебаний. Из того необычайно трудного положения, в которое его поставили события, он вышел с честью. Только его самообладанием, дипломатическим искусством и авторитетом в глазах американцев, можно объяснить тот факт, что в течение почти пяти лет после большевистского переворота, до июля 1922 года, русское посольство в Вашингтоне продолжало сохранять свой полный дипломатический статус. Будущий историк постарается установить долю влияния, оказанного Б. А. Бахметевым на формирование той, враждебной большевикам, но дружественной по отношению к России, американской политики, коотрая в основном оставалась неизменной и при демократической и при республиканской администрации. Историк же придется решать, кто был прав в некотором расхождении, возникшем между руководителями «белого движения» и Б. А. Бахметевым: они ли, хотевшие, чтобы он стал их дипломатическим агентом, или он, считавший, что может принести больше пользы, если останется в глазах американцев носителем идеи свободной России, которая «была и будет». Это не значит, конечно, что он отказывался помогать тем, кто боролся с большевиками на русской территории. Вероятно всё возможное в условиях того времени было им сделано. Но во многом он не одобрял политики руководителей «белого движения», и хотел сохранить свою от них независимость. В 1918-19 гг. он играл большую роль в том Русском Политическом Совещании и выделившемся из него Совете Послов, которые пытались отстаивать национальные интересы России перед Парижской мирной конференцией.

Последние десятилетия своей жизни Б. А. провел в Нью-Йорке, в значительной мере связав свою судьбу с американскими деловыми и академическими крутами. К русской эмигрантской политике он особого вкуса не имел и относился к ней с некоторым, может быть, преувеличенным скептицизмом. В связи с его слегка «англизированной» наружностью и манерой держаться, это могло создать иллюзию его ухода от русских дел и интересов. Что это была иллюзия, могут подтвердить все, кто его хорошо знал и с кем он делился своими мыслями. Но есть и более объективные доказательства: здесь было бы трудно даже перечислить все те русские учреждения и начинания, благотворительного, культурно-просветительного и научно-исследовательского характера, которым в разное время Б. А. оказал существенную, иногда решающую, помощь своими советами и своей моральной или материальной поддержкой. Немало есть людей, которые могли бы рассказать и о проявлениях личной доброты этого, на первый взгляд, казавшегося «холодным» человека. Его уход из жизни многими будет ощущаться, как воистину незаменимая утрата.

Б. А. был человеком разносторонних дарований, широких интересов и большой культуры. Он любил и понимал музыку и живопись, и при всей своей занятости находил время для чтения множества книг самого разнообразного характера. Его особенно интересовали проблемы этики и наряду с деловым практицизмом в нем была сильная струя морального идеализма, в духе подлинной гуманистической и либеральной традиции.

У редакции «Нового Журнала» есть и свои особые основания помянуть Б. А. Бахметева добрым словом. Он внимательно следил за нашим журналом и неизменно оставался верным его другом. Его уход из жизни для нас — не только общественная, но и большая личная потеря.

Редакция

АМЕРИКА И РУССКОЕ БУДУЩЕЕ

Мы предлагаем вниманию русских читателей полный перевод статьи Джорджа Кеннана, появившейся в апреле этого года в американском журнале "Foreign Affairs". Статья эта касается столь важной для нас, русских, темы и исходит из столь авторитетного американского источника, что опубликование этого перевода не нуждается в оправдании.

За последние годы Джордж Кеннан играл выдающуюся роль в определении русской политики Соединенных Штатов и в формировании американского общественного мнения по русскому вопросу.

Внучатный племянник другого Джорджа Кеннана, автора приобретшей международную известность книги «Сибирь и ссылка» (1891) и одного из основателей существовавшего в то время «Общества американских друзей русской свободы», младший Кеннан начал свою дипломатическую службу в 1927 году, в 23-летнем возрасте. Рано пробудившийся в нем интерес к России привел его к основательному изучению русской истории и русской культуры, а служба в американском посольстве в Москве, — до, во время и после второй мировой войны, — дала ему возможность непосредственно наблюдать современную русскую действительность. В 1947 году он был назначен на ответственный пост председателя вновь образованного в американском министерстве иностранных дел комитета по планированию внешней политики США, а с 1949 г. он занимал также должность советника при Государственном Секретаре (министре иностранных дел).

С 1950 года Джордж Кеннан находится в длительном отпуску, посвящая себя научной и общественной деятельности. В настоящее время он является председателем Фонда Свободной России, консультантом при Фордовском Фонде и заведующим секцией американской внешней политики Принстонского Института Научных Исследований.

Настоящий перевод статьи Джорджа Кеннана печатается с любезного разрешения редакции и издательства журнала "Foreign Affairs".

РЕДАКЦИЯ

I.

Сила того негодования, с которым американцы отвергают воззрения и способы действий нынешних кремлевских правителей, уже сама по себе ясно указывает на их горячее желание видеть в России появление других воззрений и другого порядка, резко отличного от того, с чем нам приходится иметь дело в настоящее время. Позволительно, однако, задать вопрос: есть ли в наших умах отчетливое представление о том, в какие формы должно вылиться это новое русское мировоззрение, каким должен быть новый русский порядок и как мы, американцы, можем содействовать их установлению. Теперь, когда одновременное существование двух систем на нашей планете привело к такому непомерному напряжению и тревоге во всем мире, и когда уже теряется надежда на то, что эти две системы могут сосуществовать, — у многих появляется склонность считать, что главным вопросом является вопрос о победе или поражении в будущей войне; для них этот вопрос затмевает вопрос об образе будущей, более приемлемой России, а иногда с ним даже сливается. Некоторые американцы, при одной лишь мысли о возможности войны, возвращаются к своей дурной привычке — считать, что война повлечет за собою какое-то окончательное, и притом положительное, решение всех вопросов, что война явится завершением — и счастливым завершением — чего-то, а не началом чего-то нового.

Такой взгляд сам по себе является, конечно, величайшим заблуждением, даже если оставить в стороне мысль о связанных с войной кровопролитии и жертвах. Война с советской державой, даже если бы она увенчалась относительным успехом (а нам не следует забывать, что такая война может принести только относительный успех), — сама по себе ничего не дала бы, или дала бы весьма мало, в смысле достижения тех перемен в России, которые нам желательны; война только ближе столкнула бы нас с различными сторонами проблемы, которая уже

существует и с которой всё равно должен считаться каждый американец, отвергающий советский способ действий — независимо от того, произойдет ли война или нет. Проблема эта заключается в следующем: что должна представлять собою та Россия, которую мы предпочли бы видеть; с которой, говоря попросту, нам было бы легче жить; существование которой позволило бы установить в мире более устойчивый международный порядок; которая одновременно была бы желательной для нас и реально осуществимой?

Проблема возможности иной, более приемлемой России, в сущности, не связана с вопросом войны и мира. Война сама по себе не вызовет к жизни такой России. Наоборот, война вряд ли может дать что-либо положительное в этом смысле, если она не будет сопровождаться хорошо продуманными и энергичными усилиями, помимо военных мероприятий. С другой стороны продолжение существующего положения без «большой войны» не исключает возможности возникновения иной, новой России. Всё зависит от множества другого рода условий, которые должны быть созданы множеством людей, — будь то во время войны или во время мира. Не все эти условия могут быть созданы американцами. В смысле непосредственных действий американцы могут сделать очень мало. Но мы располагаем значительными возможностями для того, чтобы повлиять на исход событий; мы не должны забывать, что может наступить время, когда наши усилия могут изменить ход событий в ту или иную сторону. Вот почему вопрос о нашем отношении к русскому будущему заслуживает самого пристального и вдумчивого внимания. В нашем стремлении определить это будущее мы должны учитывать два фактора, имеющих особое значение: 1) мы должны знать, чего мы хотим, и 2) мы должны дать себе отчет в том, как нам следует действовать для того, чтобы облегчить, а не затруднить воплощение в жизнь наших стремлений. Слово «облегчить» применено здесь сознательно: мы имеем дело с иностранным государством, и наша роль может быть лишь ограниченной, подсобной по сравнению с более важной ролью, которую должны в этом деле играть другие.

II.

Что же должна представлять собою Россия, которая была бы приемлема для нас, как член мирового коллектива?

Быть может, прежде всего следует выяснить, о какой Рос-

сии было бы напрасно мечтать. Такую Россию — Россию, на появление которой мы не должны рассчитывать, нам легко себе представить, а именно: капиталистическое, либерально-демократическое государство, сходное по своему строю с нашей республикой.

Если мы рассмотрим, в первую очередь, вопрос экономического устройства, то мы увидим прежде всего, что Россия едва ли была знакома с частной инициативой, в том ее виде, к которому мы привыкли в Америке. Даже в дореволюционные времена русское правительство всегда держало в своих руках целый ряд экономических отраслей, в частности, транспорт и военную промышленность, которые в Соединенных Штатах неизменно, или во всяком случае как правило, находились в частных руках. В более раннюю эпоху русской истории были, правда, именитые семьи русских предпринимателей, прославившиеся размахом своего торгового пионерства в мало развитых районах русского царства. Но, в общем, частный русский капитал играл более важную роль в области товарообмена, чем в области промышленного производства. Русские предприниматели создавали главным образом торговлю, а не промышленность. К тому же торгово-промышленная деятельность не считалась в России таким почетным занятием, как на Западе. Существовало традиционное, коренное русское, купеческое сословие, но оно не отличалось ни широтой кругозора, ни сознанием ответственности своей социальной роли и потому не вызывало к себе особого уважения. Портреты купечества в русской литературе обычно отрицательные и производят удручающее впечатление. Представители помещичьего дворянства, вкусы и предрассудки которых оказывали решительное влияние на нравы русского общества, по большей части смотрели на торгово-промышленную деятельность свысока и старались держаться в стороне от нее. В русском языке не было слова, соответствующего нашему понятию «business-man»; в нем было только слово «купец», и этот термин далеко не всегда имел лестное значение.

Даже в самый разгар той индустриализации России, которая с неожиданной энергией стала развиваться в конце прошлого столетия, всё еще были ясны, с одной стороны, отсутствие необходимой традиции ответственности и сдерживающих начал у капиталистов и, с другой стороны, общая неподготовленность правительственных органов и широкой общественности к тому, чтобы справиться с возникшими новыми проблемами. Это промышленное развитие опиралось скорее на индивидуаль-

ные начинания, чем на широкое распределение собственности на акционерных началах. Характерной чертой этого развития было быстрое скопление денежных средств в руках отдельных лиц и семейств, которые далеко не всегда знали, что им делать со своим богатством. Со стороны, способ расходования этих богатств зачастую казался столь же сомнительным, как и пути, которыми они приобретались. Отдельные капиталисты жили в непосредственной близости от своих рабочих, а многие из владельцев фабрик и заводов жили даже прямо на заводских участках. Это походило скорее на картину, типичную для ранней промышленной революции, как она была изображена Марксом, чем на современные условия жизни в передовых западных странах. Возможно, что этим отчасти и объясняется успех марксизма в России. Русский промышленник стоял на виду у всех, во плоти, и часто напоминал своей тучностью, а иногда (не всегда, конечно) и своей грубой вульгарностью, капиталиста, изображаемого карикатуристами эпохи раннего коммунизма.

Всё это свидетельствует о том, что в глазах народа частная инициатива в царской России не успела еще приобрести и малую долю того престижа и значения, которыми она пользовалась к началу нашего столетия в странах с более старой коммерческой культурой. Быть может, с течением времени частная инициатива в России и приобрела бы такое значение и престиж. Шансы на это всё время росли. В дореволюционной России можно было найти немало примеров эффективного и прогрессивного руководства промышленными предприятиями, и такие примеры всё умножались.

Но нельзя забывать, что всё это было очень давно. Со времени революции прошло тридцать три года. За эти годы, в тяжелых условиях советской жизни, отжило целое поколение. Из лиц, способных повлиять на ход событий в России, только незначительное меньшинство вообще еще помнит дореволюционные времена. Младшее поколение не имеет никакого понятия ни о чем, кроме государственного капитализма, насильственно созданного советским режимом. Здесь же мы рассуждаем о чем-то, относящемся даже не к настоящему, а к неопределенному будущему.

Учитывая всё это, мы должны признать, что русское национальное самосознание не подготовлено к установлению в России — особенно в ближайшем будущем — ничего подобного системе частной инициативы, в том виде, в каком знаем ее мы, американцы. Это не исключает возможности развития русской частной инициативы в будущем, при благоприятном сте-

чении обстоятельств. Но она никогда не уложится в систему, тождественную нашей. И никому не удастся форсировать темп ее развития, особенно извне.

Правда, слово «социализм» столько лет тесно связывалось со словом «советский», что оно стало глубоко ненавистным многим людям в пределах и за пределами Советского Союза. Но из этого легко сделать ложные выводы. Можно допустить, что розничная торговля и другие формы обслуживания каждодневных индивидуальных потребностей когда-нибудь, в значительной своей доле, вернутся в России в частные руки. В сельском хозяйстве, как мы сейчас увидим, несомненно произойдет широкий переход к частной собственности и к частной инициативе. Возможно также, что система кооперативного производства так называемых артелей — система, корни которой глубоко уходят в русскую традицию и русское сознание — может когда-нибудь привести к экономическим отношениям, представляющим собой существенный и положительный сдвиг в подходе к современным проблемам труда и капитала. Но значительные секторы экономической жизни, которые мы привыкли относить к сфере частной инициативы, почти наверное останутся в России в ведении государства, независимо от облика будущего политического строя. Это не должно американцев ни удивлять, ни пугать. Нет никаких оснований для того, чтобы формы экономической жизни России, за некоторыми исключениями (они будут указаны ниже), могли считаться жизненно важным вопросом для внешнего мира.

Сельское хозяйство заслуживает особого места в наших размышлениях на эту тему. Сельское хозяйство — ахиллесова пята советского строя. Оставленное в частных руках, оно являлось бы уступкой человеческой свободе и личной инициативе, — уступкой которую всякий настоящий большевик считает недопустимой. В условиях насильственной коллективизации, оно требует сложного аппарата для обуздания крестьянства, чтобы прикрепить его к земле и заставить на этой земле работать. Насильственная коллективизация крестьянского населения по всей вероятности является в настоящее время самой серьезной причиной недовольства в Советском Союзе, за исключением разве лишь жестоких полицейских методов, с которыми коллективизация тесно связана. Можно с уверенностью полагать, что одним из первых актов будущего прогрессивного правительства России будет отмена ненавистной системы сельско-хозяйственного рабства и восстановление у крестьян того чувства личного удовлетворения и той инициативы, которые связаны с частным зем-

левладением и со свободой распоряжения сельскохозяйственными продуктами. Коллективные хозяйства, возможно, будут продолжать существовать, ибо самой ненавистной чертой теперешней системы является не сама идея производительных кооперативов, а тот элемент принуждения, который лежит в ее основе. Коллективы будущего, однако, будут добровольными кооперативами, а не союзами, созданными из-под палки.

Обращаясь к политической стороне дела, мы, как уже было указано выше, не можем ожидать появления либерально-демократической России, созданной по американскому образцу. Это необходимо подчеркнуть со всей силой. Это не значит, конечно, что будущий русский режим обязательно будет анти-либеральным. Нет более прекрасной либеральной традиции, чем та, которая была в русском прошлом. Да и в наши дни многие русские люди и русские общественные группы глубоко проникнуты этой традицией и готовы сделать всё, что в их силах, для того, чтобы она стала господствующей в новой России. Мы только можем от всей души пожелать им успеха. Но мы не окажем им услуги, если будем ожидать от них слишком быстрых и слишком больших успехов, или же если будем надеяться, что они создадут строй, подобный нашему. Русским либералам предстоит трудный путь. Они найдут в своей стране молодое поколение, которое не знает иной власти, кроме советской, и которое подсознательно приучено мыслить в терминах этой власти, даже когда оно питает к ней вражду и ненависть. Многие характерные черты советской системы переживут советскую власть, хотя бы уже потому, что всё другое, что можно было бы ей противопоставить, было уничтожено. Некоторые же черты советской системы заслуживают того, чтобы они пережили ее, ибо ни одна система, просуществовавшая десятилетия, не может быть лишена отдельных положительных черт. Программа всякого правительства будущей России должна будет учесть тот факт, что в русской жизни был советский период и что этот период оставил — вместе с отрицательным — и свой положительный отпечаток. Плохую помощь окажут членам правительства будущей России те западные доктринеры и нетерпеливые доброжелатели, которые будут ожидать, что они создадут в кратчайший срок точную копию демократической мечты Запада — только потому, что эти русские люди будут заняты поисками нового строя, способного заменить тот, который мы теперь называем большевизмом.

Вот почему нам, американцам, в особенности следует сдерживать, а если возможно, то и раз навсегда уничтожить

укоренившуюся среди нас склонность судить о других народах в зависимости от того, в какой степени они похожи на нас самих. В наших отношениях с русским народом для нас теперь более чем когда-либо важно помнить, что наш строй может представляться неподходящим для людей, живущих в иной атмосфере и иных условиях, и что возможно существование социального и государственного строя, не заслуживающего осуждения, хотя бы он и ни в чем не был сходен со строем американским. Сознание такой возможности несколько не должно нас смущать. В 1831 году де Токвиль, писавший из Соединенных Штатов, правильно заметил: «Чем больше я знакомлюсь с этой страной, тем больше я проникаюсь сознанием истины, что нет ничего абсолютного в теоретической оценке политических учреждений, и что их эффективность зависит почти всегда от исторических условий, в которых они возникли, и от той социальной среды, в которой они действуют».

Формы правления выковываются преимущественно в горниле практики, а не в безвоздушном пространстве теории. Они соответствуют национальному характеру и национальной действительности. В национальном характере русского народа есть много положительных черт, а настоящее положение в России настоятельно требует создания новой формы правления, которая позволила бы этим положительным чертам проявиться. Будем надеяться, что такая перемена осуществится. Но когда советская власть придет к своему концу, или когда ее дух и ее руководители начнут меняться (ибо и тот и другой конечный исход возможен) — не будем с нервным нетерпением следить за работой людей, пришедших ей на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему представлению о «демократах». Дайте им время; дайте им возможность быть русскими; дайте им возможность разрешить их внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собою глубочайшие и интимнейшие процессы национальной жизни. Иностранцам эти пути часто непонятны и иностранное вмешательство в эти процессы не может принести ничего, кроме вреда. Как мы увидим в дальнейшем, в некоторых отношениях вопрос о характере будущего русского государства действительно затрагивает интересы остального мира. Но это не касается формы правления — если только она не переступает определенных, твердо установленных границ, за которыми начинается тоталитаризм.

III.

В каких же отношениях вопрос о характере будущего русского государства затрагивает наши интересы? Какой России можем мы разумно и законно желать? Какие черты мы, как ответственные граждане мирового коллектива, имеем право искать в облике любого иностранного государства, и в частности, в облике России?

Мы вправе, в первую очередь, ожидать появления такого русского правительства, которое, в отличие от теперешнего, было бы терпимым, открытым и прямым в своих отношениях с другими государствами и народами. В его идеологии не должно быть места убеждению, что собственные его цели не могут быть успешно достигнуты, пока все государственные системы, не находящиеся под его контролем, не будут подорваны и в конечном счете уничтожены. Оно должно избавиться от мании преследования и обрести способность видеть внешний мир, включая и нас, таким, каков он есть на самом деле: не абсолютно плохим и не абсолютно хорошим; не всецело заслуживающим доверия, но и не всецело его незаслуживающим (хотя бы по той простой причине, что «доверие» имеет в международных делах лишь относительное значение). Оно должно понять, что на самом деле внешний мир не поглощен дьявольским замыслом о вторжении в Россию и нанесении удара русскому народу. Видя внешний мир в таком свете, государственные деятели будущей России смогли бы подойти к нему с уступчивостью и здоровым чувством доброжелательности, защищая свои национальные интересы, как подобает государственным деятелям, но не исходя из предположения, что эти интересы можно отстаивать только за счет интересов других стран и что другие страны должны делать то же самое.

Никто не требует наивного и детского доверия; никто не требует беспричинного энтузиазма по отношению ко всему иностранному; никто не требует, чтобы игнорировались реальные и законные расхождения интересов, которые всегда налагают и будут налагать свою печать на международные отношения. Мы должны не только считать с тем, что русские национальные интересы не перестанут существовать, но и с тем, что они будут энергично и уверенно отстаиваться. Но при режиме, который по нашему признанию будет заметным улучшением по сравнению с теперешним режимом, мы будем вправе ожидать, что это будет происходить в атмосфере душевного равновесия и сдержанности: на иностранного представителя не будут смот-

реть, как на человека, одержимого дьяволом, и не будут с ним обращаться как с таковым; будет признано естественным самое невинное и законное любопытство по отношению к иностранному государству, и что удовлетворение такого любопытства может быть дозволено без роковых последствий для национальных интересов этого государства; будет признано, что отдельные иностранные круги могут иметь определенные деловые интересы, которые не преследуют цели разрушения русского государства; и, наконец, будет допущено, что лица, желающие путешествовать за границей, могут руководиться иными мотивами, кроме шпионажа, саботажа и подрывной деятельности, — в том числе, такими простыми мотивами, как, например, любовь к путешествиям или необъяснимое желание время от времени навещать своих родственников. Короче говоря, мы можем требовать, чтобы нелепая система анахронизмов, известная под названием железного занавеса, была упразднена, и чтобы к русскому народу, который, будучи зрелым членом мирового коллектива, мог бы так много дать и так много получить взамен, перестала применяться оскорбительная политика, третирующая его как незрелого и несамостоятельного ребенка, которому нельзя позволить общаться с миром взрослых и которого нельзя без надзора выпускать из дому.

Во-вторых, признавая, что форма правления является внутренним делом России и допуская, что она может резко отличаться от нашей, мы одновременно имеем право ожидать, чтобы выполнение функций государственной власти не переходило ясно начертанной границы, за которой начинается тоталитаризм. В частности, мы имеем право рассчитывать, что любой режим, который будет претендовать на преимущество перед теперешним режимом, воздержится от применения рабского труда, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Такое требование имеет свое основание: основание еще более веское, чем то моральное потрясение, которое мы испытываем при виде отталкивающих подробностей этого рода угнетения. Когда режим становится на путь порабощения своих собственных трудящихся, он вынужден поддерживать такой огромный аппарат принуждения, что появление железного занавеса следует почти автоматически. Никакая правящая группа не захочет признаться в том, что она может править своим народом только обращаясь с ним, как с преступниками. Отсюда возникает тенденция оправдывать политику угнетения внутри страны ссылками на опасности, грозящие ей со стороны порочного внешнего мира. При таких условиях внешний мир должен изображаться, как в выс-

шей мере порочный — вплоть до карикатурных пределов. Менее сильные средства здесь помочь не могут. Тщательно скрывая действительность за железным занавесом, режим представляет «заграницу» своему народу в самом мрачном виде; так озабоченные матери пытаются запугать своих детей и укрепить свой собственный авторитет, устрашая их зловещей неведомой силой, которая «схватит их, если они не будут осторожными».

Таким образом, эксцессы внутренней власти неизбежно ведут к антисоциальному и агрессивному образу действий на международной арене и становятся поводом для тревоги со стороны международного коллектива. Миру не только безмерно надоела эта комедия с ее бесконечной и утомительной ложью. На горьком опыте он еще убедился и в том, что когда эта комедия затягивается на продолжительный срок, то, в силу своей опасной безответственности, она становится серьезной угрозой международному миру и мировой устойчивости. Именно по этой причине, — хотя и отдавая себе отчет в том, что все различия между свободой и властью относительно, и признавая, что 90% этих различий нас не касаются, поскольку дело идет об иностранном государстве, — мы всё же настаиваем, что есть такая запретная зона, в которую ни одно правительство великой страны не может вступить, не создавая при этом самых прискорбных и серьезных последствий для своих соседей. Это та самая зона, в которой режим Гитлера чувствовал себя как дома и в которой советское правительство подвизалось по крайней мере в течение последних 15-ти лет. Заявим без обиняков, что мы не сможем признать никакой будущей русский режим и не сможем находиться с ним в нормальных отношениях, если он не останется за пределами этой запретной зоны.

В-третьих, мы можем надеяться, что новая Россия не станет надевать тягостного ярма на другие народы, обладающие стремлением и способностью к национальному самоопределению. Здесь мы касаемся деликатного вопроса. Более трудного и более скользкого вопроса не найти во всем политическом словаре. Думая о взаимоотношениях между великорусским народом и соседними с ним народами, живущими за пределами бывшей царской империи, а также нерусскими национальными группами, в свое время включенными в состав этой империи, нельзя представить себе такую схему разрешения вопроса о границах или государственного устройства, которая, при преобладающих сейчас понятиях, не вызвала бы взрыва не-

довольства во многих кругах и не была бы часто действительно несправедливой. Покуда население этой части света не изменит своего отношения к вопросам о границах и о национальных меньшинствах, американцам не следует брать на себя ответственность за определенные взгляды и определенную позицию в этом вопросе; ибо любое конкретное решение может в какой-нибудь момент стать поводом к горьким упрекам по их адресу, и американцы будут вовлечены в споры, не имеющие никакого отношения к делу человеческой свободы.

Очевидной необходимостью и единственным решением, заслуживающим поддержки со стороны американцев, является пробуждение среди непосредственно заинтересованных народов всей этой беспокойной области нового духа, который внес бы в вопросы о границах и о государственном устройстве новое содержание и значительно уменьшил бы их значение. Проснется ли такой дух в этих народах — предугадать невозможно. И именно поэтому американцам следует быть особенно осторожными в поддержке или в поощрении какого-либо конкретного плана в этой области; ибо мы не можем оценить значение той или иной программы прежде чем не выявится дух, в каком она будет осуществляться. Как можем мы судить, потребуется ли для данной национальной группы государственная независимость, положение федеральной республики, особая форма местного самоуправления, или вообще не потребуется никакого особого статуса, прежде чем мы ознакомимся с психологической атмосферой, в которой то или иное устройство будет действовать? По соседству с великорусским народом живут народы нерусского происхождения, экономическая жизнь которых тесно связана с экономической жизнью великороссов. Желательно наименьшее ослабление этих экономических связей в будущем, а это уже само по себе обычно требует тесной политической связи. Но характер этой связи будет зависеть от настроений по обе стороны демаркационной линии: от степени терпимости и понимания, на которую окажутся способны все эти народы (а не только один русский народ) при установлении новых взаимоотношений.

Мы, например, все согласны, что балтийские страны никогда более не должны находиться в вынужденной зависимости от русского государства, ибо это идет вразрез с сокровенными чаяниями населяющих их народов; но в то же самое время для этих народов было бы безрассудным отказаться от тесного сотрудничества с проникнутой духом терпимости не-

империалистической Россией, которая искренно стремилась бы рассеять воспоминания о печальном прошлом и построить свои отношения с балтийскими народами на почве подлинного и бескорыстного уважения их прав. Украина несомненно заслуживает полного признания самобытного гения и способностей ее народа равно как ее нужд и возможностей в области развития собственного языка и собственной культуры; но в экономическом отношении Украина в такой же мере составная часть России, как Пенсильвания составная часть Соединенных Штатов. Кто может сказать, каково должно быть окончательное правовое положение Украины, пока неизвестен характер будущей России, в зависимости от которого этот вопрос придется решать? Что касается государств-сателлитов, то они должны вновь обрести и несомненно обретут полную независимость; но и они не обеспечат своей устойчивости и будущего процветания, если они станут на ложный путь, отдавшись чувству мести и ненависти к русскому народу, который вместе с ними разделял их трагическую судьбу, и будут пытаться построить свое будущее на своекорыстном использовании первоначальных затруднений нового русского режима, руководимого добрыми намерениями и борющегося с наследием большевизма.

Напрасно было бы недооценивать всю болезненную трудность этих территориальных проблем, даже если допустить наличие максимальной доброй воли и спокойной терпимости со стороны всех затронутых ими народов. Некоторые меры, осуществленные в конце второй мировой войны, дурные последствия которых с тех пор усугублены преднамеренной политикой некоторых правительств, направленной к преждевременному превращению временного устройства в постоянное, представляют собою явно нездоровые основы, никоим образом неблагоприятствующие упрочению мира. Рано или поздно эти решения придется пересмотреть и тогда все заинтересованные стороны должны будут проявить почти невероятную тактичность и долготерпение, чтобы произвести необходимые перемены без нового разжигания страстей и горьких обид. За это безотрадное положение народы Европы могут поблагодарить как большевиков с их расчетливым цинизмом, так и западные державы с их благосклонным попустительством.

Один из наиболее выдающихся немецких оппозиционеров гитлеровского времени, писавший своему другу в Англии с риском для жизни, сказал в своем письме, между прочим, следующее: «Послевоенная Европа представляется нам не столько в свете вопросов о границах и солдатах, о громоздких органи-

зациях и грандиозных планах, сколько в свете вопроса о том, как восстановить человеческий образ в сердцах наших сограждан»*.

Увы, нацистская виселица не пощадила этого человека для пользы настоящего и будущего; он был прав и у него была смелость; такого духа люди будут насущно необходимы для того, чтобы судьба области, простирающейся от Эльбы до Берингова пролива, стала более счастливой в будущем, чем она была до сих пор. Американцу, желающему оказать благотворное влияние в этой части света, не мешало бы повлиять на своих друзей из стран за железным занавесом, если у него таковые имеются — в том смысле, что им, или кому бы то ни было, пора перестать нудно и бесплодно спекулировать на так называемых национальных границах и наивных патриотических чувствах сбитых с толку языковых групп, — т. е. прекратить то, что в этих краях в прошлом сходило за проявление государственной мудрости. Есть вещи более важные, чем вопрос о том, где проходит та или иная граница; среди них главную роль играет проявление терпимости по обе стороны границ, зрелое суждение, смирение перед страданиями прошлого и проблемами будущего и сознание, что ни одна из проблем, стоящих перед любым европейским народом, не будет разрешена целиком, или даже в основном — в пределах национальных границ данного государства.

Вот, следовательно, то, что благожелательный американец вправе ожидать от будущей России: что она поднимет навсегда железный занавес; что она признает некоторые ограничения правительственной власти во внутренних делах и что она откажется от устаревшей игры в империалистическую экспансию и порабощение, как от пагубной и недостойной политики. Если она не пожелает пойти по этому пути, — она будет мало чем отличаться от того, что мы имеем перед собою теперь, и ни одному американцу не стоит задумываться над тем, как ускорить приход в мир такой России. Если же она будет готова сделать всё это, американцам не к чему будет глубже интересоваться вопросом о её природе и целях; основные требования более устойчивого мирового порядка будут удовлетворены, и те вопросы, по которым иностранцы могут с пользой для дела высказывать свои мысли и давать свои советы, будут исчерпаны.

* *A German of the Resistance: The Last Letters of Count Helmuth von Moltke*. London, Oxford University Press, 1948.

IV.

Таков образ России, какой мы желали бы ее видеть. Но как же мы, американцы, должны вести себя для того, чтобы содействовать воплощению такой России или, по крайней мере, наибольшему к нему приближению?

В наших размышлениях на эту тему мы должны тщательно отделять вопрос о прямом воздействии, т. е. о таких наших действиях, которые бы непосредственно затративали людей и определяли события в странах за железным занавесом, — от вопроса о воздействии косвенном, понимая под этим такие действия, которые бы скорей касались нас самих или наших отношений с другими народами и, следовательно, лишь косвенно и в отдельных случаях могли бы касаться советского мира.

Как это ни прискорбно, при настоящем мировом положении вопрос о прямом воздействии со стороны американцев придется рассматривать в свете возможности войны или продолжения существующего состояния «малой войны». К сожалению, приходится начать с первой из этих возможностей, так как именно она настойчиво тревожит сейчас сознание многих людей.

Итак, если война окажется неизбежной, — что мы, американцы, можем сделать для содействия возникновению более желательной для нас России? Прежде всего мы должны сохранить в наших умах ясным и определенным образ этой желательной для нас России и приложить все усилия к тому, чтобы военные действия не помешали воплощению в жизнь этого образа.

Первая часть этой задачи носит негативный характер: нас не должны отвлекать несущественные или сбивающие с толку формулировки военных целей. На этот раз мы должны будем избежать тирании лозунгов. Мы не должны поддаваться наваждению тех высокопарных, не имеющих ничего общего с реальностью или даже бессмысленных фраз, назначение которых заключается лишь в том, чтобы как-то примирить нас с творимым нами страшным и кровавым делом. Мы должны помнить, что война есть дело разрушительное, ожесточающее человека, требующее жертв, вызывающее разлуку с близкими, распад семьи и ослабляющее внутренние ткани общества; что война есть процесс, который сам по себе не может привести ни к чему положительному; что даже военная победа в состоянии служить лишь предварительной базой для дальнейших положительных достижений, которые она может сделать возможными, но кото-

рые она ни в коем случае не может обеспечить. Мы должны будем на этот раз, вооружившись моральным мужеством, постоянно напоминать себе, что, с точки зрения наших культурных ценностей, насилие в международном масштабе является ничем иным, как всеобщим банкротством даже для тех, кто уверен, что он борется за правое дело; что все мы — побежденные и победители одинаково — обречены на то, чтобы выйти из войны обедневшими и еще более далекими от достижения тех целей, которые мы себе ставим; что как с победой, так и с поражением, связаны почти равные бедствия и что даже самая блестящая военная победа не может дать нам право смотреть в грядущее с иными чувствами, чем горе и унижение за свершившееся, чем сознание того, что путь, ведущий к лучшему миру, долог и труден и что он был бы не так труден и долог, если бы нам удалось избежать военной катастрофы.

Если мы будем помнить всё это, у нас будет меньше склонности рассматривать военные операции, как самоцель, и нам будет легче вести их так, чтобы они соответствовали нашим политическим целям. Если нам придется поднять оружие против тех, кто теперь правит русским народом, мы должны будем избегать всего, что заставило бы русский народ видеть в нас его врагов, и мы сами не должны будем считать, что русские люди наши враги. Мы должны будем постараться объяснить русскому народу, что те страдания, которые мы вынуждены ему причинять, вызваны только силой необходимости. Мы должны будем дать ему убедительные доказательства нашего сочувственного понимания его прошлого и нашего интереса к его будущему. Мы должны будем дать почувствовать русскому народу, что мы на его стороне и что наша победа — если мы победим — будет использована так, чтобы предоставить ему возможность самому создать для себя более счастливую жизнь, чем та, которую он знал в прошлом. Для всего этого — самое важное, чтобы мы не забывали о том, какой Россия была и какой она может быть, и не позволяли политическим разногласиям затуманивать этот образ России.

Трудно определить, в чем именно заключается величие той или иной нации. Каждый народ состоит из множества отдельных людей, а среди отдельных людей, как известно, нет единообразия. Некоторые из них привлекательны, другие неприятны: одни — честные люди, другие — не вполне; одни сильны, другие слабы; одни вызывают восхищение, другие у всех вызывают любое чувство, кроме восхищения. Всё это верно, как в отношении нашей родины, так и в отношении России. Поэтому

так трудно сказать, в чем заключается величие народа. Одно можно сказать с уверенностью: оно редко заключается в тех качествах, которые, в сознании самого народа, дают ему право верить в свое величие; ибо в народах, как и в отдельных людях, подлинно выдающиеся достоинства обычно бывают не те, которые они сами любят себе приписывать.

И всё же национальное величие несомненно существует; несомненно и то, что русский народ обладает им в высокой степени. Путь этого народа из мрака и нищеты был мучительным, он сопровождался безмерными страданиями и прерывался тяжелыми неудачами. Нигде на земле огонек веры в человеческое достоинство и милосердие не мерцал так неровно, сопротивляясь налетавшим на него порывам ветра. Но этот огонек никогда не угасал; не угас он и теперь даже в самой толще России; и тот, кто изучит многовековую историю борения русского духа, не может не склониться с восхищением перед русским народом, пронесшим этот огонек через все страдания и жертвы.

История русской культуры свидетельствует о том, что эта борьба имеет значение, выходящее далеко за пределы коренной русской территории; она является частью, и притом исключительно важной частью, общего культурного прогресса человечества. Чтобы в этом убедиться, стоит только посмотреть на уроженцев России и людей русского происхождения, проживающих в нашей среде, — инженеров, ученых, писателей, художников. Было бы поистине трагичным, если бы под влиянием возмущения советской идеологией или советской политикой мы превратились в соучастников русского деспотизма, забыв о величии русского народа, потеряв веру в его гений, в его способность творить добро, и сделавшись врагами его национальных чаяний. Жизненное значение всего этого становится еще более ясным при мысли о том, что мы, люди западного мира, верящие в принципы свободы, не можем одержать победу в борьбе с разрушительными силами советской власти, не имея на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника. Это относится одинаково и к мирному времени и к войне. Немцы, сражавшиеся, правда, не за дело свободы, познали к собственному несчастью невозможность одновременной борьбы с русским народом и с советским правительством.

Главная трудность здесь, конечно, заключается в том положении безмолвной беспомощности, в котором находится русский народ под властью тоталитарного режима. Наш опыт

с Германией показал, что мы, как нация, не слишком хорошо справились с задачей вникнуть в положение человека, живущего под игмом современного деспотизма. Тоталитаризм — не национальное явление: это болезнь, которой в какой-то мере подвержено всё человечество. Оказаться во власти такого режима есть несчастье, которое может постигнуть любую нацию в результате чисто исторических причин и которое нельзя связать ни с какой определенной виной данного народа в целом. Где только обстоятельства ослабляют силу сопротивления до известной критической степени, вирус тоталитаризма может восторжествовать. Для того, чтобы в условиях тоталитаризма личная жизнь могла хоть как-нибудь продолжаться, она должна быть налажена путем какого-то соглашательства с режимом и при некотором приятии его целей. Более того, неизбежно, чтобы в некоторых областях тоталитарному правительству удалось отождествить себя с народными чувствами и стремлениями. Отсюда возникает неизбежная сложность отношений между гражданами и властью: во всяком тоталитарном режиме: они никогда не бывают прямолинейно простыми. Тот, кто всего этого не понимает, не может понять и всей серьезности вопроса о наших отношениях с народами таких стран. Реальность опровергает излюбленное нами представление о том, что народ тоталитарного государства может быть точно и без остатка разделен на коллаборантов и мучеников. Пережив тоталитарный режим, люди не могут остаться невредимыми; когда они выходят на свободу, они нуждаются в помощи, в руководстве и в понимании, а не в выговорах и проповедях.

Безрассудное негодование, направленное против целого народа, никуда не ведет. Нужно подняться выше этих упрощенных и детских представлений и воспринять трагедию России, как отчасти и нашу собственную трагедию, а в русском народе признать нашего сотоварища в долгой и тяжелой борьбе за лучший порядок, при котором люди нашей беспокойной планеты могли бы жить в мире друг с другом и в согласии с природой.

V.

Таковы общие соображения относительно того, что нам следует делать в том случае, если вопреки нашим надеждам и желаниям, война, о которой столько говорится, окажется неизбежной. Но что, если теперешнее состояние отсутствия «боль-

шой войны» будет продолжаться? Какой курс нам взять в таком случае?

Прежде всего спросим себя, есть ли основание надеяться, что при этом положении вещей в России могут произойти те перемены, о которых говорится в этой статье? Для ответа на этот вопрос объективных критериев не имеется. Нет положительных указаний ни в одну, ни в другую сторону. Ответ на этот вопрос может быть основан отчасти на оценке обстоятельств, отчасти же он будет просто «актом веры». Автор этой статьи лично убежден, что ответ должен быть положительным: то есть, что мы действительно имеем основание надеяться и полагать, что такие перемены могут произойти. Но всё, что можно сказать в подтверждение этого взгляда сводится к следующему: не может быть подлинно устойчивой система, базирующаяся на отрицательных и слабых сторонах человеческой природы, — система, пытающаяся жить за счет унижения человека, питающаяся, как коршун, его страхом и ненавистью, его неразумностью и подверженностью психологическому воздействию. Такая система отражает лишь чувство бесплодности и озлобленность создавших ее людей и холодный ужас тех, кто по слабости характера или по недалекости сделались ее агентами.

Я не говорю здесь о русской революции, как о таковой. Она была более сложным явлением, с более глубокими корнями в логике исторических событий. Я говорю о том процессе, в результате которого нечто, претендовавшее на звание благоприятного поворота в человеческой истории, нечто утверждавшее, что оно ведет не к увеличению, а к уменьшению суммы человеческой несправедливости и угнетения, выродилось в жалкое чистилище полицейского государства. Только люди с глубоким сознанием личной неудачи могут находить удовлетворение в причинении другим тех страданий, которые неотделимы от подобной системы; и тот, кому случалось заглянуть глубоко в глаза агента коммунистической полиции, мог найти в этом темном колодце дисциплинированной ненависти и подозрительности огонек отчаянного страха, который и является доказательством моего утверждения. Те, кто пытаются сначала прикрыть личное властолюбие и жажду мести чудовищным обманом и упрощенством, свойственными тоталитаризму, кончают тем, что вступают в борьбу против самих себя, в унылую безнадежную борьбу, которую они проектируют на подвластных им людей, делая полем битвы счастье и веру этих последних.

Возможно, что близкие помощники этих людей унаследуют их власть, а с нею и разгоревшиеся в борьбе страсти. Но процесс наследования не может пойти дальше этого. Люди могут двигаться, как бы в силу привычки, в результате эмоциональной инерции, полученной ими от других, но они уже не в состоянии в свою очередь передать ее дальше. Импульсы, повергающие людей одного поколения в мрачное разочарование в себе самих и в народных массах, в которых они ищут свое отражение, становятся со временем всё менее привлекательными для последующих поколений. Жестокость, ложь, бесконечное издевательство над человеком, практикуемое в концентрационных лагерях, — все эти атрибуты полицейского государства, возможно, и имеют вначале зловещую притягательную силу, вроде той, которую опасность и анархия имеют для живущего налаженной и спокойной жизнью общества; но рано или поздно они надоедают всем, как надоедает приевшаяся, однообразная порнография, — включая и тех, кто этому предавался.

Многие из слуг тоталитарной власти, унизившие себя больше, чем они унижали свои жертвы, зная, что они отрезали себе путь к лучшему будущему, могут правда цепляться в отчаянии за свою непривлекательную службу. Но деспотизм не может держаться только на страхе своих тюремщиков и палачей, он должен иметь за собой движущую политическую волю. В те времена, когда деспотическая власть была тесно связана с какой-либо династией или с наследственной олигархией, такая политическая воля могла быть более постоянной. Но в то же время она должна была относиться с более благожелательным и творческим интересом к народу, над которым она властвовала и трудами которого она питалась. Она не могла позволить себе держаться всецело на запугивании и унижении народа. Династическая преемственность заставляла ее признавать свои обязательства по отношению к будущему в такой же мере, как к настоящему и прошлому.

Современное полицейское государство не обладает этими свойствами. Оно представляет собою лишь ужасающую судорогу общества, вызванную толчком данного исторического момента. Общество может глубоко и мучительно пострадать от этой болезни, но так как общество есть своего рода организм, подвергающийся переменам, обновлению и приспособлению, оно не может остаться больным навсегда. Бурные потрясения, вызвавшие судорогу, постепенно начнут терять свою силу. Инстинкт, влекущий к более здоровой и более содержательной жизни, начнет брать верх.

Таковы соображения, которые дают автору этой статьи основание верить, что, если перед русским народом будет найдется пример возможных перемен в его жизни, в виде существования в другой части земного шара достаточно привлекательной цивилизации, питающей в людях надежду и ставящей перед ними положительные цели, — то рано или поздно наступит день, когда, путем эволюции или иным путем, та ужасная система власти, которая отбросила на много десятилетий назад прогресс великого народа и навела густую тень на чаяния всего цивилизованного мира, перестанет быть реальностью. Память о ней останется частью в исторических анналах, а частью в тех отложениях, которые всякое великое потрясение, как бы ни были печальны другие его проявления, оставляет после себя в человеческой истории, в форме конструктивных органических изменений.

Как именно произойдет перемена — предугадать невозможно. Если вообще существуют законы политического развития, то, конечно, они тут скажутся; но это будут особые законы развития, присущие феномену современного тоталитаризма, а эти законы еще недостаточно изучены и поняты. Независимо от того, существуют ли такие законы или нет, дальнейшее развитие будет в значительной мере обусловлено еще и национальным характером русского народа, и тем элементом случайности, который несомненно играет огромную роль в событиях человеческой жизни.

При таком положении вещей мы вынуждены признать, что пока мы видим будущий политический строй России неясно, как бы сквозь матовое стекло. Судя по тому, что видно на поверхности, мало оснований надеяться, что желательные перемены во взглядах и образе действий московского правительства могут произойти без насильственного перерыва в преемственности власти, то есть без насильственного ниспровержения строя. Но в этом не может быть никакой уверенности. Случались более странные вещи, хотя и не настолько уже более странные. Во всяком случае не наше дело заранее предрешать этот вопрос. Для целей согласования нашей политики с нашими интересами нам вовсе не необходимо принимать решения относительно того, о чем мы явно не можем быть надлежащим образом осведомлены. В этом случае мы должны считаться со всеми возможностями, не упуская из виду ни одной из них. Главное — это хранить в мыслях ясный образ России, какой мы желали бы ее видеть в качестве одного из действующих лиц на мировой арене, и руководствоваться этим образом при всех наших сно-

шениях с различными русскими политическими течениями, включая и то, которое сейчас находится у власти, и те, которые представляют собою оппозицию. И если России суждено будет обрести свободу путем постепенного распада деспотизма, а не путем бурного прорыва наружу сил свободы, — мы хотим иметь право сказать, что наша политика содействовала такому ходу событий, и что мы не мешали ему своей предвзятостью, нетерпением или отчаянием.

В одном мы можем быть уверены: никакие радикальные и прочные изменения в духе и практике русского правительства не могут произойти главным образом в результате призывов и советов, исходящих от иностранцев. Русский народ должен сам взять на себя инициативу и произвести эти изменения собственными усилиями. Только тогда они будут подлинными, прочными и достойными тех надежд, которые возлагают на них другие народы. Только люди с поверхностным знанием механизма истории могут думать, что иностранная пропаганда и агитация может вызвать коренные изменения в жизни великого народа. Люди, говорящие о свержении советского строя путем пропаганды, в доказательство своей мысли приводят интенсивную деятельность советского пропагандного аппарата и указывают на различные аспекты советской подрывной работы во всем мире — работы, руководимой, вдохновляемой и поощряемой Кремлем. Но эти люди забывают, что для этой советской деятельности, продолжающейся с неустанной энергией вот уже тридцать три года, наиболее характерна ее безуспешность. В конечном счете почти во всех случаях для фактического распространения советской системы потребовалось военное давление или вторжение. На это могут возразить: а Китай? Разве Китай не составляет исключения из общего правила? Однако, нам неизвестно, в какой мере Китай действительно стал частью советской системы, а приписывать китайскую революцию последних лет главным образом советской пропаганде или советскому влиянию, значило бы, по меньшей мере, сильно недооценивать целый ряд других, весьма важных, факторов.

Всякая попытка одного народа говорить непосредственно с другим народом о политических делах последнего — способ действий сомнительный, грозящий возникновением недоразумений и обид. Это особенно верно в тех случаях, когда дух и традиции обоих народов различны и когда политическая терминология почти непереводаима. Сказанное здесь отнюдь не умаляет значения «Голоса Америки», роль которого в отношении

России заключается в том, чтобы как можно более точно отражать общую атмосферу и настроения Америки, давая советскому гражданину возможность составить свое беспристрастное о них суждение. Но эта работа не имеет ничего общего с призывом к тем или иным политическим действиям. У нас могут быть свои собственные мысли и надежды относительно того, какие выводы для себя сделает советский гражданин, знакомясь с американской жизнью по передачам «Голоса Америки» или по сведениям из других источников; мы можем представить себе, как мы бы стали поступать на его месте, получив такую информацию; но было бы ошибкой с нашей стороны, на основании всего этого, пытаться прямо подсказывать ему, что он должен делать в условиях окружающей его политической действительности. Мы невольно будем говорить с ним нашим, а не его, языком и нам будет легко впасть в ошибку при оценке его проблем и его возможностей. В соответствии с этим, наши слова будут иметь для него совсем другой смысл, чем тот, который мы хотели бы в них вложить.

По этой причине, самым важным видом влияния, которое Соединенные Штаты могут оказать на развитие внутренней жизни России, останется влияние примером — примером Америки, какой она есть, не только в представлении других народов, но и на самом деле. Это не значит, конечно, что теряют свою несомненную важность и многие другие вопросы, стоящие сейчас в центре общественного внимания: вопросы о нашей материальной силе, о наших вооружениях, о нашей решимости или о нашей солидарности с другими свободными народами. Не устраняет это и настоятельной и первостепенной нужды в мудрой и искусной внешней политике, ставящей своей целью развязать и сделать действенными все те силы в мире, которые совокупно с нашей собственной силой, могли бы убедить кремлевских владык в том, что их грандиозные планы тщетны и невыполнимы и что упорство, с которым они настаивают на этих планах, не поможет им разрешить собственные их трудности и задачи. Наоборот, не может быть никакого сомнения в том, что все эти вопросы должны продолжать стоять на первом плане, если мы хотим избежать войны и выиграть время для того, чтобы начали действовать более надежные факторы. Но все эти намечаемые нами меры останутся бесплодными и негативными, если не придавать им смысла и содержания, основанного на чем-то, что идет глубже и дальше чем простое предостережение войны или пресечение империалистической экспансии. С этим как будто все согласны. Но в чем заключается это «что

то»? Многие думают, что это только вопрос о том, к чему мы должны призывать других, т. е. иными словами, вопрос внешней пропаганды. Я же считаю, что это прежде всего вопрос о том, что мы должны требовать от самих себя. Это — вопрос о самом духе и смысле американской национальной жизни. Любое слово, с которым мы обратимся к человечеству, может стать действительным лишь в том случае, если оно будет отражать нашу внутреннюю жизнь и если эта последняя будет достаточно внушительна для того, чтобы вызвать уважение и доверие со стороны мира, который, несмотря на все материальные трудности, всё еще готов ставить духовные ценности выше материального благополучия.

Достижение такого положения в нашей национальной жизни должно быть нашей первой и главной заботой. Напротив, нам надо меньше заботиться о том, чтобы убедить другие народы в наших достижениях. В жизни народов подлинные ценности не бывают и не могут остаться непризнанными. Торо писал: «Нет такого зла, которое не могло бы быть рассеяно, подобно тьме, если вы обратите на него луч яркого света... Если же свет будет исходить от убогой малой свечи, почти все предметы станут отбрасывать тень более длинную, чем они сами».

И обратно: если наш свет будет достаточно ярким, можно не сомневаться, что лучи его проникнут в русские пространства и когда-нибудь помогут рассеять нависший над ними мрак. Никаким железным занавесом нельзя будет заглушить, даже в самой глубине Сибири, весть о том, что Америка сбросила с себя оковы разлада, замешательства и сомнений, что у нее появились новые надежды и новая решимость и что она приступила к разрешению своих задач с энтузиазмом и с ясным сознанием своих целей.

Джордж Ф. Кеннан.

КОММЕНТАРИИ

1. По поводу статьи Джорджа Кеннана

Многое из того, что Джордж Кеннан говорит в своей статье, представляется мне совершенно бесспорным и с русской точки зрения чрезвычайно ценным.

Думаю, что не я один, но и все его русские читатели оценят прежде всего тот дух подлинной симпатии к России и русскому народу, в котором его статья написана. За последнее время мы не слишком были в этом отношении избалованы. По психологически вполне понятным причинам, отталкивание от советского режима часто переходит в ту или иную степень отталкивания от всего русского — или, по меньшей мере, настроенности по отношению ко всему, с Россией связанному. К этому элементарному чувству иногда присоединяется воздействие исторических (вернее, псевдо-исторических) теорий, подчеркивающих коренную противоположность России и западного мира и выводящих все основные черты советского режима из «русской национальной традиции». Когда мы сами пытаемся бороться с этими настроениями или опровергать эти теории, нас почти неизбежно заподозривают в патриотическом пристрастии. Иное дело, когда попытка отделить Россию от коммунизма исходит из американского, и притом столь авторитетного, источника.

Вот почему с чувством глубокого удовлетворения прочтут все русские читатели Дж. Кеннана те, проникнутые подлинным пафосом, строки, в которых он говорит о «величии и гении русского народа», о его «способности творить добро», о том, как он сумел пронести через все страдания и жертвы «огонек веры в человеческое достоинство и милосердие», или о том, что «нет более прекрасной либеральной традиции, чем та, которая была в русском прошлом» и которая, по его убеждению, жива и сейчас. Но дело, конечно, не столько в наших чувствах, сколько в тех выводах, которые Дж. Кеннан делает из этих предпосылок для западного мира. Самое для него важное — это «не забывать о том, какой Россия была и какой она может быть, и не

позволять политическим разногласиям затуманивать этот образ России». Он напоминает своим соотечественникам, что тоталитаризм не есть национальное явление: «это болезнь, которой в какой-то мере подвержено всё человечество». Попасть под власть тоталитарного режима есть не вина, а несчастье оказавшегося в этом положении народа. Отсюда вывод: «воспринять трагедию России, как отчасти и нашу собственную трагедию, а в русском народе признать нашего сотоварища в долгой и тяжкой борьбе за лучший порядок».

Никто из нас не может усомниться в мудрости этого совета. Такой же бесспорной мудростью проникнуто и заявление Дж. Кеннана, что для установления правильной политики по отношению к России Америке надо прежде всего определить, чего она хочет и как именно она должна действовать — для того, чтобы «облегчить, а не затруднить воплощение в жизнь ее стремлений». На первый взгляд это кажется самоочевидной истиной. Но уже само по себе показательно, что через шесть лет после окончания войны американский государственный деятель калибра Дж. Кеннана находит нужным на ней настаивать. Из опыта этих лет мы знаем, как часто казалось, что Америка не имеет ясно и твердо определенной русской политики — или по крайней мере не умеет сделать ее ясной для внешнего мира. Призыв к безотлагательному установлению такой ясности кажется мне одним из самых положительных и ценных элементов в аргументации Дж. Кеннана.

Боюсь, что сторонники прямолинейных и упрощенных решений будут разочарованы его подходом к вопросу о войне. Мне лично он кажется проникнутым духом подлинного реализма. С похвальным отсутствием догматической предвзятости, Дж. Кеннан не исключает возможности войны, но и не считает ее неизбежной. В том невероятно сложном положении, которое создано современным международным кризисом, для него вообще не существует легких и прямолинейных решений. Он понимает, что политика Америки должна быть достаточно гибкой, учитывающей не только возможность настоящей, «большой» войны, но и возможность продолжения теперешней «холодной войны» (он предпочитает называть ее «малой войной») на длительный период времени. Более того, он определенно считает войну наименее желательным исходом. Многим из его русских читателей следует внимательно вчитаться в соответствующие страницы его статьи. Для него дело не только в соображениях гуманитарного порядка, настолько очевидных, что на них не стоит и останавливаться. В каком-то смысле еще важнее труд-

ность предвидеть политические и культурно-экономические последствия современной тотальной войны, автоматически развязывающей разрушительные процессы небывалой силы. И уже во всяком случае тысячу раз прав Дж. Кеннан когда он говорит, что сама по себе война ничего не решает. Только в совокупности с целым рядом тщательно продуманных политических мероприятий могут даже успешные военные действия привести к хотя бы частичному разрешению поставленных задач. Здесь, в своем настаивании на необходимости строгого согласования политических действий с военными, Дж. Кеннан очевидно опять исходит из опыта прошлого. Всё, что он говорит по этому поводу, есть косвенное признание, что в последней войне такого согласования со стороны западных союзников не было, а местами он и прямо на это указывает. Если, вопреки желанию Америки, война всё-таки произойдет, то, ведя ее, американцы должны будут сделать ясным, что в русском народе они своего врага не видят и что свою победу они используют и в его интересах. В основе этой, рекомендуемой Дж. Кеннаном, тактики лежит сознание, что как в войне, так и в политической борьбе с «разрушительными силами советской власти», американцы победить не могут, «не имея на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника». На это русский читатель может с убеждением сказать — «аминь».

Мы вступаем в более спорную область, когда переходим к рассуждениям Дж. Кеннана о вероятном облике будущей России и о тех путях, которые к ней могут привести. Отмечу здесь же, что и в этих своих рассуждениях Дж. Кеннан воздерживается от всякого догматизма и неоднократно подчеркивает отсутствие положительных данных для категорических утверждений в том или ином смысле. И всё же, при всей его осторожности, — а иногда может быть как результат этой осторожности, — некоторые его суждения способны вызвать более или менее значительные сомнения. Он, конечно, прав, когда предупреждает американцев, что они не должны представлять себе новую, возрожденную Россию, как созданную по образу и подобию Соединенных Штатов. Но в стремлении предохранить своих соотечественников от возможного разочарования он, может быть, идет слишком далеко в подчеркивании своеобразия русского развития. Многие из того, что он говорит, например, о сравнительно слабой роли частной инициативы в русском прошлом, конечно, верно, но мне кажется, что у него есть тенденция эту роль несколько преуменьшать. Теперь мы знаем, что частная инициатива играла значительно большую роль в

экономической жизни России и в московский период, и в восемнадцатом веке, чем это прежде принято было считать, и что распространялась она не только на торговлю, но и на промышленность (кстати, кроме слова «купец» в русском языке издавна было и слово «промышленник»). Дворяне далеко не всегда пренебрегали торгово-промышленной деятельностью, а в создании русской мануфактуры не последнюю роль сыграли предприниматели из крепостной крестьянской среды. Картина, типичная для ранней эпохи ускоренной индустриализации в России, действительно, напоминала первоначальную фазу промышленной революции на западе, но ведь от этой последней она была отделена всего несколькими десятилетиями. Некоторые же сходные черты можно найти, пожалуй, и в американской экономической жизни периода после Гражданской Войны. Недаром в романах Бальзака и Диккенса, как и в произведениях американских писателей более позднего времени, тоже преобладают отрицательные портреты крупных и мелких «дельцов», едва ли более привлекательные, чем те образы купцов в русской литературе, на которые ссылается Дж. Кеннан.

Каков будет относительный удельный вес государственного контроля и частной инициативы в экономической жизни России после конца советского режима, будет зависеть, конечно, не только от давней исторической традиции, но также — и вероятно в большей мере — от обстоятельств момента и от опыта более близкого прошлого. Дж. Кеннан подчеркивает изолированность теперешнего советского поколения, как от дореволюционных русских традиций, так и от западного мира, с его широко развитой частной инициативой, но он недооценивает, по-моему, силу того отталкивания от эксцессов государственного вмешательства, которое это поколение, поскольку мы можем судить, вынесло из своего горького жизненного опыта. Ни ему, ни тем кто за ним последует, не нужно будет долго учиться теории и практике частной инициативы, чтобы оценить блага экономической свободы: к приятию их подсоветские люди готовят наглядным доказательством от противного, повседневно и самым чувствительным образом ощущая на себе все тягости их отсутствия. То же, по моему убеждению, относится и к свободе политической: тому, кто её полностью лишен, не так уже трудно понять ее ценность. В этом смысле тоталитарные режимы, вопреки своей воле, в какой-то степени играют роль школы свободолюбия: если не для всех, то для многих из тех, кто прошел через этот опыт, понятие свободы должно иметь более непосредственное и более бесспорное значение,

чем для тех, кто привык относиться к ней как к чему-то привычному.

К вопросу о путях русского освобождения Дж. Кеннан подходит всё с тем же отсутствием догматизма и с тем же сознанием необходимости гибкой политики, которая учитывала бы все возможности. Он признает, что все те данные, которые можно получить путем поверхностного наблюдения (*“superficial evidence”*), как будто говорят за то, что желательные перемены в России не могут произойти «без насильственного прерыва в преемственности власти», т. е. без революционного свержения режима. Но он считает, что в этом нельзя быть уверенным, и допускает возможность и другого пути — эволюционного. Объективных критериев для ответа на вопрос: «революция или эволюция?» он не видит. Любой ответ в его глазах является делом личного мнения и «актом веры». Сам он очевидно предпочитает путь эволюционный — вероятно, по тем же причинам, по которым даже затяжной международный кризис он предпочитает войне¹.

Как известно, по этому вопросу в русской эмиграции ведутся давние и страстные споры: вспомним хотя бы реакцию многих ее читателей на печатные выступления сторонницы «эволюционной теории» Е. Д. Кусковой. Независимо от согласия или несогласия с выводами Дж. Кеннана, то, как он подходит к вопросу, та сдержанность и то отсутствие самоуверенности, с которыми он его обсуждает, является очень полезным коррективом к нашему гораздо более эмоциональному отношению. Как бы мы ни расходились в наших мнениях по этому вопросу, у противников «эволюционной теории» нет оснований обвинять ее защитников в бессердечном равнодушии к страданиям русского народа, как нет оснований у другой стороны обвинять своих оппонентов в легкомысленном авантюризме. Это относится, одинаково, и к вопросу о желательности, и к вопросу о возможности того или иного пути освобождения России от советской власти. Революция, как и война, дело, конечно, страшное, но с таким же, если не с большим правом можно утверждать, что длительное существование советского режима не менее, а, может быть, и более страшно. Весов, на

¹ Иначе толкуется позиция Кеннана в кратких комментариях к его статье, появившихся в 15-ой тетради «Возрождения»: «Кеннан верит, что желанная Россия осуществится и без войны, но непременно с разрывом преемственности, глобальным крушением всей системы». Из контекста статьи для меня ясно, что такое толкование ошибочно.

которых можно было бы взвесить сравнительное число человеческих жертв и материальных и духовных потерь в том и другом случае, — не существует. Руководиться здесь можно только своим ощущением и предвидением, а это обязывает к большей терпимости в отношении к инакомыслящим.

Не менее сложен и вопрос об объективной возможности того или иного пути. Дж. Кеннан возлагает свои надежды на несовместимость советского режима с человеческой природой и на изменения в народной (и правительственной) психологии в связи со сменой поколений. Но его интересные соображения по этому поводу, которые и для него самого есть только гипотеза, для меня далеко не до конца убедительны. Часто указывают на фактическую невозможность внутренней революции в условиях тоталитарного режима, но с таким же правом и с такой же долей убедительности можно доказывать и фактическую невозможность эволюции для тоталитарного режима. Не помню, где я читал или слышал о китайской пословице: «тот, кто едет верхом на тигре, не может слезть». Многолетнее применение советской властью режима жестокого террора могло накопить в народе такой запас ненависти, что из чувства самосохранения режим может не посметь начать настоящий «спуск на тормозах» (слезание со спины тигра!), даже если бы он хотел это сделать. Могут указать на «эволюционный» финал французской революции, но эта историческая аналогия едва ли убедительна. В конце концов, якобинский террор продолжался всего несколько лет, даже пропорционально был гораздо более ограниченным в своем размахе и потому не мог оставить и сотой доли того наследства страдания и ожесточения, которое, можно думать, оставят после себя наши русские якобинцы. Боюсь, что не поможет здесь и та смена поколений, о которой говорит Дж. Кеннан. Те, кто заменил бы теперешних кремлевских владык в порядке мирной преемственности власти, могли бы получить в наследство и преемственную народную ненависть к этой власти. Я понимаю, что это тоже только гипотеза, но, может быть, она не менее законна, чем гипотеза Дж. Кеннана.

Если свои рассуждения по этому поводу я заканчиваю «вопросительным знаком», то в отношении проблемы возможного американского воздействия на ход событий в России позиция Дж. Кеннана вызывает во мне гораздо более определенные сомнения. Я согласен с ним в его общем утверждении, что инициатива радикальных изменений во внутренней жизни России должна исходить от русского народа и что роль Америки

в этом деле может быть только «подсобной». Но мне кажется, что в определении характера и пределов этой подсобной роли он проявляет чрезмерную осторожность. Я имею в виду прежде всего вопрос о роли и содержании американской пропаганды. Дж. Кеннан возражает «людям, говорящим о свержении советского строя путем пропаганды». Но почему ставить вопрос в такой нарочито заостренной форме? Одна пропаганда, конечно, не может низвергнуть советский строй. Но, правильно поставленная, она может содействовать значительному его ослаблению и тем подготовить путь к конечному его падению. И нет оснований, почему бы Америка, раз уж она вынуждена вести «холодную войну» с советской властью, не должна была бы использовать этого оружия в меру всех доступных ей возможностей. В обоснование своего скептицизма, Кеннан ссылается на «безуспешность» советской пропаганды, поясняя, что «в конечном счете почти во всех случаях для фактического распространения советской системы потребовалось военное давление». Отмечу прежде всего существенные оговорки — «в конечном счете» и «почти во всех случаях». Но и независимо от них, мысль Дж. Кеннана можно признать правильной только если речь идет о предельном успехе пропаганды. Да, за тридцать три года советской пропаганде не удалось добиться коммунистического господства в целом ряде европейских и азиатских стран, но поскольку во многих из этих стран ей удалось укрепить международные позиции советского режима и соответственно ослабить позиции свободного мира, ее ни в коем случае нельзя назвать безуспешной. Так как западные государства явно заинтересованы в обратном, то они должны энергично парировать эту советскую пропаганду своей демократической пропагандой — не того же духа и не того же типа, конечно, как пропаганда советская, — но равных с нею размаха, действенности и напряженности. Даже если рассматривать политику сдерживания коммунистической агрессии, как политику чисто оборонительную, то и тогда это должна быть оборона активная, а не пассивная. И в этой активной обороне пропаганда может и должна играть первостепенную роль. На упорную и, при всей её грубости, демагогически-искусную советскую ложь надо отвечать не только спокойным утверждением своей правды, но и полемическим разоблачением этой лжи. Западный мир вовлечен сейчас в острую политическую борьбу с советским тоталитаризмом, которая в значительной своей части есть борьба за человеческие души, и в этой борьбе боевая пропаганда есть оружие, от которого он без опасности для себя отказаться не может.

Я несколько не отрицаю важности и значительности того, что Дж. Кеннан говорит о необходимости для Америки согласовать свою внутреннюю жизнь с теми идеями, которые она проводит во внешней своей пропаганде. Не отрицаю я и действительности «пропаганды примером», но лишь при одном условии, — чтобы в народах, на которые она будет рассчитана, поддерживалась надежда на то, что когда-нибудь, и не в слишком отдаленном будущем, они получают реальную возможность этим примером воспользоваться. А поддержать эту надежду без параллельной политической пропаганды — на мой взгляд невозможно. Здесь опять надо условиться об объеме и значении терминов. Как и в других указанных мною случаях, Дж. Кеннан говорит о политической пропаганде в прямом и притом заостренном смысле слова. Нельзя, говорит он, обращаться к советскому гражданину «с призывом к тем или иным политическим действиям», нельзя «прямо подсказывать ему, что он должен делать в условиях окружающей его политической действительности». Совершенно верно — но отсюда еще не вытекает, что «в с я к а я (курсив мой, М. К.) попытка одного народа говорить непосредственно с другим народом о политических делах последнего — способ действий сомнительный, грозящий возникновением недоразумений и обид». Все зависит от того, как говорить и что говорить. Почему надо ждать войны, чтобы начать говорить русскому народу, что Америка ведет политическую борьбу с «разрушительными силами советской власти», но не с ним самим; что она хочет «иметь на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника»; что она желает ему свободы и возможности устроить свою жизнь по собственному своему усмотрению и что она верит в это его свободное будущее? Это, конечно, будет пропаганда откровенно политическая, но не грозящая возникновением никаких «недоразумений и обид» — пропаганда вполне оправданная и, скажу, необходимая.

Боюсь, что иначе «пропаганда примером» или то ознакомление с американской жизнью, в котором Дж. Кеннан видит главную задачу «Голоса Америки», может либо остаться без надлежащего эффекта, либо, действительно, привести к «недоразумениям и обидам». Представьте себе психологию подсоветского человека, безнадежно изнывающего в условиях своего жестокого существования и в то же время слушающего рассказ о, может быть, навсегда ему недоступных благах американской жизни!

Быть может, я неправильно понимаю позицию Дж. Кенна-

на, но мне кажется, что в ней чувствуется слишком сильное влияние «классической» идеи полного невмешательства во внутренние дела иностранного государства — идеи, которая, по моему убеждению, в нашу эпоху всё больше становится, в значительной своей части, анахронизмом. Правда, говоря о том, чего Америка вправе ожидать от будущей России, он указывает не только на уничтожение «железного занавеса» и отказ «от устаревшей игры в империалистическую экспансию», но и на «некоторые ограничения правительственной власти во внутренних делах»: нормальные отношения возможны только с правительством, «не переходящим ясно начертанной границы, за которой начинается тоталитаризм». Но, к сожалению, я не нахожу в статье Дж. Кеннана ясного начертания этой, по его же признанию, столь существенно важной границы. Конкретно он говорит только о «рабском труде», но ведь это лишь одна из форм уничтожения человеческой свободы в тоталитарном государстве, и почему выделять именно ее как особо неприемлемую для внешнего мира? Дж. Кеннан очень убедительно показывает неразрывную связь между системой принудительного труда и «железным занавесом», но это его рассуждение может быть целиком и с таким же основанием применено и к лишению советских граждан свободы передвижения, и к политике полицейского террора, и к полному уничтожению гражданских свобод. Ограничиться поэтому требованием уничтожения рабского труда, в качестве неперемennого условия для нормального международного общения, значило бы сделать шаг назад и по сравнению с рузвельтовской программой «четырех свобод» для всего мира, и по сравнению с принятой Объединенными Нациями «Декларацией прав человека».

Я охотно истолковал бы рассуждения Дж. Кеннана по этому поводу в том смысле, что он ссылается на «рабский труд» лишь как на один из примеров подавления свободы в тоталитарном государстве, — тем более, что требуемое им уничтожение «железного занавеса» уже само по себе предполагает восстановление ряда гражданских свобод, — если бы меня не смущала следующая его фраза: «...Хотя и отдавая себе отчет в том, что все различия между свободой и властью относительны, и признавая, что 90% этих различий нас не касаются, поскольку дело идет об иностранном государстве (курсив мой, М. К.), — мы всё же настаиваем, что есть такая запретная зона, в которую ни одно правительство великой страны не может вступить, не создавая при этом самых прискорбных и серьезных по-

следствий для своих соседей». Признаюсь, что в этом я вижу слишком большую уступку и принципу относительности, и принципу невмешательства, даже если последнее понимать лишь в ограничительном смысле «незаинтересованности». Относительными могут быть формы правления, схемы конституционного устройства, административная практика или избирательная механика. Но те права личности, которым англо-саксы впервые дали имя «неотъемлемых», надо рассматривать как в том или ином смысле абсолютные. Их можно обосновывать либо религиозно, либо на положениях идеалистической философии, либо, наконец, прагматически, как их обосновывал Джон Стюарт Милль. Во всех этих случаях одинаково, они займут верховное место в иерархии ценностей, будут служить критерием для суждения о тех или иных политических формах и той или иной политической практики и будут иметь универсальное, а не местное или временное значение.

«Первородный грех» тоталитаризма состоит именно в том, что он превращает эти абсолютные ценности в относительные, одновременно возводя относительное (государство, нацию, расу, класс, революцию) на степень абсолютного. Если это так, — а что это так, доказывается не только тоталитарной теорией, но и тоталитарной практикой, — и если кроме того, по утверждению самого же Дж. Кеннана, переход правительства любой великой державы в «запретную зону» тоталитаризма создает угрозу для ее соседей и косвенно для всего мира, то как можно определить область «незаинтересованности» внешнего мира во внутренней политике такого иностранного государства в размере 90%? Я не знаю, в каком размере ее можно определить, но я убежден, что твердое обоснование всех тех прекрасных мыслей, которые Дж. Кеннан высказал в своей статье, может быть найдено только в идее нераздельности человеческой свободы. И нераздельность эту надо понимать двояко: и как нераздельность разных сторон свободы, и как нераздельность ее судьбы в различных частях мира.

2. О подходе к национальным проблемам в России

Высказывания Дж. Кеннана по вопросу о дальнейшей судьбе национальностей России вызвали к себе особый интерес как в русских, так и нерусских эмигрантских кругах, причем в некоторых случаях позиция его истолковывалась, одними с похвалой, другими с порицанием, как определенная защита идеи сохранения русского государственного единства. Наши читатели сами могут убедиться в том, что такое толкование неточно. Правда, Дж. Кеннан говорит о желательности «наименьшего

ослабления экономических связей» между «великорусским народом» и «народами нерусского происхождения» и добавляет, что это «уже само по себе обычно требует тесной политической связи». Но этим его положительные высказывания в пользу единства и ограничиваются. По существу, позицию его в этом вопросе можно определить привычным для нас термином «непредрешенчество».

Эту свою непредрешенческую позицию Дж. Кеннан обосновывает достаточно подробно и ясно. Он исходит из положения, что в настоящее время невозможно предугадать ту конкретную обстановку, в которой, после конца советского режима, населяющим Россию народностям придется определить свои взаимоотношения. Особое значение он придает той «психологической атмосфере» («psychological climate»), которая к тому моменту будет господствовать среди народов Восточной Европы. Пока эти материальные и психологические условия остаются вне пределов предвидения, «американцам не следует брать на себя ответственность за определенные взгляды и определенную позицию в этом вопросе» и не следует предлагать никаких «конкретных решений». В переводе на политический язык это значит, что Америка не должна выступать ни с защитой принципа неделимости России, ни на поддержку программы ее раздробления. Всё, что в этой области Америка сейчас может и должна делать, это, в меру своего влияния, содействовать рождению среди непосредственно заинтересованных народов «нового духа» при подходе к таким вопросам, как определение их взаимных государственно-правовых отношений, территориальное размежевание или судьба национальных меньшинств. В этом упоре на правильный подход к проблеме, вместе с отказом от немедленного определения конкретных форм ее решения, и заключается суть того совета, который Дж. Кеннан дает американцам, а вместе с ними и «народам Восточной Европы».

«Новый дух», о котором он говорит, есть прежде всего дух взаимной терпимости и понимания, при котором, по его убеждению, самые вопросы о границах или о тех или иных формах государственно-правовых отношений получат новое содержание, а отчасти и утратят свое значение. Проявления взаимной терпимости и понимания Дж. Кеннан ждет от «всех этих народов, а не только от одного русского народа». Было бы весьма неосмотрительным с нашей стороны, если бы мы поняли эту формулировку в том смысле, что совет обращен главным образом к народам нерусского происхождения, а что у нас уже признано

наличие достаточной степени терпимости и понимания. Можно сказать, конечно, что в происходящих в эмигрантской среде спорах некоторый избыток запальчивости наблюдается скорее у другой стороны, и что до сих пор мы чаще оказывались в положении обороняющихся, а не нападающих. Но на это есть свои естественные психологические причины. Представителям народа, который давно уже обеспечил свою государственную независимость и культурную самобытность и который, в то же время, занимал и продолжает занимать положение «господствующей народности», много легче — или, по крайней мере должно быть много легче — проявлять терпимость, чем тем, кто говорит от имени народов, еще находящихся в процессе самоутверждения или стремящихся к независимости. Это наше преимущество возлагает на нас и большую ответственность в попытках сговориться с другими народами России в духе взаимной терпимости и понимания.

Это не значит, конечно, что мы не вправе ожидать от другой стороны каких-то встречных шагов и, в частности, отказа от всего, что, как результат разгоревшихся страстей и укоренившихся предрассудков, создает ненужные и вместе с тем трудно преодолимые преграды для сговора. Мы вправе ждать отказа от предвзятой вражды к России и ко всему русскому; от попыток вести политическую игру на враждебных России (а не коммунизму) настроениях в западном мире; от привычки клеймить, как неисправимых империалистов, — всех тех русских деятелей, хотя бы они и принадлежали к либерально-демократическому лагерю, которые высказывают свое законное предпочтение идее сохранения федеративной связи между народами России. Но и мы, в свою очередь, должны отказаться от предвзятой враждебности ко всякому стремлению к национальной независимости со стороны других народностей России, — от того, чтобы рассматривать в с я к о г о сторонника независимости, как ненавистника России и русского народа. Нам так же надо избегать превращения термина «сепаратист» в бранное слово, как им надо перестать злоупотреблять эпитетом «империалистический».

Во всяком случае, если мы хотим с ними сговариваться, — а другого пути кроме взаимного сговора ни в нашем, ни в их распоряжении не имеется, — то нельзя ставить предварительным условием безоговорочное согласие на нашу исходную точку зрения, как и им нельзя предъявлять к нам такое же требование. С теми, кто с нами уже согласен, сговариваться не приходится. Сговариваться нужно с несогласными для того,

чтобы добиться соглашения. А для этого прежде всего надо создать атмосферу взаимной терпимости и понимания и, в частности, отказаться от излишнего политического догматизма.

Боюсь, что в таком догматизме несколько повинен С. П. Мельгунов, напечатавший в 15-ой тетради «Возрождения» (май-июнь 1951 г.) интересную и содержательную статью под заглавием «Единая или расчлененная Россия». С. П. Мельгунов признает «отжившей и в период борьбы с большевизмом вредной» концепцию единой неделимой России, «которая в упрощенном понимании сводится к шовинистическому призыву: Россия для русских». С моей точки зрения, концепция эта (кстати сказать, представляющая собою перевод известной якобинской формулы — *“La France une et indivisible”*), вредна не только тем, что легко поддается упрощенному истолкованию, но еще и своим абстрактно-догматическим характером. Это одна из тех формул, которые, в период колоссальных сдвигов и изменений, способны связать политических деятелей по рукам и по ногам и лишить их политику необходимой гибкости. Справедливо отвергая эту «отжившую концепцию», С. П. Мельгунов вместе с тем защищает свою идею российской федерации тоже в духе некоторого политического догматизма.

Я не буду останавливаться на его резком противопоставлении конфедерации и федерации, которому он повидимому придает большое значение. Более существенно, что в отличие от Дж. Кеннана, он считает возможным теперь же начертать определенный путь к сохранению единства России. Обсуждая соответствующий пункт в программе «Лиги борьбы за народную свободу», С. П. Мельгунов решительно отвергает идею свободного сговора народов России, как равных с равными, на которой эта программа основана. «Какой смысл, — спрашивает он, — во имя весьма сомнительных демократических принципов превращать Россию в Московию, а потом вновь собирать, в осложнившейся обстановке, освобожденные народности в одно целое?» Но ведь этот, по выражению С. П. Мельгунова, «бесмысленный эксперимент» есть, к сожалению, одна из реальных исторических возможностей. Именно так развивались события в первые годы русской революции. Так как весьма вероятно, что падение советского режима будет сопровождаться такой же, если не большей, государственной разрухой, то в этом отношении история может повториться. С одной только весьма существенной, разницей: если тогда «собираение освобожденных народностей в одно целое» было осуществлено коммунистической партией с помощью вооруженной силы, то теперь может не оказаться

готовности прибегнуть к силе — поскольку дело будет зависеть от русской демократии.

С. П. Мельгунов и сам признает, что «нельзя принудить людей почувствовать себя гражданами России». И вместе с тем он категорически заявляет: «Никаких местных предварительных учредительных собраний... быть не может. Эти областные собрания для выработки своих конституций найдут место тогда, когда будет выражена общая воля народа или народов (?) на Всероссийском Учредительном Собрании...» Ну, а что, если вопреки этой схеме, такие «местные предварительные учредительные собрания» всё-таки соберутся — прежде чем удастся созвать Всероссийское Учредительное Собрание, что мне представляется столь же, если не более вероятным, чем рисуемая С. П. Мельгунову перспектива? Ведь и тогда сохранит свою силу правило, что «нельзя принудить людей почувствовать себя гражданами России».

У С. П. Мельгунова нет сомнений насчет имеющегося у некоторых частей бывшей российской империи права «свободно и самостоятельно выразить свое желание или нежелание войти в состав обновленной России». К этой категории он относит балтийские государства — на том основании, что они «за последние десятилетия жили уже самостоятельно, получили международное признание в строго очерченных государственных границах и захвачены были большевиками в последнюю войну». К ним он прибавляет еще Грузию и Армению. И я признаю право всех этих народов на самоопределение, но меня смущает аргументация С. П. Мельгунова. Почему международное признание или самостоятельное существование в течение двух десятилетий должны иметь более решающее значение, чем ясно выраженная воля народа к независимости. По существу, С. П. Мельгунов просто признает совершившиеся факты. Я ничего против этого не имею: бывают такие совершившиеся факты, которые следует признать не только под давлением необходимости, но и из соображений собственной пользы или даже из чувства справедливости. Я только не могу понять, в чем заключается принципиальная разница между совершившимися фактами прошлого, которые С. П. Мельгунов готов признать, и «совершившимися фактами» будущего, даже самую возможность которых он отказывается учитывать в своих политических построениях.

При возникновении балтийских государств национальное самосознание их народов не казалось особенно сильно развитым и во многих русских кругах преобладало мнение об искус-

ственности этих новообразований. Достаточно ли мы знаем о тех сдвигах, которые произошли и еще могут произойти в самосознании других народов России под воздействием катастрофических событий нашего времени? В пределах Советского Союза сейчас, повидимому, одновременно работают факторы, как ослабляющие, так и усиливающие связь между составными частями его многоплеменного населения². Кто может, хотя бы приблизительно определить, каков будет удельный вес тех и других к решительному моменту, даже самый срок которого мы сейчас предугадать не можем?

Я не меньше С. П. Мельгунова хочу сохранения единства России (будет ли это в форме федерации или конфедерации — признаюсь, для меня сейчас мало существенно). Но я не могу не учитывать независящих от моего желания объективных факторов, как не могу я забыть о том, что ни русские эмигранты, ни эмигранты других народностей России ничего кроме «силы мнения» пока не представляют. Уже по этому одному было бы необоснованной, с их и с нашей стороны, претензией заключать какие-либо соглашения формально-политического характера. Здесь я полностью готов последовать совету Джорджа Кеннана. Первая наша задача, думается мне, заключается в том, чтобы стараться объединить людей доброй воли и здравого смысла с той и с другой стороны. В процессе совместной борьбы с общим врагом и в процессе совместного изучения и обсуждения общих проблем и выработается та новая «психологическая атмосфера», которая в решительный момент будет содействовать решению спорных вопросов в порядке мирного сговора, а не междуусобной распри.

М. Карпович

² См. интересные данные по этому вопросу в статье И. А. Курганова, помещенной в кн. 25-ой «Нового Журнала».

БИБЛИОГРАФИЯ

СОВЕТСКОЕ ПРАВО В АМЕРИКАНСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Советскому праву, как и советскому государству, минуло уже столько лет, что отличительные его признаки можно считать твердо установившимися.

1. Советское право есть, прежде всего, право общества, официально принявшего к руководству социалистический план общественного устройства. Это часто оспаривается социалистами, которые утверждают, что социалистический план включает осуществление демократии. Демократия не есть однако нераздельная принадлежность социализма; демократия может быть и до настоящего времени преимущественно была несоциалистической. Поэтому научно ошибочно включать демократию в понятие социализма. Социализм есть обобщение средств производства. Для того, чтобы покрыть строй, соединяющий такое обобщение с демократией, следует употреблять более сложный термин — социал-демократия. Тогда советское право может быть обозначено, как право социалистическое, хотя и недемократическое.

2. Советское право есть право тоталитарной и деспотической диктатуры. Оно тоталитарно в том смысле, что принципиально вмешивается во всевозможные человеческие дела и отношения. Оно деспотично, потому что не наделяет граждан никакими правами против государства и не дает им никаких гарантий против злоупотребления властью. Оно выражает собой диктатуру в том смысле, что власть, его творящая, меняющая и проводящая в жизнь, покоится не на периодически проверяемом признании народном (что характерно для демократии), и не на молчаливом признании в порядке твердо укоренившейся традиции, а на голом факте захвата власти и удержания ее любой ценой и в любом порядке.

Советское право настолько проникнуто этими тремя признаками (которые, кстати сказать, далеко не всегда встречаются вместе), что иногда ставится вопрос — да можно ли советское право считать правом? Как ни заманчив отрицательный ответ, научно он необоснован. Советское право выполняет в своем обществе ту же функцию, как всякое иное право в своем: оно вносит в общество властную и централизованную координацию действий. Цели и порядки такой координации, как они проступают в советском праве, вызывают в нас отвращение. Но из этого вытекает только, что право может быть несправедливым, жестоким, направленным к ложным целям — не переставая быть правом.

3. Советское право есть право общества, подвергшегося глубо-

кому культурному упадку. Этот упадок несомненен в сферах науки, философии, литературы, музыки, графических искусств. Не избежала упадка и правовая сторона культуры. Законодательные акты советской власти зачастую технически беспомощны. Советские суды состоят из деятелей, не могущих сравниться, по знанию права и способности юридически мыслить, с юристами дореволюционной России. Процессы, перед ними протекающие, поражают не только своим презрением к правам человека, но и своей примитивностью: вернулось на свое старое место «царицы доказательств» сознание подсудимого. Сборники решений верховного суда выходят редко, тонкими тетрадиками, и силой юридической мысли не блещут. Юридическая литература убога и рабоплепа; она послушно повторяет то, что было только что продиктовано из Кремля; авторитетов, кроме тройки Маркс-Ленин-Сталин, она почти не знает.

4. Советское право есть право общества, в котором революционного происхождения власть, под давлением глубинных сил, повернула на путь частичного возрождения отдельных элементов дореволюционной культуры. Эту черту легко усмотреть, если вспомнить, что в 1922-3 г.г. появились пресловутые «кодексы», в основном списанные с дореволюционного права. Правда, эти кодексы были почти совсем забыты в начале тридцатых годов, когда советское правительство было уверено в одержанной над народом победе; но уже в конце тридцатых годов и вновь после войны эти кодексы опять получили некоторую силу, хотя и не ту, какую они имели при своем рождении. В результате, советское право, в какой-то искаженной форме, возрождает русскую правовую традицию, конечно, ограниченную тоталитарным и деспотическим характером строя и культурным упадком. А так как русская правовая традиция есть лишь ветвь европейской или, как принято говорить, западной, то советское право в некоторых своих элементах оказывается членом западной семьи правовых систем.

Комбинация социалистического плана, тоталитарности, деспотии и диктатуры дало социальное образование, которое получило название коммунизма. Три последние элемента этой смеси дают советскому праву террористический характер. Та же триада, в своей совокупности, привела к упадку культуры, в частности, культуры правовой. Но частичный возврат к национальной традиции лишен необходимой связи с коммунистическим комплексом. Этот комплекс установился уже во времена военного коммунизма, когда культурная традиция отвергалась полностью. Интересно, что в сателлитах коммунистическая власть стремится не к удержанию местных культур, а к насаждению чуждой для них традиции, русской, в ее советском облике и истолковании.

Сложность тем, переплетающихся в советском праве, приводит к тому, что для подлинного его понимания недостаточно точного знания норм, из которых оно складывается, и даже судебной практики, поскольку она отражается в опубликованных решениях. Чтобы понять это право, надо иметь ясное представление о советской действительности в ее целом и отчетливое знание дореволюционного права, его истории и его сложного взаимоотношения с правом западной Европы. Отсутствие этих предпосылок часто обнаруживается в трудах иностранных юристов, подходящих к советскому праву. Не понимая его подлинной природы, они склонны усматривать в нем или новое откровение или, напротив, новую вариацию на старую тему западного права. Яркие примеры такого истолкования советского права можно найти в трудах двух американских юристов, профессоров Д. Хэзарда и Г. Бермана.

Профессор Хэзард написал одну книгу¹ и немало статей о советском праве, всегда довольно точно передающих его содержание, но неизменно преподносящих его так, что у читателя складывается убеждение: «в сущности советское право не так уж сильно отличается от англо-американского; мы решаем вопросы так, а они иначе, но в общем в той же плоскости». Вот несколько примеров.

Ни в каком государстве, говорит Хэзард, не разрешается преподавание в изменническом духе. Так и в советском союзе: преподавание должно вестись в духе принятого истолкования истинных интересов рабочего класса. Только и всего; юрист мог бы заинтересоваться хотя бы государственной монополией преподавания и вопросом о правах преподавателей; тогда он увидел бы, что между советским и американским правом, регулирующим преподавание — бездна; в трудах Хэзарда он ее не увидит.

Решения верховного суда, продолжает автор, публикуются и играют большую роль в судебной практике. Значит, всё как у нас в Америке. Только он забывает прибавить, что сборники этих решений — тоненькие и редко выходящие тетрадки, и как-то не замечает, что в статье, опубликованной в 1950 г.², он цитирует решения, не позднейшие 1940 г. — за десять лет как будто не прибавилось ничего примечательного.

В большой статье, посвященной отношению СССР к мировой декларации прав³, он рассматривает свободу печати, в рамках статьи

¹ J. N. Hazard. *Soviet Housing Law*. New Haven, 1939.

² J. N. Hazard. "Socialism, Abuse of Power and Soviet Law." *Columbia Law Review*, 1950.

³ J. N. Hazard. "The Soviet Union and the World Bill of Rights." *Columbia Law Review*, 1947.

125 советской конституции, и говорит: «Чтобы предотвратить использование печати в видах, противных выраженным в этой статье, советское правительство всегда содержало штат цензоров». Как свободно вздохнул бы советский писатель, если бы против себя он имел только цензора! Но он имеет дело с чем-то гораздо более страшным: он подлежит положительному руководству, социальному заказу — писать в стиле социалистического реализма на преподанные заранее темы. Об этом читатель из статьи Хэзарда не узнает.

По вопросу о свободе совести Хэзард пишет: «Пока церковь была враждебна советской системе, ее деятельность была сведена к минимуму и организация ее в общесоветском масштабе не поощрялась». Кто бы узнал в этом «непоощрении» жестокие гонения 1922-23, 1929-30 и 1937-38 г.г.! Но, продолжает Хэзард, когда, во время войны, церковь поддержала правительство, политическая линия изменилась. На самом деле еще с 1927 года митрополит Сергей добивался какого-то *modus vivendi* с советским правительством, а перелом в религиозной политике этого последнего произошел не в 1941, а в 1939 г., когда оно убедилось в неизбежности войны и в опасности иметь против себя верующих, число которых к тому времени, как оно знало, было очень значительно.

Говоря о праве политического убежища, проф. Хэзард замечает, что на территории Советского Союза нашло пристанище большое число политических эмигрантов, но забывает прибавить, что для большинства из них пристанище нашлось в политизоляторах и концентрационных лагерях.

В том же духе обсуждает Хэзард положение советских юристов. Положение их значительно улучшилось, говорит он; некоторые из них, напр. А. Вышинский, достигли высоких постов. Не упоминает он, однако, ни о том, какими путями достиг Вышинский «высшей власти», ни о том, что зачастую советские адвокаты бывают вынуждены присоединяться к обвинению с требованием тяжелых наказаний для своих подзащитных. Драматическая история некоторых из них передается так: среди советских юристов были дебаты о природе права и о методах его развития по мере достижения стадий социализма и коммунизма. Среди них образовалось две школы; одна, возглавляемая сначала Бухариным, а потом Сталиным, и другая, под руководством Крыленко и Пашуканиса. Эти последние отстали от духа времени, и потому проф. Пашуканис был «выставлен». Чтение такой краткой истории создает впечатление, что в советской России разные школы права сменяют друг друга в том же порядке, как в других странах: одна перестает удовлетворять, и на ее место приходит другая.

Очень знаменательны заключения некоторых из статей проф. Хэ-

зарда. Статью о мировой декларации прав он заканчивает так: «Бытию государства в советском союзе не приписывают никаких оснований, кроме его необходимости для осуществления идеала изобилия. Когда положение вещей к этому идеалу приблизится, невидно, почему бы советскому государству не приложить усилий к тому, чтобы более не учинялось несправедливостей, и чтобы личности было предоставлено обещанное ей достоинство».

А вот как кончается статья о тенденции развития советского права⁴. «По вопросу об отношениях между лицами, поскольку эти отношения не противоречат основам экономического строя СССР, можно ожидать такого развития советского права, которое сделает его понятным для западных юристов, особенно воспитанных на традиции римского права». Из материала, сообщаемого в статье, такой вывод отнюдь не вытекает.

В иной форме препарируется советское право в трудах проф. Г. Бермана. В 1949 году он напечатал в *Harvard Law Review* длинную, в 60 страниц, статью⁵. Из статьи видно, что автор хорошо знаком с советским правом, но имеет лишь смутное представление об истории русского права и не подозревает о том, что русское гражданское, уголовное и процессуальное право конца 19-го века и начала 20-го принадлежало к семье континентального европейского права (в его противоположности англо-американскому); а знать это он был обязан, так как свою статью он посвятил анализу корней права. Развив эту статью в недавно вышедшую книгу⁶, автор воспользовался критическими указаниями, сделанными по поводу его статьи, и устранил многие ошибки, но суть статьи осталась и в книге: самым своим существованием советское право представляет вызов американскому, указывая последнему пути к улучшению.

Г. Берман считает, что понять советское право можно только, если разложить его на три элемента: 1) это есть право социалистического государства; 2) это есть русское право, право, основанное на русской традиции; 3) это есть попечительное или воспитательное право.

Социалистический элемент в советском праве получает довольно неудачное определение: социализм отождествляется с плановым хозяйством, тогда как, в период военного коммунизма, социализм существовал в России без плана, а плановое начало всё более и чаще

⁴ J. N. Hazard. "Trends of Law in the Soviet Union." *Wisconsin Law Review*, 1947.

⁵ H. Berman. "The Challenge of Soviet Law." *Harvard Law Review*, 1949.

⁶ H. Berman. *Soviet Justice*. Cambridge, Mass., 1950.

рекомендуется и для обществ, не перестраивающихся на принципе социализма. Всё же социалистический элемент представлен автором в общем удовлетворительно, так как в этой части труда ему не приходилось прибегать к сравнению советского права с дореволюционным русским и западным.

Гораздо хуже обстоит дело с «русским» элементом советского права. История русского права представляется автору в таких линиях. Русское право началось с комбинации византийского права и племенного права восточных славян. Но византийское право было «литургично», т. е. строго формально. В статье автор еще не знал, что византийское право (*corpus juris civilis*) легло в основу европейского права и что формализм был присущ раннему, но не позднему римскому праву. В книге этих ошибок он не повторяет.

Но, продолжает автор, эта «возмутительная» смесь сохранилась в силе до 18-го века. Московское право было жестоко, производство — формально. Это верно, но если бы автор сравнил московское право с одновременным западным правом, напр. французским, то и там он нашел бы и жестокость, и формализм.

Затем Г. Берман переходит к попыткам европеизации русского права. Свод законов, по его мнению, был списан с кодекса Наполеона. В университетах русские юристы занимались больше римским, нежели своим правом. В 1864 г. была сделана попытка перестроить судопроизводство по английскому и французскому образцам. Но сделано это было неудачно: производство осталось неразвитым и ненаучным. Суды решали дела по действующему закону, не обращая внимания на прошлое и будущее. Автор очевидно незнаком со сборниками сенатских решений. Иначе он знал бы, что наш высший суд охотно прибегал и к историческому, и к телеологическому толкованию — вероятно, это последнее имеет в виду автор, когда несколько туманно осуждает дореволюционные суды за необращение внимания на будущее.

Но если русская правовая традиция так плоха, то как же может советское право, на нем покоящееся, быть вызовом американскому праву? Автор уверяет, что это стало возможным благодаря наличности в русской истории четырех «искупительных сил» и повороту советского права к западу.

Искупительные силы суть: родившееся уже в киевскую эпоху сознание «соборности»; монгольского происхождения принцип всеобщего служения государству; ярко проступивший в московскую эпоху русский мессианизм; ведущий свое начало с петровского времени принцип государственного вмешательства в экономику (о меркантилизме, тогда господствовавшем на западе, Берман не упоминает). При царях эти чудесные силы лежали под спудом; но после прихода

к власти Ленина и Сталина их потенциальная энергия вышла наружу и оплодотворила советское право. Народ приемлет коммунизм и его право, потому что видит в них осуществление своих вековых чаяний.

Поворот советского права к западу, по мысли автора, выразился в принятии советским законодателем и советскими судами трех великих принципов западного права — разума, или согласования несогласованных элементов в праве; совести, или решения по правовой интуиции, и прецедента. Свои рассуждения о значении рецепции советским правом этих трех великих принципов автор предваряет воистину сверх-диалектической схемой истории запада, на почве которой эти принципы будто бы раскрылись: коммунистическая революция была реакцией против буржуазной революции 1789 г.; эта революция была реакцией против аристократической революции, разыгравшейся в Англии в половине 17-го века; а эта революция в свою очередь была реакцией против монархической революции Лютера. Не стану разбирать эту схему, а укажу лишь, что техника согласования внешне несогласованных элементов права была хорошо знакома дореволюционным русским юристам и судам, а прецедент, особенно выраженный в форме сенатского решения, играл у нас едва ли не слишком большую роль. Что же касается решения дел по интуиции, то континентальное европейское право этого не допускает; то, о чем пишет Г. Берман, всего только пожелание не слишком влиятельной школы «свободного права».

Интересно добавить, что Г. Берман не видит, в какой мере его тезис об европеизации советского права стоит в противоречии с преподнесенной им историей русского права и уничтожает его тезис о «русскости» советского права.

Наиболее близок сердцу автора «попечительный» элемент советского права. Он не утверждает, что это — нечто специфическое для советского права, но думает, что в последнем оно проступает в наиболее яркой форме. Именно поскольку советское право попечительно, оно и бросает вызов американскому, надо думать, вообще всякому западному праву.

Г. Берман неоднократно пытается определить, что такое это попечительное право, но нигде своей цели не достигает. Наилучшим приближением к определению является следующий пассаж. Советское общество — это большая семья, гигантская школа, церковь, рабочий союз, предприятие. Советский законодатель выступает как отец, учитель, священник, председатель союза и предприниматель. В других местах Берман объясняет, что советское право подчеркивает внутреннюю спайку разных общественных организаций и правосознание, и что оно отождествляет себя с индивидом. Можно только недоумевать — ведь читал же автор ст. 126-ую сталинской конститу-

ции, согласно которой в каждой общественной организации должна быть коммунистическая прослойка, и писания Вышинского, который, в определении права, нападает не на индивида и его правосознание, а на государство и налагаемые им санкции? В результате можно утверждать, что Г. Берману не удалось ни определить, ни более или менее ясно описать то, что он называет попечительным правом.

Более всего принципом попечительности, по мнению Г. Бермана, проникнут советский уголовный процесс. Это процесс состязательный, публичный, устный. Обвиняемый не карается за отказ содействовать суду. Судебный следователь должен воздерживаться от угроз и уловок. Обвиняемому должны быть предъявлены акты следствия. Бремя доказывания лежит на обвинителе. Решение выносится судом на основании свободной оценки доказательств. Допускается апелляция и гражданский иск в уголовном суде. Всё это преподносится, как особенности советского процесса; в статье все вышеизложенные принципы два раза называются «советскими новшествами». В книге автор признает, что, в сущности, советский уголовный процесс мало отличается от западного, но повидимому, он не знает, что все воспроизведенные им элементы советского процесса являются как бы ухудшенным изданием русского дореволюционного процесса. С другой стороны, автор не упоминает о таких реакционных явлениях, как восстановление дореформенной прокуратуры, господствующей над судом, и об отмене суда присяжных.

Много материала для подтверждения своего тезиса о попечительном характере советского права Г. Берман находит в советском уголовном праве; в этой сфере, думает он, создано воистину новое, достойное подражания право. Особенно заметно это будто бы в постановлениях о субъективной стороне преступления. Для признания подсудимого невменяемым советский суд должен применить два критерия, юридический и психиатрический. Более точно, подсудимый должен быть признан невменяемым, если он не мог отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими (юридический критерий), поскольку это было вызвано хронической душевной болезнью, или временным расстройством душевной деятельности, или иным болезненным состоянием (психиатрический критерий). Статья 11 уголовного кодекса передана верно; но автор не подозревает, что эта статья является лишь ухудшенным пересказом ст. 39 уголовного уложения 1903 г., которая в свою очередь выразила сенатскую практику предыдущих десятилетий, уточненную Н. С. Таганцевым. Как сенатская практика, так и работы Таганцева были тесно связаны со взглядами западно-европейских криминалистов того времени. Поэтому называть ст. 11 советского уголовного кодекса «советским решением

проблемы вменяемости», как то делает Г. Берман, нет решительно никаких оснований.

Не лучше удаются автору и экскурсии в область гражданского права. Он очень хвалит советское определение собственности, но не знает, что оно воспроизводит ст. 420 т. X того презренного Свода законов, который русские юристы будто бы списали с французского права во второй четверти 19-го века. Он хвалит советских юристов за то, что они подкрепляют договоры включением в них статей о неустойке; но такова была обычная практика до революции. Ему нравится гражданский иск в уголовном суде, но он был известен и дореволюционному праву, которое в этом случае подражало французскому. Он объясняет чуть ли не восприятием большевиками Киевского принципа соборности тот факт, что крестьянский двор трактуется ими, как юридическое лицо; но такова была и сенатская практика.

Несколько труднее приходится ему, когда он говорит о семейном праве; до 1944 г., когда развод был так легок, оно вряд ли было «попечительным». Но вот пришел 1944 г., и теперь, по словам автора, семейное право используется для поддержания внутренней спайки семьи и воспитания ее членов в духе взаимного сознания своих обязанностей. Всё это говорится по поводу того, что теперь развод затруднителен и дорог. Но он был труден и дорог и в старой России, и труден и дорог он сейчас и во многих других странах. Какой же особенный вызов бросает в этом случае советское право американскому?

Большое значение Г. Берман придает советскому трудовому праву. По своей природе, говорит он, оно защищает работодателя и рабочих, руководит ими и воспитывает в духе самодисциплины. В этом порядке осуществляется прямо грандиозная задача: сталкивающиеся интересы работодателя (государства) и рабочих сливаются в высшую гармонию. Как всё это подтвердить? Прежде всего, ссылкой на коллективные договоры. Но тут Г. Берман впадает в некоторое недоумение: с 1935 г. коллективные договоры фактически вышли из употребления — почему, он не знает, хотя на той же странице сообщает объясняющий его недоумение факт. В том же самом году, ВЦПС сделался государственным органом, став на место комиссариата труда; после этого, коллективный договор стал бы договором государства-работодателя с государством же, представляющим рабочих. Гармоническое сочетание интересов, усмотренное Г. Берманом, на самом деле обернулось полным подчинением интересов труда интересам монопольного работодателя!

Разбор примеров «попечительного права», предлагаемых Г. Берманом, приводит к следующим выводам. Если отбросить то, что на

самом деле принадлежит русской (часто общеевропейской) традиции, то остается очень мало, так мало, что никакая индукция не приведет к созданию понятия попечительного права.

Справедливость требует отметить, что автор иногда вскользь упоминает о терроре и о партийном засилье, о тоталитарном характере советского государства, в котором право является младшим членом тройки партия-план-право. Но это его не обескураживает. Как никак, говорит он, советские суды независимы. В доказательство он ссылается на указ 29-го июля 1948 г. об увольнении судей в порядке дисциплинарного производства. Любопытно, что этот указ очень сильно напоминает указ 1885 г., в котором тогдашние русские юристы усмотрели как раз подрыв независимости, дарованной судьям судебными уставами.

Г. Берман заканчивает свою книгу утверждением, что советское право дает подлинное решение кризису ценностей нашего времени. Будущее право должно родиться от сочетания советского взгляда, согласно которому человек — вечный ребенок, всегда нуждающийся в попечении, и американского взгляда, согласно которому человек всегда разумен и способен о себе позаботиться. Такое слияние, по его словам, уже происходит: американское право проникается попечительно-воспитательными элементами, советское право всё более проникается сознанием прав индивида. В пользу этого последнего тезиса в книге не приводится никаких доказательств (в статье была глухая ссылка на разрабатывающиеся сейчас общесоюзные кодексы).

В заключение стоит сопоставить изображение советского права в трудах Хэзарда и Бермана с его подлинными чертами. Социалистический элемент советского права передается ими довольно точно. Но тоталитарный и деспотический его характер или не упоминается, или трактуется как благожелательное попечение власти о подданных. Упадочный характер советского права в их писаниях не обнаруживается вовсе, очевидно потому, что авторы недостаточно знакомы с дореволюционной русской культурой, в частности, правовой. Хуже всего обстоит дело с возрождением, в советском праве, русской правовой традиции. На этом вопросе специализировался Берман, но, как мы видели, он то объявляет новшествами советского права то, что на самом деле перенято из русской правовой традиции, то приписывает этой последней то, чего в ней не было.

В результате работы обоих американских юристов дают по существу искаженную картину правового сектора советской действительности.

Н. С. Тимашев

Рецензии, предназначавшиеся для 26 книги журнала, за недостатком места переносятся в 27-ю. РЕДАКЦИЯ.

ИЗДАНИЯ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

А. Т. ГРЕЧАНИНОВ

“МОЯ ЖИЗНЬ”

(Обложка работы М. В. Добужинского)

Ц е н а : 2 долл. 50 цент.

“СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ”

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Перевод Г. Голохвастова — Рисунки М. Добужинского

Ц е н а : 3 долл. 50 цент.

Обе книги можно выписывать по адресу редакции
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW — 223 West 105 Street,
New York 25, N. Y.

НА СКЛАДЕ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

“ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК” № 1

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Художественная проза: С. Юрасов «Враг народа», М. Соколов «Мы же не они», А. Богданович «Страх», Б. Яковлев «Алое», Е. Гагарин «Старая фрейлина», А. Порфирьев «Последний поезд из Мюнхена». Стихи: И. Елагина, О. Анстей, И. Бушман, О. Ильинского, А. Алексеевой. Статьи: М. Бобров «Революция в селе», Ф. Степун «В поисках героического театра», Вяч. Завалишин «Есенин и Маяковский», А. Волков «Таиров» и др. Библиография. Художественные иллюстрации. Цена — 1 долл. (перес. 10 ц)

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

•

Цена одной книги 1 доллар 25 центов

Цена четырех книг 4 доллара 50 центов

•

Адрес редакции и конторы:

“ THE NEW REVIEW ”

223 WEST 105 STREET

New York 25, N. Y.

Там же принимается подписка
